

# Н О В Ы Й М И Р

## К Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я

### СОДЕРЖАНИЕ

#### РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

Алексей Толстой  
Л. Сейфуллина  
Михаил Пришвин  
Пант. Романов  
Сергей Клычков

#### СТИХИ:

Сергей Есенин  
А. Безыменский  
Н. Зарудин  
Евсей Эркин  
П. Дружинин  
Н. Дементьев

#### СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИ- НАНИЯ:

Ал. Белозеров  
А. Смирнов-Кутаческий  
Вяч. Полонский  
Л. Войтоловский  
Я. Тугендхольд  
Е. Браудо  
С. Бугославский  
А. Литвинова  
А. Яковлев

#### ОТЗЫВЫ О КНИГАХ.

М О С К В А  
4 . 9 . 2 . 6

# ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на 1926 год

на еженедельный, литературно-художественный  
и иллюстрированный журнал

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО,  
И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА

## КРАСНАЯ НИВА

издания Издательства „Известия ЦИК СССР и ВЦИК“.

- КРАСНАЯ НИВА** самый крупный иллюстрированный еженедельник в СССР.
- КРАСНАЯ НИВА** издается при сотрудничестве лучших литературных и художественных сил СССР.
- КРАСНАЯ НИВА** дает в каждом номере несколько рассказов, стихотворений и очерков.
- КРАСНАЯ НИВА** дает в каждом номере свыше 50 художественных иллюстраций и фото-снимков.
- КРАСНАЯ НИВА** отражает явления нового быта и дает полный обзор внутренней и внешней жизни СССР и за границей в фотографиях и зарисовках.
- КРАСНАЯ НИВА** уделяет большое место художественной культуре СССР и Запада.
- КРАСНАЯ НИВА** дает 52 номера богато иллюстрированного журнала, по 24 стр. большого формата в каждом номере, в красочной обложке.
- КРАСНАЯ НИВА** в 1926 году расширяет все отделы, улучшает технически внешность издания и привлекает новые литературные и художественные силы.
- КРАСНАЯ НИВА** стремясь сделать журнал доступным более широкому кругу читателей, удешевляет его, не понижая его объема и качества.

### ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на 12 мес.	на 6 мес.	на 3 мес.	на 2 мес.	на 1 мес.
8 р.	4 р.	2 р. 10 к.	1 р. 50 к.	—75 к.

За границу—75 центов в месяц.

### ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

В Москве—Главной Конторой Тверская, 48, и городскими отделениями.  
В провинции—Отделениями и контрагентами Главной Конторы „Известий ЦИК“ и почтово-телеграфными конторами.

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**Ж у р н а л**

**К Н И Г А  
Ч Е Т В Е Р Т А Я  
А П Р Е Л Ь**

---

**М О С К В А**  
**1 . 9 . 2 . 6**

Москва. Главлит № 58.522.

15.000 экз.

---

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Алексей ТОЛСТОЙ.—Московские ночи, рассказ . . . . . 5
2. Сергей ЕСЕНИН.—Стихотворение . . . . . 19
3. Л. СЕЙФУЛЛИНА —Каин-кабак, повесть . . . . . 20
4. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.—Картошка, стихотворение . . . . . 59
5. Михаил ПРИШВИН.—Юность Алпатова, роман (продолж.) 61
6. Ник. ЗАРУДИН.—Вальдшнепы, стихотворение . . . . . 87
7. Евсей ЭРКИН.—Мейран, стихотворение . . . . . 90
8. Пант. РОМАНОВ.—Первая любовь, рассказ . . . . . 92
9. Серг. КЛЫЧКОВ —Чертухинский Блакирь, ром. (продолж.) 104
10. П. ДРУЖИНИН.—Стихи о стихах . . . . . 119
11. Н. ДЕМЕНТЬЕВ.—Два стихотворения . . . . . 121

---

12. Ал. БЕЛОЗЕРОВ.—Из молодых лет Максима Горького (По новым материалам) (окончание) . . . . . 123
13. А. СМИРНОЗ-КУТАЧЕСКИЙ —Страдальная частушка советской деревни . . . . . 137
14. Вяч. ПОЛОНСКИЙ —Памяти Фурманова . . . . . 149

### ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

15. Л. ВОЙТОЛОЗСКИЙ.—Новые вещи Горького . . . . . 155
16. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—Дела художественные . . . . . 157
17. Е. БРАУДО.—Художественная проблема радио . . . . . 164
18. С. БУГОСЛАВСКИЙ —Музыкальная жизнь Москвы . . . . . 167
19. А. ЛИТВИНОВА.—Два английских писателя . . . . . 171
20. А. ЯКОВЛЕВ.—Деревенские очерки . . . . . 174

### ОТЗЫВЫ О КНИГАХ:

- Борис ГУБЕР: А. Малышкин—„Падение Дзира“ . . . . . 182  
Федор ЖИЦ: Всеволод Иванов—„Гафир и Мариам“ . . . . . 183  
Анна БАРКОВА: Мих. Юрин—„Солнечная юность“. Ив. Грузинов—„Малиновая шаль“. „Вьюжные дни“. Сборник . . . . . 184  
Г. ЯКУБОВСКИЙ: С. К. Минин—„Город-боец“ . . . . . 186

Ю. ДАНИЛИН: Ферд. Дюшен—„Под медленный шаг каравана“ .	186
Федор ЖИЦ: Эрнест Першон—„Нищета“.. . . . .	187
И. СЕРГИЕВСКИЙ: Л. Гроссман—„От Пушкина до Блока“..	188
Ю. СОБОЛЕВ: Т. А. Кузминская—„Моя жизнь дома и в Ясной Поляне“ . . . . .	188
Н. АШУКИН: Вл. А. Гиляровский—„Москва и москвичи“..	190
М. БРАГИНСКИЙ: М. А. Кротов—„Якутская ссылка 70—80 г.г.“.	191

---

# МОСКОВСКИЕ НОЧИ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Рассказ

Обращение к читателю

**Д**ля возбуждения интереса к рассказчику при книжке прилагается мой портрет <sup>1)</sup>. Да, я таков. Савельев моя фамилия. Внешность—какую на каждом шагу встретите. Но душа у меня сложная. Я, например, до сих пор еще не женился. Потому что какая бы ни нашлась женщина, кроме последней дуры, непременно будет пытаться оказывать на меня влияние. Я же этого не хочу допустить. Почему?

Предположим, я серый человек. Я неудачник, предположим. Но я индивидуалист в лучшем смысле. Нынче—все за коллектив. Мужик середняк и тот начинает тянуться, как бы всем обществом завести на деревне трактор. Пожалуйста, ничего не имею против. У иного нос особенный, у другого еще какая-нибудь непристойность. А у меня—личность. Ее ни за какие блага не утоплю в общей кон'юнктуре. Личность, как новое платье. Наденешь его в воскресенье и так и тянет выйти на улицу, на люди,—пройтись на глазах. Вот причина, швырнувшая меня в литературу,—беспокойный покров личности.

Хотя были и чисто экономические причины. Видели вы когда-нибудь соломотряс в молотилке? Попробуйте на него сесть. Так начнет трясти и в глаза кидать мякиной,—большая нужна хватка, чтобы вытерпеть. Такова и наша эпоха. Я прошел все—от печения пирогов с собачиной на Сухаревой площади до инструктора красной пластики в агиттеатре на Коровьем валу в Замоскворечьи. Но я не сделался спекулянтом. Почему? Спекулянт должен быть прямолинейным человеком. Он не ставит себе вопроса,—прав он или не прав в жизненной борьбе. А у меня—оглядка, и как раз в тот момент, когда нужно хватать.

У вас уже и вопрос готов,—а что же ты, Савельев, мораль, нравственность давно в покое оставил? С одной оглядкой живешь. Опять повторяю: мораль перешла в коллектив, там и зреет. А инди-

<sup>1)</sup> Рукопись поступила в редакцию без портрета; видимо, автор намеревается приложить портрет к отдельному изданию книги «Московские ночи». *Ред.*

видуальному человеку предоставлено обходиться своими средствами. Но тут — самые ядовитые противоречия. Против каждой заповеди — зигзаг в обратную сторону. Стон стоит. Путаница. Земля из-под ног уходит. Вот то-то, — „что же ты, Савельев“?.. Савельева все десять зигзагов пронзили, и он выдержал, как дуб в грозу. Невесел стал, только. Характер испортился. А вот в Гамбурге один гражданин дошел до того, что двадцати семи молодым людям перегрыз горло и сел. И все — из-за этих зигзагов.

Влечение к писательству было у меня давно по вполне понятным причинам. Но вступил я на эту дорогу недавно. Толкнул мелкий случай.

Была студеная ночь, — ветер, вьюга. Ночь такая отвратительная, что не выскочишь за папиросами на улицу. Лежу на кровати, одетый, курить нечего, терплю. Комнатёшка — бывший чулан. Печка, конечно, с угаром. В коридоре хозяйкина собаченка, которую я как-ни будь накормлю стрихнином, тьякает на кота, который залез на гарде роб. В этом гардеробе хозяйка держит дрова, — крадет у жильцов, и это известно, но — поди, докажи, что это твое полено.

За третьей стеной разговаривают два гражданина. Разговор однообразный.

— С велосипедными шариками более, чем тихо, — говорил один голос.

Другой человек ходит, — зачем-то таскает за собой стул, и — с ужасной решимостью:

— Повторяю: если с Кагансвичем дело не выйдет, я поступаю на семь с половиной червонцев жалованья.

— И с медными кнопочками более, чем тихо.

— Повторяю: если не выйдет с Кагановичем, — уйду на семь с половиной жалованья. Решено.

— И с Кагановичем более, чем тихо. Не стройте радужных замков.

Один повторял, что с товарами тихо, другой грозился уйти служить на семь с половиной червонцев жалованья. Надоели они мне до смерти. Сердцебиение началось. А ветер, — бууууу, — за окном. И вот тут меня и осенило: опишу и пропечатаю этих сволочей.

До смерти не забуду той минуты (первого января, ровно час ночи), когда я обмакнул перо. Прямо — пошло чесать. Откуда взялись образы, мысли. Толчая, — череп трещит. Голова в огне, дыхание прерывисто вырывается из груди, по спине дерет морозом. Я уж и забыл про этого толкача с его Кагановичем. Куда там. Перспективы развернулись.

Итак, я — писатель, и своеобразный писатель. В моей книжке не ищи легкого развлечения. Лучше брось ее на прилавок, пожалуйста, вот тебе, упивайся, — веселенький романчик про стриженую девчонку Ми-Ми Трюх-Трюх... Нет, читатель, в моей книге — осколки быта, врезавшиеся в мое угрюмое сердце. Не подавись ей, — брось, брось на прилавок. Чорт со мной, пусть я погибну не признанный... Но я насолю тебе, читатель. Погибну, но еще долго будете проветривать помещения, куда залетела одинокая душа Савельева.



## Ночь первая

В чертей не верите? Чего в них верить, когда их и нет совсем. Правильнее сказать,— пропали. А пропали они от электрического освещения. Сейчас я эту мысль докажу.

Было им приволье, когда еще жгли лучину в курной избе,— дым — топор вешай, грязь, невежество, народ живет боязливый, напугать его ничего не стоит, и разведется в такой избе бесенят, чертей, домовых, кикимор, шишиг, — хоть беги без оглядки. До того доходили, — мужик ест и тут они в рот так и лезут. Не дай бог ложку положить вниз горбом, — сейчас уж один примостится и в ложку нагадит...

Когда завели керосиновые лампы, стали жить чище, умнее, — подалась нечистая сила в подполье. Оттуда пугала большей частью ребят, — из-за печки высунет конец хвоста, свернет его штопором и — назад. Ребятишки на полатах: — „ой, мамка, боюсь, боюсь“! Лошадям гривы путали. Или придет мужик в клеть задать овцам корму, — глядь — овцы всю ночь, сбившись, у стены простояли, не жрали. Это отчего?

Ну, уж как пошло электричество — беда. Особенно полуваттные лампы. Поглядите на нее в упор, — поплывут в глазах лиловые круги. От этого лилового света, или, как ученые говорят, — ультра-, — нечистая сила кончилась, — иные разбежались, куда глаза глядят, иные забились в сырые углы, там зачервивели, загнили.

Недавно еще в одном особнячишке, на Остоженке, провели электрическое освещение. С неделю прошло и начало вонять. Бились, бились, — не понять откуда, а — тянет. Позвали санитарную комиссию. Она: „Ага“, — и — прямо к помойной яме. Но — в порядке. Фанновые трубы, — им и бог велел несколько пованивать. „Все равно, — комиссия говорит, — мы вас оштрафуем“. „Да за что?“ „За уклон“... Насилу от них отругались. И уж потом только старица одна, — забрела на кухню чайку попить, — узнала про домовую беду, и за небольшое вознаграждение общептала весь дом. „Это, — говорит, — они гниют. Ничего, потерпите, скоро дух кончится“. Так по ее слову и вышло.

Короче говоря, если кто и встречал чертей за последние времена, то разве пьянчужка какой-нибудь мокрый. Свидетельства были: в Гранатном переулке ходил „не наш“ под Крещение в полночь, и не в лунной тени, окаянный, под белыми деревьями, а — посреди переул-ка, — ноги жилистые, хвост торчком, как у обезьяны, так и хрустит гусиными лапами по снегу. Одного мещанина до того напугал, — тот валенки скинул и — ходу, шапку бросил, летел, — вскрикивал, — до самой Нижней Кисловки. Словом, черти сплошной продукт невежества. Ими теперь малого ребенка не напугаешь.

Вот, обмолвился ребенком, а вышло не в стиле эпохи. В прошлую субботу иду с веником из бани, винограду купил сто пятьдесят граммов, ем на морозце с большим удовольствием. А проходить мне мимо

стройки, где асфальтовые котлы стоят. Только поровнялся,—выпрыгивает из котла малый ребенок, черный, страшный, да не один... Окружили, в лицо фыркают, виноград, веник отняли, варежки сдернули. Я отбиваюсь.—„Ах, ах“,—и их уже и нет никого. Хорошо, что я матерьялист, а напади они на старушонку какую-нибудь с предрассудками,—пойдет гулять молва по Москве, что на Нижней Кисловке—черти. Входит это в виды Наркомпроса? Едва ли.

Вы, пожалуй, и книжку готовы бросить,—охота, в самом деле, разговаривать про чертей. Нам хорошие кооператоры нужны. Вот предмет для рассказа: как сделаться толковым человеком или, например,—получить отвращение, все равно, как пить касторку, провертывать казенные деньги. Успокойтесь, я к этому и гну. А черти здесь очень даже при чем.

Один человек, не то чтобы какой-нибудь сморкун, а просто отличный молодой человек, завидной наружности, приехал в Москву с самыми лучшими намерениями: поступить в вуз. „Хуже позора нет, как невежество,—говорил он,—черепушку себе разобью, навоз буду есть, а своего добыюсь“.

Слова и намерения хороши. Но, пока что, за недостатком матерьяльных средств и жилой площади,—ютился он до середины сентября в Сокольничьем парке под деревьями. Просыпался с зарей, умывался росой, питался исключительно благодаря своей прекрасной наружности у моссельпромских продавщиц при лотках. Подойдет в накинута на плечо полушубочке, поздоровается безо всякого нахальства, непременно обратит внимание на какое-нибудь мелкое обстоятельство, и так, с шуточками, бойко и весело, заговорит лотошницу,—ну, просто—свой человек, и смешно и его жалко, распахнется у нее рабоче-крестьянское сердце.—„На-те,—сунет ему калач, колбасы,—потом отдадите, проходите, гражданин“.

С первыми заморозками попробовал он ночевать на вокзалах,—нельзя—суетливо. Пошел в ночлежку. Там воры, налетчики, шпандыри—до шести утра делят фарт, сговариваются о делах, тренируют малолетних, в девятку режутся, нанюхиваются кокаином. В седьмом часу расходятся по городу к марухам,—спать.

К просвещению все они относились свысока, и когда увидели, что молодой человек воровать не интересуется, стали его бить, и били три ночи подряд. Пришлось покинуть ночлежный дом.

А осень стояла студеная. Стало ему трудно,—вот-вот уж готов был черепушку себе разбить. Выручил случай.

Стоял он вечером на перекрестке, задумался,—задумаешься. От осенней сырости моссельпромские лотошницы стали неподатливы, злы. Ночевать негде. Около остановился толстомордый, бритый гражданин в каракулевом картузе и сел задом на палку.

— Паразиты, вы куда бежите?—обратился он к двум трепушкам, мокрым девицам с красными носиками, синими губами. Трепушки сразу остановились, заспешили:

— Нэпман, послушайте, идемте с нами...

— Крафный купец, идемте ф нами.

Под гражданином трещала палка, он пялился, косился,—трепушки ему не понравились, обругал их, пошел, покачиваясь. Они остались, только пошмыгивали. Дождь хлестал в колени. Одна сказала:

— Хоть сдохни, не фартит.

Другая:

— Мордами не выфли.—Посмотрела на молодого человека и попросила папироску. Он ответил сколько мог—бойко:

— Три дня не ел, ночевать негде. А, между тем,—завести меня в пивнушку, предложить порцию сосисок, бутылку пива,—более веселого кавалера не можете себе представить.

Трепушки стали совещаться. Самим тоже хотелось погреться, с мужчиной было надежнее в смысле красноголового, и они сказали молодому человеку:

— Хорошо, гражданин, мы вас угощаем, берите Дуньку под руку, идите, ничего не бойтесь.

В пивной, в теплоте, под гармонью,—душевно разговорились. Трепушки деловито рассказали про то, как потеряли невинность, жаловались на нэпманов,—подавай им теперь заграничный шик, а чума его знает, какой шик за границей.

Молодой человек, в свою очередь, открыл им, что его зовут Иван Иванович Гирькин, из Кашинского уезда, что грамоте научился он в Красной армии, потом действовал самоучкой. „Навоз буду есть, черепушку разобью, а своего добыюсь, получу вузобразование“,—сказал он трепушкам.

Они стали его жалеть, охали. „Мне,—он сказал,—главное до жилой площади добраться, хотя бы вот с этот стол, а есть я навоз буду“. Они заказали ему еще полпорции сосисок. Ну, как помочь?

— В коты ведь вы не пойдете?—спросила одна.

— Ни под каким видом.

Другая сказала:

— Есть одна комната на Малой Якиманке, только там надо жениться.

— Жениться? Эгэ. А невеста очень страшна?

— Наоборот, замечательно красивая. Только с придурью.

— А, именно, какая придурь?

— Сами увидите.

Оказалось, трепушкина двоюродная сестра жила в том доме на Якиманке домашней работницей. Решили, — Ивану Ивановичу туда итти, отнести работнице поклон и тут же добиться знакомства с невестой вдовой.

— Ваше дело—увидать вдову, дальше она сама зубами вцепится.

Трепушки повели Гирькина к себе ночевать. За месяц жизни в Сокольниках ему ни разу не привелось помыться, поэтому наперед они велели ему пойти в баню, выдали пятиалтынный и для страха

отобрали у него трудовую книжку. Покуда он мылся, одна трепушка дожидалась на улице, другая сбегала к подруге, гулявшей с одним вором, и принесла штiblеты и брюки, взятые у вора на подержание: „вдове показаться“.

Душевные оказались трепушки, себя не жалели, вошли в положение человека. Даже за ночь простирали ему исподнее.

Утром он побежал на Якиманку и постучался у деревянного домика на черном ходу. Отворила домашняя работница, лет восемнадцати, такая сердитая, что Гирькин едва не упал духом. Была она стриженная по-модному, но в валенках и в нагольном, кавалерийского покроя, полушубке, изо всей силы перепоясанная ремнем.

— Куда лезете, чего надо, не хватйтесь за дверь,—закричала она на Гирькина.

— Извините, я поклончик принес от Дуни.

— От Дуньки поклонов не принимаю, она—паразит.

— Извините, товариш, ваше имя?

— Варвара. Ну?

— Товариш, вы политически несознательная, Дуня, ваша двоюродная сестра не паразит, но продукт гримас быта.

Варвара ничего не ответила. Пропустила Гирькина па кухню, принялась мыть, швыркать вдовью посуду. Гирькин отрекомендовался, объяснил свое социальное положение и откровенно рассказал истинную причину своего появления на кухне. Варвара стала улыбаться,—хороши у нее были зубы. Сама—ловкая, как молния кидалась по кухне.

— Мешать вам не буду,—сказала Варвара,—эта моя труперда хоть на что-нибудь пригодится. Чем без толку чаем надуваться,—пускай использует себя на самообразование порядочного пролетария.

В это время ленивый голос позвал из комнаты. Варвара крикнула:

— Не глухая, не орите.

— Варвара, неси самовар,—позвала вдова.

— Сказано,—не могу.

— Почему?

— В студии запретили по тысяче пудов самовары таскать.

— В какой это еще студии?

— В театральной.

— Новость!

— Для кого новость, а я третьего дня зачислилась, и на вашей каторге последнюю неделю.

Вдова всхлипнула за стеной, притихла. Варвара шепнула Гирькину:

— Отнесите ей самовар, вот вам случай для знакомства.

— Эх, Варвара,—с восхищением ответил Гирькин.

Сдунул пепел с двухведерного самовара и понес его в комнату, отворачивая морду, чтобы не ошпариться паром. Варвара кивком зубов показала на дверь.

Вдова сидела у окошка, затянутого тюлем. Она была в коричневом свитере, облегавшем ее несколько полные ленивые формы. Русые волосы заплетены по-утреннему, в косу. Миловидное, румяное лицо ее задрожало от испуга при виде Гирькина, он поспешно сказал:

— Студент, земляк вашей Варвары. Здравствуйте, Софья Ивановна.

Вдова перекрестилась. Передохнула:

— Ох, напугал. Да ты самовар-то поставь. Бережнее ставь. Варвара вот шваркала его, шваркала, он и потек. Студент? А не врешь? Какой же ты студент—советский, нынешний?

— Я, Софья Ивановна, беспартийный, смирный.

— Ну, слава тебе господи.

Гирькин осторожно поставил самовар и попятился к двери, будто до того заробел, что—не уйти. Комната была низенькая, в два окошечка, загороженная вещами до последней возможности. Гардеробы стояли ребром к стене, на них—сундуки, между ними—рукомойник, далее—столик и зеркало, далее деревянная кровать с перинами чуть не до потолка.

„Ух ты, черт,—подумал Гирькин,—какая симпатичная обстановка“. И ноги его сами прилипли к некрашеному полу. Минута была боевая:—закрючить вдову тут же, не выходя за порог, чтобы к ночи, в крайности,—завтра с утра уплотнить ее.

Вдова заваривала чай и тихим, покойным голосом ругательски ругала Варвару.

— На кухню боюсь зайти,—оскалится, проклятая, ну, чистая „луканька“. Металлическую посуду помяла, горшки все с трещинами. Постоянно грозитя:—в комсомол, говорит, запишусь, вас за полярный круг угоню. Этим от нее только и обороняюсь,—вдова махнула косой, указала синими глазами на горящую лампаду перед угольником, где чернели лики в ризах.—На Моховой, наемни, встретила вот тоже студента. На нем—звезда, и перчатки, бесстыдник, из рукавов вытянул, как когти. Страшно стало и днем-то по Москве ходить... Женатый?

— Что вы, Софья Ивановна, — проговорил Гирькин, облизывая губы,—я даже вкуса этого не знаю. Молодой еще.

Вдова сейчас же кинула на него взор из-за мохнатых ресниц, отвернулась, но в самоварном отражении Гирькин увидел, что она смеется. Самовар ударял паром в потолок, весь дрожал, кипел. „Уплотню“,—с восторгом подумал Гирькин.

— Мне, Софья Ивановна, лихое дело—до жилой площади добраться, горы сворочу. А питаться я могу навозом.

Вдова второй раз взглянула:

— Да вы сели бы. Чаю выпейте.

Гирькин поблагодарил, сел, принял стакан чаю, хлебнул крутого кипятку.

— У меня, Софья Ивановна, коренные вопросы не разрешены в смысле жилищном и смысле половом.

Вдова покачала головой, сказала:

— У нас на Якиманке почти в каждом доме эти вопросы. Девки теперь до того стали бойкие, понятливые,—срамотища. Не крученые, не венчанные, у каждой по ребенку,—получают алименты, ничего не работают, только бегают в синемаатограф. Одна,—видите напротив в домишке—третье окно,—билась, билась, не может дитя зародить. Так она что придумала: чтобы хехель ее трудоспособности лишил. Стала его дразнить, стервиться, и он, конечно, пьяный, откусил ей нос и теперь ей плотит, несчастный. Вчера приходил под ее окошко, умолял облегчить пенсию. Заплакал, головой бьется о водосточную трубу. А она с грызеным носом, принцесса, хоть бы оглянулась на окошко, с утра до ночи жует, да спит. Нет, я не девица, конечно, но иначе, как старорежимным браком,—даже и глядеть не стану на мужчину.

— Современность отвергает идеализм,—отчетливо сказал Гирькин,—взаимные сношения должны быть основаны на проверке. Вы партию товара покупаете, вы ведь его пробуете сначала.

— Это так,—ответила вдова.

— А тем более в выборе мужчины.

— Ох!

— Стойте на логической точке зрения, Софья Ивановна:—вы на мужчину прицельтесь, попытайте его во всех отношениях. Подошло—в загс, от крайности—к попу.

— Чего же его пытать, мужчину сразу можно определить, по тембру голоса... Вот, тоже вы скажете.—Вдова вдруг сладко потянулась, усмехнулась, одернула свитер.

— Софья Ивановна, нельзя знать—где найдешь, где потеряешь... Современная научная мысль говорит:—за все надо хвататься с интересом...

— Это как так хвататься?—вдова даже рот раскрыла, глядела на Гирькина. От самоварного пара по окошкам ползли слезы. Гирькин тоже запотел, и вдове стало казаться, что сквозь пар он скалится весело, блестит глазами,—бес лукавый. Хотела перекреститься,—не подняла руки,—успею,—подумала. Стало ей смерть любопытно, сердце,—бух—замерло, бух—замерло. Вдову одолел грех.

— А ведь года-то уходят,—урчал прекрасный Гирькин из-за самовара.

Многое еще он говорил. От иных слов вдова вздрагивала, потупилась в заповедном наслаждении. Когда же Гирькин вдруг стал прощаться,—она проговорила лениво:

— Безусловно, если вам ночевать негде,—как-нибудь у меня устроим. Не в смысле уплотнения, потому что площадь у меня законная, а так, чтобы просто человек не погиб, пока обглядится, да то, да се...

Часа через два Гирькин, забежав к трепушкам за книгами и тетрадами, веселый и румяный, опять появился на Якиманке. Вдова

ждала его у окна. Увидела—откинулась. Лицо ее задрожало не то испугом, не то радостью.

Варвары на кухне след простыл. Гирькин сам поставил самовар, сбегал за ситником, затопил печку, и в сумерках без огня беседовал задумчиво, утешал вдову:

— Какая роскошь—ваше помещение. Какое удовольствие сидеть близко около вас. Ах, Софья Ивановна, надо, надо ловить минуты жизни...

Без нахальства,—семейственно, он целовал вдову в щеку, в шею и даже в затылок под косу. И само собой вышло,—прокуковала на охрипших за годы революции часах деревянная кукушка десять,—и Гирькин со вдовой очутились на пышных перинах, прикрылись от превратностей жизни громадным, как печь, одеялом. Чего еще было желать человеку?

Утром, в самом наилучшем расположении духа, Гирькин приловчился бежать в университет. Вдова подняла брови выше головы. „Вы куда?“ И заплакала. Ничего не пожелаешь,—он остался. Утешал ее. Опять пили чай. Вдова, вместо свитера, надела шерстяное, голубое платье старорежимного фасона с гипюром. На ногах ковровые туфли. И все,—нет-нет да и присаживалась к Гирькину на колени. Обняв, глядит в глаза странно, вопросительно.

— Ну что, ну что еще тебе нужно?—спрашивал Гирькин, трепля ее за косу. Весь день мочил, плюхал за окнами ноябрьский дождик со снегом. День и ночь промелькнули. На утро Гирькин собрался в вуз,—вдова опять брови подняла и плакагь.

— Да ведь надо же мне делом когда-нибудь заняться,—сказал Гирькин.

— Уйдешь,—раздумаюсь, сама не знаю, что натворю,—ответила вдова грудным голосом.

Поглядел Гирькин за окна,—не пошел в вуз. На кухне Варвара, как молнии, кидала кастрюли, скалилась белыми зубами.

— Дорого вам в'едет жилая площадь, товарищ Гирькин.

— Пустяки, я вдову обломаю.

— Посмотрим.

Попробовал Гирькин заниматься дома,—Софья Ивановна молчит, как мертвая, у него за спиной, неслышно подкрадетя, книжку—хлоп, и глядит, будто спрашивает: „Да кто ты, кто?“

Думал он, что она скучливая, поминутно нужно ее развлекать. Нет. Неправильно. Вдова скучать умела. С удовольствием садилась у мокрого окошка в сумерках и зевала по полсотне раз без перестановки. У Гирькина даже во рту—приторно, в теле—истома. Нет, нет. Вдова терпеть не могла ни шумного, ни бойкого. Но, едва Гирькин наморщит лоб,—значит раздумался, уединился,—она тут, как тут, с вопросом, с тревогой.

— Да не брошу я тебя, успокойся, Софья Ивановна.

— Этого я меньше всего боюсь.

— Пусти, я схожу в университет. Ну, хоть политграмоту дай поучить. Не могу я весь век только за ситником бегать. Я погибну.

— Потерпи немного. Обвенчаемся,—ходи куда хочешь.

— Ну, давай обвенчаемся.

— Не могу еще.

— Почему? Я не бродяга, сама видишь.

— Не могу, говорят тебе... Боюсь...

— Чего, чего ты боишься?

Вдова перепугалась, видимо, сказала лишнее. Он схватил ее за плечи, тряс, как грушу. Она губы стиснула, побледнела, молчала.

В тот же день шел он домой под дождем, нес ситник. Малая Якиманка не Париж,—все же засосала Гирькина тоска по людям, по улицам. С умилением даже трепушек вспомнил. Раздумался,—влез у ворот в лужу, промочил ноги. Варвары на кухне след простыл. Гирькин снял воровы башмаки, пошел в носках к себе. Видит,—дверь приотворена, в комнате жидкий, необыкновенный свет. И чей-то чужой голос бормочет, причитывает.

Гирькин обомлел у дверной щели:—перед угольником горят три лампы, Софья Ивановна стоит в черной шали, руки прижала к груди, дико глядит на огоньки. Около на табуретке лежат книжки Гирькина, и над ними нагнулась—отчитывает их сморщенная старушонка. В руке—кропило,—кунает его в медный кувшин и кропит на книги.

— Эге, вот оно что,—подумал Гирькин, осторожно вернулся на кухню и там курил, покуда над книгами не кончилась операция. Он вдове и вида не подал, что видел сквозь двери,—так это его ошарашило.

А на другой день хватился политграмоты,—нашел в печке один обгорелый корешок от книжки. Не вытерпел Гирькин, рявкнул:

— Восемь гривен за книжку отдано, чорт бы вас забодал, Софья Ивановна...

Вдова кинулась к образам. Лицо дрожит. Пальцами сложила крест, прикрылась им. Гирькин потом чуть в ногах не валялся,—еле-еле восстановил равновесие.

Старушонка с той поры стала забегать ежедневно. Сушила гнилой подол у печки,—вся закапанная вском, постная до последней возможности,—шептала про владычиц.

— У (такой-то) владычицы ручку целовала, милая моя, у (такой-то) свечечку за копеечку ставила, а бежала оттуда к (такой-то) владычице,—прочла на стене любово-страстную надпись, и вся я, милая моя, затрепетала, как мышь... Ходят, ходят по Москве не наши, луканьки пишут, пишут... Ох, милая моя, не читай писаного на стенах, на заборах, печатаного не читай без яти... На Солянке весь забор обклеен в поларшина буквами,—язык вырви—это слово тебе не скажу,—такой срам...

Она наклонилась к вдове:



— Мандат... И ведь так и горит по всему забору...

Вдова пыхнула, руки прижала к щекам. Старушонка мелко за-топталась от удовольствия.

— А последнее время в честные дома стали пробираться...

— Кто?—дико спросила вдова.

— Да все они же, игрецы, милая моя... И бумаги у них выправлены, как у людей, и уплотняют они по ордеру, да... Одна примета у них,—ногти синее нашего... Человек мне сказывал: доживаем, говорит, последние полтора месяца. Аминь. Аккурат ночью под новый год настанет наша мука. Будет полный сбор ихний. Пройдут они бесчисленной толпой с прелестным лозунгом от самого Драгомилова. И пойдут они бесстыдно, без одежды, в своем виде. И от Красных ворот разбегутся по домам, жилистые, срамные,—вот соблазн, милая...

Тут вдова так пронзительно взвизгнула, рванулась под лампы,—что и старушонка оробела, и у Гирькина, за дверь, застучала чепуха.

— Это будет последнее искушение. Половина народа погибнет, ну тогда вступится Михаил архангел, и большевики пропадут, а всем истинно верующим будет оказано большое денежное пособие.

Гирькин слушал эти разговоры, главным образом, стоя за дверь. Когда входит—старушонка замолкала, только благостно побряхтывала. При нем же, попивая чаек, она заводила другое,—двуличное.

— Вот и верно, что при царе плохо жилось, а нынче хорошо. Из Тарусы одной знакомой племянники пишут: „Дорогая тетя, слава труду, живем хорошо... Папенька наш сослан за Ледовитый океан... А при царском режиме две лавки были... У маменьки, слава труду, чахотка. Крыша у нас при ненавистном царе не текла, а нынче совсем протекла. Умно так эги дети пишут... Ох, господи, господи...

Но едва Гирькин за дверь,—старушонка шепчет вдове:

— Он это, мать владычица, он... Где у тебя глаза-то, опомнись... Все капиталы из тебя вымотает... До народного судьи доведет. Ты уж и так с лица спала. А когда он всю-то тебя опутает, как муху,—тут и запустит когти в бока...

— Да, что ты... Да, будет тебе... Не хочу, не верю,—металась вдова.

Действительно, — стала она худеть, мучиться. То не позволяла Гирькину пальцем до себя дотронуться, то схватит его за виски, вопьется, целует жадно... Застонет, ляжет на постель, завернется с головой в шаль.

Сердце у Гирькина оказалось привязчивое,—чем больше мучила его вдова, тем сильнее нравилась.

Он и книги бросил и на вуз махнул рукой. Варвара спозаранку теперь мчалась в студию, являлась только ночевать. Жильцы из других комнат в домишке Софьи Ивановны доставляли ему немало хлопот. „Иван, — звали из одной комнаты две сестры Израилевич, — извиняюсь, возьмите у нас помои“. За отсутствием Варвары он таскал

ведра, мел коридор, мыл кухню. К сестрам Израилевичам ходил мрачный зубной врач и тогда одна из сестер, та, что пострашнее, уходила спать на пол в кухне, где всю ночь стонала и всхлипывала, тревожа вдову и тем самым Гирькина. В другой комнате жил семейный изобретатель. „Иван Иванович,—гудел он басом и, стоя в дверях, чесал бороду и волосы,—я, вот, как раз, в пылу творчества, родной, слетайте за пивом, за папиросами“. В чулане жил советский служащий, мучительно влюбленный в Варвару. По ночам он бился коленками о перегородку, повторял надрывающим голосом: „Ах, одиночество, одиночество“, и всегда в чулане что-то валилось. Вдова толкала Гирькина локтем: „Посмотри, не воры ли“...

Он все сносил. Взглянет, как за окнами моросит несказанная гниль, вспомнит белые плечи Софьи Ивановны...

„...Нет, надо терпеть. Черепушку разобью, навоз буду есть,—повторял он любимое выражение,—а из этого дома меня канатом не вытащишь. Старушонку бы только угробить, чтобы не шлялась. Это она гадит наши половые отношения“.

Гирькин был прав. Вдова раздиралась на-двое между ним и старушонкой. Гирькин ей был мил, но непонятен, как, например, новые слова: завпредревроенсовета или госпромцветмет. От этих слов у нее щемила душа, хотелось забиться на кровать, обмотать голову шалью. Старушонка же звала ее в понятное, в насиженное, но в великую скуку. Вдова и верила ей, и сомневалась, и жутко ей было, и вся молодость ее тянулась к простодушному Гирькину. Ну, а вдруг он—подосланный; не наш, лукавый в прелестной личине? Опутает, обольстит, да ночью поднимет голову с подушки, а голова у него обезьянья, черная, с бараньими рогами, со срамным носом?

И вдова не жила, а будто ее по живому телу пороли ножом. За вечерним чаем она сказала:

— Нервы у меня все дочиста в беспорядке,—и заплакала. Старушонка зашуршала и, должно быть, уж не в первый раз стала поминать какого-то отца Иванушку, старца великой святости.

— Все равно зови кого хочешь,—плакала вдова.

Гирькин понял, что старушонку немедленно надо ликвидировать.

Как ей уходить, он встал за дровами в сени на черном ходу.

Притаился, и там в темноте схватил старушечку, зажал ей рот и сказал шопотом, но твердо:

— Попробуй только, чортова ворона, еще раз к нам прийти, я тебя нагишом выбью за ворота, или в район сволоку, там тебе пропишут показательный процесс. Поняла, стерва?

Старушонка дробно тряслась, все поняла. И, действительно, дня три ее и духу не было. Вдова была тиха, кротка, грустна. Гирькин книжки садился читать и даже бегал в университетскую канцелярию за справками. Погода повернула со слякоти на морозец. Полетели за окнами белые мухи, первый снежок, наряжая Москву в серебряные, хрустальные ризы.

И вот тут-то беда и пришла.

Гирькин колот дрова в сарае. Поднял колун и из-за руки вдруг видит: в ворота вошли—старушонка и с ней высокий бородатый мужик с ковровой сумой, с посохом,—босиком, без шапки. Лицо сердитое с медвежьими злыми глазами, на костлявых плечах кафтан—видно тело.

Гирькин следом за ними пробрался в дом. Дверь у вдовы оказалась на крючке. За дверью гудел сердитый, как туча, мужской голос:

— Это дело страшное, Соня. Ты на край пропасти зашла. А имя той пропасти—ад крошечный. Поддай мне его рубаху.

— Какую, отец, чистую?

— Нет, Соня, не чистую,—грязную, ношеную.

Слышно,—вдова полезла в гардероб. Затем, сильно что-то засомнелось: это старец Иванушка нюхал исподнее.

— Зловещее,—пробасил он,—дух не наш.

Вдова всхлинула. И сейчас же старушонка захлопотала:

— Третьего дня в сенях-то, в потемках, налетел он на меня, когтищи запустил в щечки. Господи, пречистая!.. Глаза как фонари, и лицо у него—круглое, провалиться мне, успела рассмотреть,—лицо у него кошачье...

— Не правда,—не круглое, а миловидное,—простонала вдова. Старец густо кашлянул:

— Не он ли, Соня, сейчас в сарае дрова колот?

— Он.

— Ах, ах. Какой ужас. Вхожу я в ворота, оглянулся, а в сарае стоит с топором человек, голова кошачья.

— Кошачья, кошачья,—зашипела старушонка,—давно это вижу, сказать ей боюсь...

— Это, Соня, все видят; одна ты ничего не видишь. Кто спит-то с тобой? Бесище...

Сразу стало тихо. Затем заскрипела кровать,—это вдова кинулась на перину. Старушонка и старец шептались. И Гирькин услышал:

...— Ничего, не бойся, Соня, отрежем. (Молчание.) Ножницы у тебя где? Я возьму,—освятить надо, а то так не возьмут.

Шопот старушонки:

— Без памяти... Ты бы над ней почитал...

Молчание. Тихий, отчаянный голос вдовы:

— Жить не хочу... С ума сойду... Уйдите... Делайте, что надо...

Гирькин вернулся в сарай колоть дрова. Так тюкал со-зла топором, что летели щепки. Старец и старушонка прошли в ворота, не оглянувшись.

„Начинай опять все сначала,—думал Гирькин.—Надо бы сразу ее марксистским подходом за жабры... Все университеты проморгаешь с этой трупердой“.

Наколов полторы сажени, Гирькин пошел обедать. Были уже сумерки. В доме—тихо, пусто. У Софьи Ивановны—темно, дверь на крючке. Гирькин стучался, улещал, пробовал сердиться и даже хныкал, — вдова не подала голоса, только кровать поскрипывала.

— Ну, хорошо, Софья Ивановна, — сказал он зловеще, — после пожалеете.

Поел щей и прилег в конце коридора на сундуке.

„А мандат у вас есть меня эксплуатировать?“ — пронеслось в голове, и Гирькин заснул. Сейчас же приснилось: — перебирая ногами, он летит по комнате. За окошечком стоят плакучие березы, белые, в инее, до синего неба, над ними в радужных кругах — луна. За серебряными ветвями, в лунном тумане, виден дом с колоннами,—в тысяче окнах блестит лунный свет. И кажется Гирькину, — вот он, вот он—дом, виденный в снах. И Гирькин вылетает в окно туда в этот иней и свет. А сзади Софья Ивановна хватает его за валенки: — „Не улетай, Ваня, заплачу“... И Гирькину хочется ей крикнуть от всего наболевшего ....„В невежестве жить не хочу, нет, не хочу!“... И никак не может крикнуть, разжать рта...

Он сотрясся, проснулся и сел на сундуке.

В глаза кольнул свет свечи, ее держала вдова, стоя перед сундуком, прикрыв низ лица шалью. Сбоку сундука стоял старец Иванушка, и казался огромным, тень от него упиралась в потолок. В руках держал кропило и ножницы. А в ногах, схватив Гирькина за валенки, шипела старушонка:

— Да скорее, отец, скорее, режь... Вот он хвост-то, рукой вижу...

Все это увидел Гирькин в секунду. И сейчас же старец, хлестнув его кропилом по глазам, навалился, вонючий, кислый, костлявый, — лез куда-то ножницами...

— Да воскреснет бог, расточатся врази его,—взвывала старушонка,— хвостище-то, хвостище.. Режь, режь, режь!..

Не своим голосом вскрикнул Гирькин, и поволок за собой старца и старушонку. В сених они его совсем одолели, но от возни рассыпалась поленница, полетели дрова... Гирькин выскочил за ворота и помчался по Малой Якиманке.

Остановился он только на другом берегу, на Театральной площади. Огни, огни, окна, фонари, снопы лучей в морозном инее. Звенели, светлыми линиями уносились трамваи. Тысячи людей шли и шли и шли по синему снегу. Налетали огненные глаза автобусов. В черноте зимнего неба рисовались игрушечной прелестью башни и гребенчатые стены Китай-города. „Вот она Москва-то, ух ты“, — подумал Гирькин, и рот разинул, и оглядывался, стоя без шапки. „Ну, нет, черепушку себе разобью, навоз буду есть, а на Якиманку не вернусь. Извозчик, товарищ дорогой, скажи, — не знаешь, где здесь театральная студия помещается?“...

## СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

\* \*  
\*

Неуютная жидкая лунность  
И тоска бесконечных равнин,—  
Вот что видел я в резвую юность,  
Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы  
И тележная песня колес...  
Ни за что не хотел я теперь бы,  
Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам,  
И очажный огонь мне не мил.  
Даже яблонь весеннюю вьюгу  
Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное...  
И в чахоточном свете луны  
Через каменное и стальное  
Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно  
Волочиться сохой по полям,  
Нищету твою видеть больно  
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...  
Может, в новую жизнь не гожусь.  
Но и все же хочу я стальнойю  
Видеть бедную нищую Русь.

И, внимая моторному лаю,  
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз  
Ни за что я теперь не желаю  
Слушать песню тележных колес.

---

# Каин - кабак

Повесть

Л. СЕЙФУЛЛИНА

I

**В**окруженьи нищих башкирских деревень глухо засел в овраге малый русский хутор. От местности получил то же название— Каин-кабак. По-русски значит Березовый Овраг.

Никто из старожилов не помнит времени, когда росли здесь ласковые березы. На крутых боках оврага лишь густой, жесткий и в расцвет невеселый кустарник. Убогий шум дремучей человеческой жизни мало нарушал нежить здешних унылых ущелий и каменистых горных вз'емов. Волки даже летом, в сытости, его несильно опасались, зачастую рыскали по взгорью близ жилья. Сырт, гряда гор, внезапно пресекавших степную равнину, отделял Каин-кабак от большой дороги. Но маленький уединенный хутор через все преграды издавна был прославлен большой, нехорошей славой. Прежде и в своем уезде и в соседних широко разносились рассказы о Каин-кабакских конокрадах, о разбойных нападениях на дорожных людей, о возведенных на крови хозяйственных дворах, о домах с тайниками, заговоренными крепким заговором. Теперь, после германской войны и четырехлетнего мужицкого боя на своей земле, стариковская побаска о давнишних разбоях-грабежах оказалась слишком бесхитростной, давней-давней, может быть, тысячелетней нежуткой былью. Нынешнее племя, закоптевшее в своей жаркой жизни, вовсе перестало внимать дремотным этим рассказам. Но Каин-кабак не затерялся в глухоте окрестных хуторов и селений. Он стал становищем красных партизан. В зиму тысячу девятьсот девятнадцатую наладили они самодельные окопы из снега и льда и крепким отпором отбились от казенного белого войска. А в тысячу девятьсот двадцать втором в Каин-кабаке устроил себе логово для запойных дней шумливый человек Григорий Алибаев, партизанский командир, ныне председатель волостного Усерганского Совета.

Но местные органы ГПУ получили достоверное известие, что Алибаев—враг советской власти, участник большого против нее заго-

вора. От этих, тщательно проверенных, сведений у заведующего секретно-оперативным отделом Степаненкова на смуглом, апатичном, волосатом лице ожили и потемнели в тревоге белесые глаза. Взять Алибаева—задача нелегкая. О нем ходят цветистые легенды по всему уезду. В каждой деревне найдутся его почитатели, задаренные им бедняки, башкиры и русские. Если арестовать шумно, с большим конвоем, могут возникнуть вредные осложнения.

Степаненков выехал на дело сам. От города до последнего под'ема в гору перед Каин-кабаком были устроены секретные подставы: оставлены вооруженные люди и подводы. Только троих надежных товарищей Степаненков взял с собой на хутор. Уговорились, что на хутор подмоге явиться только на следующий день утром, если ночью не дождется их обратно.

Хорошо об'езженные кони замедлили шаг. Осторожно спускали с крутой горы. Вся до конца видна кривая загогулина единственной улицы. Недружно, зато широко разметались по ее сторонам два ряда дворов. Падая крупный ласковый снежок. На крышах изб и надворных построек налегло его свежее пуховое руно, но было оно без блеска. Солнце притаилось. От набухшего облаками неба в этот час, еще ранний, сумеречным сделался день. Под белыми пухлыми крышами серые деревянные дома и облупившиеся землянки казались темными, глухими. У самого в'езда на улицу торчал длинный шест. Чуть покачивался на нем в затишьи лощины заиндевевший в складках красный флаг. На другом конце хутора снежный скат горы чернел живыми малыми точками. Шумно катались на салазках дети. Улица же была тиха и пустынна. В ближайшем дворе недужно залаял дряхлый пес. Щурясь от яркого снега, Степаненков подвернул, было, к нему, но издали донесся окрик:

— Сюда езжай! Куда воротишь?

Степаненков голос узнал. Сонное лицо его не оживилось, но, как всегда, у него в волненьи на правой скуле зардело красное пятно, зачесалась волосатая щека. Он буркнул:

— Встречает. Черти ему служат, уже донесли!

Низкорослый человек в желтом дубленом полушубке и белой заячьей шапке-ушанке махал руками, указывал на большую саманную избу близ себя. Когда под'ехали, он подошел к передним саням, к Степаненкову, широко расставляя в шаг кривые ноги. Раскосые сизо-черные глаза его с желтыми белками светились усмешливым огоньком. У Степаненкова остро екнуло сердце. Чорт узнает по этой образине, как смеется? Приветствует весело или издевается? Все же улыбнулся в ответ, открыв белые широкие зубы, остро сверкнувшие на темном лице.

— Не ждал гостей? Назад не завернешь?

Алибаев протянул для рукопожатия небольшую, сильно загрубелую, желтую руку.

— Добрый для хозяина гость не бывает не в час. Айда, заезжайте, может и сумею приветить. Давненько с тобой, товарищ Сте-

паненков, повидаться случая не выпадало, я об тебе даже заскучал, право! В'езжайте, в'езжайте.

Хитрогубый, плосконосый, с кожей дымчато-желтой, всем обли-  
чем нерусский, Алибаев выговаривал слова тягуче, просторно, теплым  
голосом. Всегда охотливо, любовно приснащал их одно к другому.  
Степаненков знал Григория давно. Суховатый в словах сам, любил  
его привольную речь. Но сейчас, заслушав Алибаева, насупился.

„Разговором одним задурит, шельма!“

И нежелательно для себя угрюмо отозвался:

— Заедем, не торопи.

Ни во дворе, ни позднее за чаепитьем в дальней горнице Али-  
баев ни словом не выразил удивленья или любопытства. Степаненков  
сам пробовал об'яснить свой наезд.

— Запарились в городе. Катнули на передышку к тебе. Ну, как  
раз тут близко от тебя маленько щупали кой-кого.

Алибаев спокойно спросил:

— Щупали? В нашей округе народ нехорош; худой жизни народ.  
Не земледелец, а гуляка. Эй, дружки, я вам больше не стану чай на-  
ливать. Хлобыснули по чапурушке на закладку, хватит!

Подмигнул, пригнулся приветливо к Степаненкову:

— Сейчас холодного кипяточку подадут. Послаще, покрутей этого  
парева.

От его дыханья ударил в лицо скверный запах винного перегара.  
Степаненков укоризненно качнул головой:

— Слышу, несет.

Алибаев скривил рот.

— А тебе надо, чтобы ладаном от меня шибало, что ли? Шалишь,  
лучше спиртом. Много народу в могилу посшибал, все без ладана,  
ладан не уважаю.

Степаненков перебил:

— Своего заводу водка? Не боишься, что выпьем, а по должно-  
сти тебя тряхнем?

Алибаев сухо, коротко усмехнулся.

— Ну, из-за этого с Гришкой Алибаевым шуметь не станете! Са-  
могонкой не занимаюсь, у меня старая, царской варки. Михайловский  
завод, чать, я громил, не выпил еще.

Снова добродушным ласковым говорком прибавил:

— Настоящий спирт, лечебный. Я им от своей хвори ле-  
чусь. Городской доктор один мне обстоятельно обсказал, что я боль-  
ной алкоголик. Без выпивки тебе, дескать, нельзя терпеть. Это он  
правильно, не могу без водочки. Дошлый господин, я за это ему три  
пуда крупчатки отвез, хоть не жалую господ. Вы там, в городе, что-то  
шибко цацкаться с ими зачали. В Москву меня возили, поглядел,  
опять господа в большом числе меж нашими шныряют. И друг дружку  
все „гражданинами“, не „товарищами“ кличут. А один так прямо за-  
лепил: „господа“. Попался бы в нашей волости, я бы ему, сукину сы-



ну, на спине господина бы прописал. Закаялся бы в трудящей республике барина кликать.

Степаненков хмыкнул в ответ что-то невнятное и встал. Заходил по горнице. Алибаев головы не повернул, но Степаненков учуял:

— Слушает мои шаги, собака.

Злобно взглянул на остроконечное Алибаевское ухо. Вернулся к столу, постоял, огляделся исподтишка вокруг. В чеке известно: добра много Алибаев нахапал, а в жилье у него скудно. Грубо сколоченный стол, даже домотканной мужицкой скатерткой не покрыт. Облупившиеся стены давно не белены и пусты, ни единой картинки не наклеено. Пол земляной и неприбитый, корявый. Печка-галанка дымом закопчена. Скамейки некрашенные, узкие, для сиденья неудобные. На широкой деревянной кровати, вместо всякой постели, один черный тулуп мехом вверх раскинут. На подоконниках махорочные окурки попримерзли. А на протемневшей, давно немытой, божнице под самым потолком потрескавшаяся старая икона без стекла. Чуть мерещится черным виденьем худущий лик какого-то узкоглазого, как сам Алибаев, угодника.

Неожиданно распахнулись обе половинки некрашенной двери. Степаненков едва удержал вздрог. Из первой от сеней половины избы, где широко расселась русская печь, вошли двое. Пышнобородый, но лысоголовый, высокий старик с выправкой старо-солдатской и сухощавая узкобедрая женщина. Степаненков внимательно оглядел ее короткую коричневую, шерстяную юбку, щеголеватые, по ноге сшитые, высокие сапоги и старый офицерский пояс, туго стянувший тонкое тело. Сухощавое темное лицо от коротко стриженных прямых пепельных волос казалось молодым, не женским, а мальчишечьим. Но виски желты, покороблены тонкими, как паучьи лапки, морщинами, углы бледных губ устало опущены, и острый блеск слишком широких черных зрачков в синих глазах нехорош,—нездоровый.

Старик поставил на скамейку около Алибаева четвертную бутылку и ведро воды с ковшом. Женщина опустила на стол большой трактирный поднос со снедью: хододную вареную свинину, квашеную капусту с огурцами, жареные пельмени, свиное сало и запеченные круто яйца с полопавшейся желтой скорлупой. Все в деревянных крашенных киргизских чашках. Алибаев взглянул на женщину и усмехнулся.

— Вернулась, краля? Смиловалась? А я-то сдуру верхового в Александровку погнал, благодарственный молебен попу заказал. Навяжется вот эдакая холера, дак ни крестом, ни пестом не отобьешься!

Женщина сердито тряхнула головой, покраснела.

Алибаев ласково хлопнул по плечу молодого чекиста.

— Ты как, братишка, тоже охочь до баб? Глаз-то у тебя бесоватый. Вот слушайся моего совету, толстых облюбовывай. Не столь горячи, зато и не так пакостливы.

У карглазого хмельно стучало сердце, ярко светился взгляд. Как молодое сильное животное, он весь трепетал от запаха врага, рвался

к схватке с ним. Что канитель с желтоглазым тянуть? Еще с веселым разговором лезет по-свойски, а ты сиди рядышком да поддакивай. Он сердито отодвинулся, резко ответил:

— Советы давай тому, кто их у тебя спрашивает.

Алибаев тихонько засмеялся нутряным затаенным смешком. Со всем сплющил узкие глаза. Степаненков перестал кружить по горнице, подсел к столу. Высоколобый, лысый со лба, немолодой чекист, с аккуратно подстриженной бородкой, подвинулся на скамье, давая ему место. Глуховатым приятным баском сказал Алибаеву:

— Во вкусах, видно, вы с Шуркой не сходитесь, он рассердился.

Чалыми глазами, бестрепетными, как у выхолощенного коня, глянул на Шурку. Четвертый гость, латыш, низколобый, с тяжелым подбородком, мало вступался в беседу. Он выпускал слова с натугой, будто аккуратно выкладывал увесистую кладь. Выговаривал их отчетливо, но неправильно. Казался очень голодным или жадным. Настойчиво наблюдал, как Алибаев наливал чай, смотрел ему в рот, будто завидовал каждому глотку, внимательно рассматривал чашки, медленно передавая их другим.

Алибаев ничего не ответил высоколобому.

Вдруг налегло недружелюбное молчание. Оно длилось одно мгновение, но все, кроме латыша, облегченно задвигались, зашевелились, разминаясь, когда женщина его нарушила. На нелепом мешанном наречьи она сказала:

— Бис ее знает, куда посуду заховали. Ты, Григорий, мабуть, усю поразбывал, тильки твою чарку знайшла. В чому водку питемо? В чашках?

Несловоохотливый латыш неожиданно торопливо с неуклюжим задором отозвался:

— Одним чарком водку можно. Это не чай, скоро сглотається.

Все засмеялись, даже Шурка нехотя улыбнулся. Алибаев визгливо крикнул:

— Ну, гости дорогие, хлеб-соль на столе, руки свое. Кларка, садись пес с тобой, займайся с гостями. Со свиданьцем, дружки!

Из четвертной он полно налил в крупный протемневшего серебра стаканчик, закинул голову, быстро выплеснул спирт себе в глотку, зачерпнул ковшем из ведра, запил его водой.

Солдат, принесший четверть, с рассыпчатым льстивым смешком одобрил:

— Вот правильно! Глотку цельным прочищает, скус не портит, а разбавляет в брюхе. Ну-ка, господи благослови, хватану и я.

Степаненков, поскребывая пальцами волосатое лицо, заявил решительно:

— Как хочешь, Алибаев, нам по-твоему не по силам. Сердись, не сердись, а я для себя разбавлю.

Алибаев, на удивленье, равнодушно ответил:

— Пес с вами, пейте по своей кишке.

Сглотнул еще стаканчик спирта, опять запил водой и не закусил. Узкие желтые глаза заблестели, как янтарь. Латыш недовольно дернул челюстью, встретив его взгляд. Григорий выговорил с насмешливой ласковостью:

— А ты, приятель, подцепляй закуску, меня не поджидай, отравы никакой не подмешано. Этого дела я не уважаю.

Степаненков быстро перебил:

— Мало выпил, а уже чепуху мелешь. Подвинь-ка нам капусту, дамочка. Не знаю, как вас по имени, по отчеству.

Алибаев засмеялся.

— Прежде по-хохлацки Гапкой, по мужу Ковальчук звалась, теперь товарищ Клара Артуровна, а фамилию без кашлю и не скажешь.

Он подмигнул.

— Ты на ее не зарься. Бабешка вредная и в уме попорченная.

У стриженной под пепельным клоком волос еще шире и жарче, как в лихорадке, разгорелись зрачки. Светлого ободка почти не видно стало. С суматошным придыханьем она быстро заговорила, пристукивая ладонью по столу:

— И у ранци и у вечери нема у его до мене доброго слова, одно—грызе мою голову. А найдужче, перед добрыми человеками. Как партийные товарищи в беседу со мной, он сичас ну выставлять меня у во всяком грязном лице. Що ты, человиче, робишь? А? Что най-пуще хто мене лает? Чи добрый чиловик? Гришка, Алибаев, вот и хто!

Алибаев замотал головой.

— С утра нынче, стерва, визгает, уши заболели.

Старый солдат, склонившись к высоколобому, тихонько пояснил:

— Кликушей раньше была. Как в Александровске с мужем до перевороту жили, кажную обедню за херувимской по-собачьи скулила и корчилась. Два раза духовенство бесов из нее выгоняло.

Клара услышала, сильно побледнела, сжалась, как кошка перед прыжком, но вдруг, совсем неожиданно, засмеялась и успокоилась.

Повернула к Шурке лицо, очень похорошевшее, точно изнутри осветившееся чудесным высоким волнением. Пожаловалась кротко, певуче:

— Оце-ж, чуешь, хлопец, як псы, як волки надо мною зубами стукотять. Ты же добрый, ще молодецький, послухай, я все покыдала, с ими и в сражениях з белыми була, як нужниш, и в беде и коло смерти, и на митингах волостных за оратора, усего бувало. Эх! Усе то мынулася! В одной воинской части за политрука служила. В подполье у Колчаковским документ на Клару мне выдали. Не злякалась в подполье, работала, из-под самого из-под расстрелу утикла. Вот с этим-то документом на офицерскую вдову Клару Артуровну Стжибровскую. Так як же мини Гапкой Ковальчук, как при старому режиму, зваться? а?

Она всплеснула руками, молящим взором ловила Шуркин взгляд.

Шурка сильно покраснел, потом побледнел, растерянно оглянулся вокруг. Степаненков поставил перед женщиной стаканчик с водкой. Угрюмо и брезгливо сказал:

— Пей и замолчи.

Алибаев со смехом поддакнул:

— Правильно, помолчала бы. Все брешет! Выкрала у какого-то офицера женины бумаги. С нашими таскалась и на войну. Это правда. Эй, Шурка! Ох, чисто ножиком глазами пырнул. Не злوبيсь, паренек, мы с тобой еще, дай срок, по душевному разговоримся. Знаю я, с чего ты волченком на меня. Правильно! Мой сынишка Сергунька так же на отца глядит. Кларка, брысы! Не приставай к парню.

— Ах, злодьяка, злодьяка ты, Григорий, свит мий завязав. Лихота и годи. Ну, почекай, почекай!

Опять всплеснула руками и, положив голову на стол, жалобно запричитала:

— Чи зна хто таку биду, як моя? Чи е-ж такий ще бесщастный на свити! Диточек своих покидала, порастеряла. Не всмихнется мене дочечка, Горпынко-Юзуленька, не вздывиться прыятненко, Левко, хлопчик мий...

Старый солдат хрипло засмеялся.

— Детей вспомнила, упилась, значит. С утра с Григорьем наливаются. Клара! Клар... Ну-к, пропустите, я ее в ту избу унесу, отойдет, а то блевать еще зачнет.

Он легко поднял худенькую женщину и понес к двери. Клара с визгом забила у него в руках. Ее сапоги били старика по коленям. Он громко выругался, но из рук ноши не выпустил. Шурка проводил их быстрым блеснувшим взглядом.

Вернулся старик скоро, и подсел к латышу. Сообщил ему охотливо:

— Кларку в баню унес, верещит нестерпимо, по детям убивается. Худущая, а плодoviта сука. Четверых с мужем еще прижила, да безотцовских двое. Всех по чужим дворам раскидала. Как напьется, скорбит.

Латыш нетерпеливо махнул рукой. Он не сводил глаз с Алибаева. Степаненков ястребом кружил по горнице, а тот сидел на стуле, широко раздвинув ноги, твердо упираясь подошвами в пол, с корпусом, наклоненным вперед, будто готовясь к прыжку. И хоть говорил не умолкая, спокойно растягивая слова, зорко следил за Степаненковым, уже не таясь.

Шурка отвернулся к окну. Плечи у него скучливо сникли. Старик хотел беседовать. Он выпил спирту, закусил пельменем, не обращая внимания на Алибаева, заговорил одновременно с ним. Алибаев рассказывал:

— Да, в Москву свозили. Чешутся у начальства на меня руки, да колюч еж, голыми руками не возьмешь. А рукавичек на меня с моими партизанами еще нету, да к чему прицепляться... к пустькам.

Донесли, говорят, про твои жестокости. Мирные жители тобой ребят пугают. А пусть, говорю, пугают. Все одно этими руками детей тютюшкать неловко, и своих-то не касаюсь. А зачем мертвецов расстреливаешь, это нехорошо, говорят. Живому - то оно больше, чать, нехорошо, а вы мертвяков жалеете. Да я мертвых и не расстреливал, брешут, я пули жалел. Заводов-то у меня, чать, нет, на стрельбу в живых пуль не хватает. А трупами мы окопы загораживали, чтоб вражьи пули не на нас, а на мертвецов расходовались. Родне разрешили эту мертвую стражу хоронить. Там нашлись какие-то мастаки доктора, распознавали, на сколько глубоко в живое тело пуля входит, на сколь в мертвяка. Не хватает, дескать, мерки. Ну, жаловались на меня.

А старик-солдат с другой стороны высоколобому:

— Алибаев в нашей округе торговать не дает, а в городах уже опять свободная торговля. Конечно, зря он это. Слышь, Григорий, я говорю, зря торговать не даешь. Я сам, как на военной службе отслужил, торговым делом шибко завлекся. Оренбургские пуховые платки, самое, в нашей станице вяжут. Я не казак, ну станичный житель. Забрал, значит, партию платков, в Златоуст повез, на казачьи шашки наменял, а шашки домой продавать привез. Маленько дело в убыток вышло, проторговался до-тла. Ну, все одно, сам не нажился, а повидал, как другие наживаются.

Им внимал и даже ухитрялся их слышать сразу обоих один высоколобый. Степаненков прислушивался к нарастающему за намерзшими слепыми окошками избы шуму. Скрип полозьев, неясный гомон. Кажется, под'езжает народ. Что такое? Шурка у окна тоже сел прямой. Повернул голову к окну и латыш.

Алибаев вдруг крикнул:

— Эй, служивый, айда, лучше споем любимую.

Затянул неверным диким голосом:

Сто-ит гора-а высокая...

Старик, молодецкато подбоченившийся среди избы, не успел подтянуть. Алибаев оборвал пень, засмеялся, вскочил легко и упруго, как резиновый. Совершенно трезво, отчетливо сказал старику:

— Подводчики приехали.

Выскочил из избы, как был, без шапки, в засаленной солдатской гимнастерке без пояса. Старик кинулся в другую половину избы. Чекисты подались друг к другу посоветаться. Но служивый снова появился в дверях в наброшенной на плечи дохе дорогого чернобурого меха, очевидно господской, и, сдвинув лихо на бок свалывшуюся баранью папаху, позвал настоятельно:

— Пожалуйте-ка, товарищи, и вы с нами. Айда, айда, Григорий зовет.

Гости переглянулись. Латыш вышел первым, вытянув шею и наклонив голову, как собака, нюхающая след. Степаненков на ходу сказал Шурке чуть внятно:

— Ты продышись на дворе хорошенько, дураком вперед не вылезай. Я сейчас с Краузе посоветуюсь.

Старик покосился на них живым несердитым взглядом и зашагал в ногу с высоколобым. Охотно, без всяких расспросов, сообщил:

— Подводы с провиантом прибыли. У вас в городе, и по другим по волостям запрет на реквизиции, а у нас разрешено. Раньше по филипповками шерсть и пшеницу собирал, а теперь Алибаев, вместо него, к Рождеству богатеев стригет. Это дело нехудое, это я согласен, вся бедняцкая населенья в волости разговееется и одеженку кой-какую получит к празднику.

Высоколобый, слегка отстранив старика плечом, поспешно кинулся в дверь.

Только здесь, на воле, приезжие поняли, какой спертый дух давил на них в Алибаевской избе. От первых глотков свежего воздуха кровь застучала в виски. Грудь задышала, как из тисков высвободилась.

Двор и видная в распахнутые ворота улица, тихие, когда приехали чекисты, теперь кишели народом.

С десятков соннолицых башкир в заношенных теплых малахаях, в пятнисто-грязных кафтанах, стёганных или на меху, сидели на корточках под навесом. Трое, часто сплевывая, курили слаженные собачьей ножкой вертушки с махоркой. Один, со сморщенным, будто испеченным лицом, по-кошачьи сладко жмурился, забывая нюхательным табаком приплюснутые ноздри. Остальные, долго не мигая, блескучими желто-черными глазами следили за табачным дымом. Перекликались время от времени короткими, гортанными, как клекот хищных птиц, словами. Лобастому чекисту все башкирские лица, скудноволосые, малоподвижные, обтянутые тугой кожей, показались одинаковыми по виду и по возрасту. Он подумал, как всегда, не просто, будто вспоминая текст прочитанных книг:

— Ни одного молодого. Все древние зверо-люди, замедлившие на стезе вымиранья. Если попадемся, узнаем: „виновны ль мы, коль хрустнет наш скелет в тяжелых нежных наших лапах“.

И в тусклых стылых его глазах затеплился огонек, отблеск чужого вдохновенья, слабосильный и минутный. Латыш искоса глянул, быстро и точно определил количество башкир. Степаненков мысленно нехорошо выругался. Шурка засмеялся, с любопытством оглядывая двор.

На приступках амбара сидело человек пять чубастых немолодых казаков. Они рассматривали старинное с длинным дулом одноствольное ружье. Плечистый казак с выпирающим широким подбородком встал, примерил на плече его тяжесть и глухо нутром засмеялся. Но лицо его не задвигалось, не полегчало от смеха.

Старый служивый выстроился, было, начальственно картинно в дверях, но, завидев казаков, ссузулился, поспешно зашагал к ним с заискивающим подхохатываньем.

Трое крестьянских дровней с поклажей, увязанной кошмами, стояли у ворот. Маленькие взерошенные степные лошади замерли понуро, как в дреме. Но верховые, под казачьими и киргизскими седлами, беспокойно переминались под сараем, тянулись мордами друг к другу и косили глазом за загородку, где тревожился с густым ржаньем рослый жеребец.

Тяжело топтались по двору и галдели мужики в тулупах, туго подпоясанных, в пимах, будто в дальний собравшиеся путь. Похоже на с'езд у волости или деревенское торжище в базарный день. В широко распахнутых воротах, как в раме, стоял малорослый Алибаев. Он размахивал руками и неистово орал кому-то вслед:

— Проходи, проходи мимо, не задерживайся! Да язык в другой раз придержи, а то я сам за тебя примусь, отучу к партизанам с указкой лезть. Полгода раскорякой проходишь, коль сам проучу! Такой декрет пропишу, что не встанешь.

Степаненков подошел поближе к воротам. Испуганная гуденьем Алибаевского двора пронеслась мимо запряженная в дровни молодая лошаденка. Она смешно нырнула в глубоком ухабе и вынесла дровни боком на пригорок. Молодой парень-седок, франтовато одетый в пальто на городской фасон, в длинном пуховом шарфе, замотанном три раза на шее, вывалился из дровней, зацепился концом шарфа за дровни, поднялся и опять кувырнулся в снег из-за шарфа. По улице раскатился смех ребятишек, и они дружной чужой стайкой пронеслись вслед за дровнями. Мелькали цветистые юбки баб, выбежавших из дворов. Мужики в овчинных тулупах и в полушубках, наброшенных на плечи, усмешливо щурясь, приподнимая шапки, с неторопливой разминкой, в одиночку и кучками, подходили к башкирам, казакам и наезжим крестьянам. Точно мелкая рябь пробежала по глубоким сугробам улицы. Сквозь падающий снег окружные горы казались зубчатой грудой плотно сгустившегося тумана. День уходил. Вечерняя зимняя серость налегала тяжело и тоскливо на сугробы, гася их белизну, обволакивала избы и дворы, сгущалась в закоулках и под крышами в зыбкую темноту. И люди, их движение и гомон показались Степаненкову недействительными, неясными, точно приснились во сне. Пил он мало. Но от духоты и волнения голова слегка кружилась, и телу не хотелось двигаться. Мысль „надо торопиться“ в мозгу проползла медленно. Встряхнулся только, когда с ним заговорил низенький красноносый старик. Он легонько стукнул батошкой об ворота, остановился около Степаненкова, оглядел его внимательно, зевнул, перекрестил рот и, счищая сильно трясущимися корявыми пальцами снег с бороды, спросил:

— А вы, городские, с чем наехали?

Степаненков повел плечами и ответил, не глядя на него:

— В гости к приятелю.

— Ыгым. Издаля гости только на свадьбу иль на похороны ездют. У Алибаева ровно ни того ни другого во дворе не деется.

Ну, что ж, с гостями и мы за гостей сойдем! Тоже стаканчик, глядишь, поднесут.

Он усмехнулся и вопросительно посмотрел на подошедшего служивого в дохе. Тот отрицательно помотал головой, потом лукаво прищурился, показал Степаненкову глазами на низенького старика и щелкнул пальцами себя по кадыку:

— Любит.

Низенький спокойно кивнул головой в подтверждение.

— Околи Гришки только и дышу, часто пользует, спасибо ему. У нас в Каин-кабаке мало кто есть не старательный на выпивку. Только во хмелю да в драке и радуются. Теперь драка-то, слышь, позатихала, а у нас не хочут. Вовсе отбились от тихости, не знай, куда теперь привернемся. Хозяйство поразмотали, так в роде дворни при Гришке. Он шаперится, и мы с им. Беспокройно, а ничего. Куды же мы от его. Никуды мы, Григорий, от тебя.

Алибаев оглянулся. Короткая, очень черная жесткая щетина его волос помягчала от пота, закурчавилась. Он был сильно взбешен чем-то. Злобно крикнул на старика:

— Ты чего здесь толкаешься? Тебя кто сюда звал? Восьмой десяток землю гадишь. Хорошие-то люди почету себе требуют в этикие-то седые годы, а ты все холуем под руку лезешь. Тьфу!

Старик понурился, легонько вздохнул и быстро отошел к сторонке за ворота. Алибаев сумрачно глянул на чекистов и круто повернул от них к дровням с поклажей. Спросил широкоплечего сурового-глазого мужика в старом выношенном тулупе:

— Чего привезли?

Тот, лаская возы загоревшимся жадным взглядом, ответил:

— Овчины, шерсть, пшено, пимы и баранье сало. И гуси есть и свинины туша. Нынче, что ль, распределишь? Чего откладывать!

Широкоплечий мужик был богат. Спасая добро, один из первых прозорливо примкнул к Алибаевскому войску. В годы обнищанья односельчан приумножил и скот во дворе и запасы в закромах. Но от избытка сам в теле не потучнел, а схудал, прожелтел в лице, помрачнел. Приумножая, все больше распалялся алчной тоской. Алибаев, поняв снедающую его заботу, сухо ответил:

— А ты заgreбы-то свои шибко не расставляй, малость какую-нибудь уделю. Не для этиких, как ты, для бедноты реквизиовали.

Служивый в дохе льстиво под руку Алибаеву сунулся:

— Правильно! Для бедноты права в бою отбили. Для кого же мы и старались.

— Ну... ты еще, старатель!..

Алибаев больно ткнул его кулаком под ребро. Служивый подавился словом, отскочил, но, передохнув, снова молодецкато выправился. Григорий, глядя на него сумрачным взглядом, сплюнул и очень искренно сказал, порывисто повернувшись к Степаненкову:



— В бою-то люди бились рядом со мной, а теперь погляжу по близости—погань одна, на поживу тянется. Что ты скажешь? Чисто вши меня обсыпали. Тварь малосильная, а шибко вредная.

Казакки прислушивались. Один крикнул:

— А ты, Алибаев, от этих от вшей, что ли, и сам заплошал. Дружок-то твой, Пантюшка-грамотей, что сейчас высказывал? То нельзя, да это запрещается. Кому запрет? Нам? О-го! Какой ретива-ай! А ты послушал, отбрехался, как собака хилая, у своих ворот ему вслед. Это чего же? Не хочешь, да засумлеваешься. Ветерь-то теперь, видать, не по нам дует.

— А ты с твоими станичниками против ветру не умеешь?

Алибаев в ответ выругался длинной фразой, замысловато прибирая одно к другому непристойные слова. Мужики восхищенно переглянулись. Казакки густо захохотали. Алибаеву мастерская брань тоже будто сердце облегчила. Он повеселевшим голосом обратился к Степаненкову:

— Вот так-то, друг, это вы там в городе худо поворачиваете.

— А, по-моему, у тебя нехорошо.

— Да уж там хорошо ли, нет ли, а правильно. Кому в восемнадцатом годе кишки выпускали, того теперь застаивать? Эге, шалишь.

Степаненков покачал головой:

— Ой, зарвешься, парень. Надо бы маленько с властью считаться.

— Мне Москва не указ. Власть на местах, за что бились? Пускай там господам потакают, мы буржуям не потатчики. Заново брюхо отрастить не дадим, ша-а-лишь!

И, уже совсем повеселев, подошел к чекистам. Шурка быстро отвел в сторону загоревшиеся глаза, круто отвернулся. Степаненков тоже, глядя мимо него, сказал:

— Ты, чем бахвалиться, шел бы оделся. Застудишься.

— Эге! Ни начальством, ни застудой не запугивай, товарищ! Пуганы, пуганы, до того уж перепуганы, что и пугаться разучились. У вас там во все щели баре повыперли, а мы на господ не согласны. У нас как постановили, так и не сменяем: мужичий верх, а не господский. Вот поспрошай мое воинство. Недавно господин учитель один запрекословил...

Степаненков сердито махнул рукой.

— Ну тебя! Муторно от бахвальства твоего. Ты мне лучше об'ясни, что это у тебя с'езд что ль какой во дворе?

Алибаев, уставясь ему в лицо желтыми глазами, охотно об'яснил:

— Это в роде как моя личная охрана. Всякой твари по паре. Как в Москву на вызов выезжал, они на станцию понаперли, чуть поезд не задавили. Я сам их назад отослал, своей, мол, охотой еду. А все-таки нет-нет, да неожиданно соберу, чтобы всегда на-готове держались.

— А сегодня зачем собрал?

— Говорю, проверка, непонятливый ты какой. Ночью надумал, нынче на заре слух с нарочным подал и вот, гляди, чуть за-полдень,

они уже все тут из разных местов. Коль надобности не об'явится, пошумят на дворе да раз'едутся. И с реквизиционными подводами в час угодили. Вот дележку мою поглядишь, справедлива ли. Ай не хочешь?

Глаза их встретились. Степаненков глуховато сказал:

— Большой охоты не имею. Ссориться с тобой придется.

Высоколобый издали осторожно вставил:

— Да, пожалуй, нам и собираться пора. Как бы ночь не застигла в пути. В Александровке ночевать собирались.

— Здесь заночуете.

В голосе его не прозвучало никакой угрозы. Неподвижный взгляд косых глаз тоже остался спокоен, но чекисты поняли, что Алибаев их без боя не выпустит. Вся надежда только на подмогу. Высоколобый соображал:

„Жизни моей, пожалуй, пока ничто не угрожает. Может быть, еще торговаться с нами будет. Надо выжидать“.

Выжиданье оказалось нестерпимым не только для Шурки, но и для Степаненкова. Шурка весь побелел, у него тряслись губы, он сделался сразу сам на себя не похож. Его возмущала унижительность их бессилия. В такой переделке он еще не бывал. Если бы можно было им отбиваться с оружием, а то на-те, сами приехали и сдались в „ПЛЕН“. Чего же старшие-то думали? Надо было сразу с отрядом весь хутор окружить, запалить, занять, смирить. И он ненавидел теперь не только Алибаева, но и Степаненкова, и латыша, и высоколобого. Степаненкова мучила злоба от другого. Здешние люди, вся окружающая Алибаева непростая обстановка претили его здоровенной, цельной, как плоть, душе. Он не мог поручиться, что если еще Алибаев обратится к нему с каким-либо словом, он не ударит его, отменяя всякую осторожность, с чувством огромного душевного облегченья. Латыш ощущал схожее со Степаненковым бешеное отвращенье к врагу, но знал, что гнев свой обуздать может. Он обдумывал возможность нападения на Алибаева. Высоколобый один мог продолжать разговор с Григорием. И он начал, было, его расспрашивать о партизанских боях, но Алибаев отвернулся. Он услышал за сараем, на задах, пронзительные женские выкрики.

Алибаев засмеялся, крикнул служивому:

— Лизарыч, принеси мне одежду. Кларку шугнуть надо. С Пантюшкой, видно, спорить сцепилась. Не в свое дело лезет, я ее сейчас! Шку-ура!

Лизарыч быстрым скоком, хлопая полами дохи, сбегал за полушубком и шапкой. И одновременно через задние ворота под сараем вбежала Клара. Она теперь была в папаче, в солдатской шинели и с револьвером на боку. Возбужденно сообщила:

— Оце ж, сучий сын, як лается! Пальнуть бы, як в Кирбасове того смутьянщика!

— Я тебе, стерва, пальну! Иди в избу, ну?

Алибаев сильно толкнул женщину в двери сеней. Она стукнулась головой о притолоку, визгнула, кинулась к Алибаеву с криком, с вытянутыми вперед руками. Он ударом сбил папаху с ее головы, сильно рванул за волосы, пинком втолкнул обратно в сени, притворил дверь и накиннул ее на щеколду. Клара стукнула раза три в дверь, потом жалобно заплакала и затихла в сенях. Алибаев подошел к Степаненкову, что-то хотел сказать. Тот, хмуро глядя в сторону, не слушая, перебил:

— Где же наши кони? Я чего-то их не вижу. Мы ночевать не останемся.

Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, прищурил глаза и, явно издеваясь, проговорил:

— Ой? Не желаете больше гостевать? Не пондравилось? А мне вы глянетесь, не отпущу. Погостуете с недельку, а может и поболее. Сколь хозяин захочет.

По лицу у Степаненкова прошла, как мимолетный взблеск, судорога бешеной ярости. Он сильно сжал челюсти, сдержался, продохнул и с усилием, но спокойно и твердо, выговорил:

— Не блажи, Алибаев. Хватит. Где наша подвода?

— Ишь ты, строгий какой. От прежнего дружка рыло в сторону. Чтой-то? Не выпущу, поживете в моем монастыре, по моему уставу.

Степаненков круто повернулся, хотел отойти. Высоколобий не понял его движенья. Поторопившись предотвратить беду, вызвал ее. Ему показалось, что Степаненков наступает на Алибаева, хочет ударить его. Он сзади крепко обхватил Степаненкова. Шурка наскочил на Алибаева, уронил его на землю, стал бить кулаками и сапогами. Алибаев, ловко извиваясь, вырвался. Шурка выстрелил, промахнулся. В ответ выпалил из ружья казак, тоже не задел ни одного из чекистов. Сзади башкиры налегли на них. Алибаев заорал:

— Не наваливайся, чтоб живы остались! Эй, слышь! Живыми оставить! У меня с ними еще разговор будет.

Стрельба прекратилась, но началась свалка. Чекистов обезоружили, связали, внесли в каменную кладовую, положили на кошомный ворох. Громыхнул на дверях тяжелый замок.

Трудно было определить, сколько времени пролежали. Со двора вначале доносился неразборчивый говор, людская толкотня. Потом вдруг шум возрос, послышалось движенье, похожее на раз'езд. И после этого сразу за стенами кладовой сделалось очень тихо. Через промежуток времени, мучительно долгий для запертых в кладовой, замок за дверями кто-то осторожно принялся тревожить.

Освободила их Клара. Она, с прерывистым дыханьем, сбивчиво жаловалась на жестокую обиду от Алибаева, дкляла какую-то Марьюшку, приставала к Шурке с тихим причитаньем:

— О, боже ж мий, милесенький, та який ты горячий. Хибо ж можно, полон двир, а ты стрелять.

Степаненков сердито дернул ее за плечо.

— Некогда. Народ где?

— Да никого нема. Григорий затоскував, усих по домам разогнав. О, який же скаженный! Я б его свома пальцами задушила, шайтана! Избил меня, а жалкует над сукой, забув все, хочь с пушок палы, не учует. Слова не промовит, тильки ее разгляда. Та колы бы вона не подлянка була... Тикайте, тикайте, швыдче! Ото ему будет мий подарочек на утре. Отчинит кладовку, а положенных нема.

С ночного неба густо падал снег. Ветер налетал порывами, ударялся в стены, в ворота. Клара пояснила:

— Нема ваших коней. Мабуть, казаки угнали. Да запряжите Бурку. Ну? Идуть суда. Да ничего, не лякайтесь. Вин не учуе, с Машкой сопыть.

Высоколобый спросил:

— А где же этот... Лизарыч?

— В горнице с дидкой Козырем сплять. Вони же пьяны, не проснутся.

Шурка жарким шопотом спросил:

— Где Алибаев?

Латыш, не дожидаясь ее ответа, пошел к избе. В окне виднелся свет. Высоколобый решительно приказал:

— Шурка, иди с этой бабой за лошадью. Запрягите пару, если найдешь. Жди во дворе.

Клара нетерпеливо крикнула:

— Да тикайте вы! Чого не бачили в оконце? Намерзло, не видать и ничуть ничего.

Степаненков легонько оттолкнул ее.

— Иди, баба, покажи, где лошадь. Запрягайте скорей, мы сейчас. Окрепший ветер ударял в стены избы, взывал в трубе, но Алибаев шорох в снях услышал. Приоткрыл дверь и крикнул:

— Кто там?

Ленивый, очень мягкий женский голос в избе позвал его.

— Да не тормошись, беспокойный ты какой, ветер шумит. Дадно, как раз по ноге.

Алибаев двери плотно не притворил. В небольшую щель латыш острым взглядом разглядел избу. Створчатая дверь в горницу была плотно притворена и в ручку засунут ухват вместо запорки. У маленького скосившегося деревянного стола с водкой и закуской стояла невысокая, тяжеловатая телом, белолицая, чуть курносая женщина в бумазеевом капоте. Она внимательно разглядывала новые блестящие резиновые галоши на ногах.

Алибаев подошел к ней вплотную, шумно дыша, припал головой к пухлому плечу.

— А песню, Марьюшка, не споешь нынче?

— Ай, да ну тебя. Уж тебе нынче пели, пели.

— Это пьяные-то?

— Да здешний народ и не поет, когда не пьяные.

— А пьяные частушку отстукают, как дятел носом по дереву. Разве это песня, без разливу? Они расейских не могут, а ты протяжно поешь. Я за то и залюбил тебя. Баба ты плохая и хапанная, гулящая, за что бы я тебя больше залюбил?

— Ну-к, пусти, я сяду. Спать мне уж охота, а не петь. Айда, лягем.

— Ох ты, лапынька моя...

Дверь распахнулась, чуть с петель не слетела. Латыш сзади схватил Алибаева. Круглолицая женщина взвизгнула негромко. Степаненков быстро повалил ее на скамью и скрутил веревкой. Быстрым говорком просила, вертя головой:

— Не затыкай мне рота, голубчик. Я не закричу, не крикну я, товарищ. А то задохнусь, у меня дых шибко крепкий, задохнусь. Я не буду кричать, миленький. На кой он мне сдался, кыргыз страшнучий! За калоши я, на калоши позарилась.

Алибаев сдался без малейшего сопротивления. Услышав слова женщины, дернул головой, и лицо его исказилось не то испугом, не то тоской.

Своего оружия не нашли. Дверь в горницу, чтоб шум не поднимать, не открывали. Латыш захватил большую железную кочергу. У Алибаева в кармане оказался револьвер.

Степаненков сказал:

— Ладно, до подставы недалеко, едем скорей.

Крепко скрученного веревочными вожжами Алибаева с глухо заткнутым ртом завернули в большой овчинный тулуп, нахлобучили шапку и вынесли на двор. Григорий завертел шеей, вбирая ноздрями воздух, но не дергался, не извивался в руках несущих. Высоколобый даже сочувственно попенял ему в мыслях:

— Удивительно недальновидный, даже глупый человек. Дал представление, дошумел, а в нужную минуту остался сир и беспомощен.

Очевидно думая о том же, латыш сплюнул и сказал:

— Дырявый башка. Старики, если дверь заломают, не помогут, испугнутся. Ну, скорей, клади!

Запряженная в широкую кошеву нескладная пара, длинногривый гнедой жеребец в корню и пристяжка, молодая пугливая вороная кобылка, беспокойно топтались, чуя дыханье людской тревоги. Жеребец заржал. Из-под сарая выскочил Шурка. Бесшумно, по-кошачьи, опередила его Клара. Она наклонилась над кошевой.

— Это хто? Ох, лыхо? А чому ж ее так!... Та хйба ж я вам его отдамо? Крикнула отчаянно, страстно.

— Ратуйте, люди!...

Шурка схватил ее за плечи, закрыл рот рукой, она вырвалась, бешено плюнула ему в лицо и снова яростно завопила:

— Э-эй!... Помо-жи-ите-е!

Латыш с силой ударил ее кочергой по голове. Папаха слетела вбок, Клара, не согнувшись, повалилась около саней. Густо падающий снег быстро запылил ее.

Тревожно прислушались. Никакого отклика на Кларин крик. Ветер бился в стены строений с гульливym высвистом и унылым гуденьем. Под напором его глухо постукивали ворота об засов. По-кряхтывал плетневый хлевушек около избы. В студеном мраке, пере-секаемом белым мельканьем снежинок, жутко чернела их подвода и четыре настороженных фигуры. Степаненков скомандовал:

— Садись.

Латыш схватился за вожжи. Степаненков придержал его за плечо.

— Пимы надо бы, пожалуй, захватить.

Шурка перебил:

— Кати! Некогда. На подставе запасная одежда есть.

— Ну, ладно, поворачивай к задним воротам. Через гумно выедем на дорогу.

В воротах жеребец зауросил. Круто задрал морду, поднялся на дыбы, сильно рванул кошеву вбок. Пристяжная задрожала, замельтешила ногами, метнулась в сторону, чуть не оборвала постромки.

Латыш соскочил с козел, перебросил вожжи Степаненкову, схватил корневика под уздцы, два раза ударил его кулаком под морду и дернул вперед по дорожке к гумнам.

## II

На сырту, на горах, крутил лютый буран. Со всех сторон неслись, налетали, свивались, кружили ветры. Сугробы, скрытые тьмой, гудели, шипели, стонали от ветрового разгула. Сверху скупо падала мелкая твердая крупа, но снизу большим белесым облаком без конца и краю вздымалась, вихрилась в студеной страсти колючая поземка. Застилала зыбкой, непроницаемой мутью все вокруг. Шурка и латыш с козел видели только чуть чернеющие крупы лошадей и взвиваемую ветром, побелевшую длинную гриву жеребца. Холод жег лицо. На бровях и ресницах настыли льдинки. Лошади бежали уверенно и быстро. Люди на подводе, ныряющей в ночном буране, не сразу учуяли, как продирается под одежду стужа, как устают не видеть глаза. Они не слышали стонаний метели и не пугались их.

Сильно разгоряченные удачей, еще переживали радость ее в короткой отрывистой переключке друг с другом, в мыслях.

Связанный Алибаев неподвижно лежал в кошеве между Степаненковым и высоколобым. Казалось, спал. Вдруг он яростно дернулся, сильно зашевелился. Высоколобый сообразил:

— Эх, забыли! Рот освободить надо, еще задохнется.

Озабоченно завозился над арестованным, Алибаев шумно продохнул и выругался.

— Ну, смекалистые! Разве пьющий человек может долго носом дышать? От запоя дыхание напорное. Закурить нет ли у кого у вас?

Ему никто не ответил. Степаненков напряженно всмотрелся вперед, оглянулся и тревожно приподнялся в кошеве.

— Краузе, что-то долго нет спуска! А? Што?

Не разобрать, что ответил латыш. Шум вьюги разрывал, глушил слова. Забеспокоился и высоколобый. Сразу ощутил, что ноги у него одеревенели от холода, а большой палец правой ущемила острая боль. Закричал, преодолевая напор ветра:

— Не сбились ли?

Но в этот миг сбоку в белесой стонущей темноте выросла черная гень. Вешка! От сердца отлегло. И боль в ногах будто не так уж сильна. Латыш тоже весело взмахнул кнутовищем, указывая на вешку. Она, мелькнув, тут же затонула в буране. Алибаев громко зевнул, передернул от холода плечами, лениво спросил:

— Степаненков, а вы куда меня везете?

— Доведем куда надо, не беспокойся.

Дорогу сильно замело снегом. Она становилась все трудней, и лошади пошли уже не быстрым бегом, а трусцой. Почувствовав сильно забирающую его дрожь, Степаненков выскочил, пошел, держась за грядку кошевы. Следом за ним выбрался из саней высоколобый. Спрыгнул и Шурка с козел. Холодный ветер швырял в лицо обжигающую снежную пыль. От напора студеного воздуха трудно дышалось на ходу. Полы тулупов хлопали по ногам, мешали. Шурка, одетый щеголеватей и легче других, двигался быстрее. Но скорей других иззяб, и ходьба его не согревала. Он начал дрожать и пристукнул зубами, как в сильной лихорадке. Чекисты часто срывались с твердого наста дороги, увязали в снегу, с трудом высвобождались. За сапоги набился снег. Затревожился латыш. Повернулся с козел к саням, громко спросил:

— Сколько верста до первой спус под гора? Слышь, Алибаев? А? Алибаев, стараясь перекричать метель, громко взревел:

— Какой спуск? Мы вдоль по сырту шпарим.

— Этот не в город разве дорога?

— Да я вас, ведь, спрашивал, черти дубовые, куда везете? Зачем в город по сырту ехать? Сразу, как на гору поднялись, не по той дороге ударились.

— Куда-а?

— „Куда“... На кудыкину гору, вот куда! Чего я, лежа, разгляжу в такой темнотище. Не знаю куда, только не в город.

— Тпру-у! Сто-ой! Чо-орт!

Латыш, резко дернув, натянул вожжи. Пугливая пристяжная, подавшись назад, больно ушибла о скалку задние ноги, взбрыкнула, бешено рванула вбок. Жеребец взмахнул гривой, захрапел, тоже сильно дернул кошеву. Сани накренились, латыш не удержался на козлах, упал, протащился на вожжах и выпустил их из рук.

— Сто-ой! Стой! Тпру! Стой! Дер-жи!

Шумно дыша, сразу согревшись, чекисты, увязая в снегу, падая, поднимаясь, все же не отбились от лошадей, добрались. Кони тоже с огромной натугой преодолевали вязкие снежные валы наметенных

сугробов, бежали недолго, с размаху угрузли в ложине. Жеребец надрывно заржал. Этот близкий живой зов просек взыванье метели, помог людям в бесноватой мутной тьме собраться вместе у подводы. Шурка выбился из сил. Обхватил руками козлы, припал к ним головой и никак не мог отдышаться. Высоколобый тоже изнемог. Дрожащими руками нащупал край кошевы, грузно ввалился в нее. Незадолго до этой поездки у него обнаружилось нехорошее состояние сердца и сейчас ему показалось, что он умирает. Непередаваемая физическая тоска во всем теле, стесненность в груди и особая пронизанная колючими искрами темнота, видимая, или вернее, ощутимая закрытыми глазами. О, так мучителен может быть только чудовищный явственный уход живого в небытие! Он застонал, скорчился в санях, рядом с Алибаевым. Степаненков и латыш топтались, тяжело месили снег около лошадей, громко переключались смятенными обрывистыми фразами, перебранивались. Алибаев, с силой вздернув голову, яростно заорал:

— Гусем надо было запречь! Недоумки, дьяволы безголовые!

Латыш в сердцах замахнулся на него кнутом, Степаненков схватил за руку, удержал.

— Постой... Алибаев, назад повернуть далеко?

Шурка звенящим испуганным голосом крикнул:

— Да не ври, проклятый бандит! Все равно, хоть самим пропадать, тебя из рук не выпустим.

— Э-эх, ублюдки безмозглые! Всадили сами себя! Разве в буран можно коней с пути дергать? Теперь чего разберешь, куда далеко, куда близко?

Кругом со стенаньем и визгом качалась белесая бредовая муть, закрывала все пути. Степаненков попробовал искать их собственные следы с дороги сюда. Но они уже истоптали снег около подводы. Подавшись шагов на десять подальше, он сразу перестал видеть кошеву и лошадей, с трудом уловил голоса, закричал:

— Где вы-ы?

Ветер озлеел или изменил направление. Отстав от убегающих коней, они все же слышали ржанье, теперь отклик Алибаева чуть долетел до Степаненкова.

— А-а! Сюда-а!

Закудрявившаяся, запорошенная снегом шерсть взерошилась на лошадях. Молодая кобыла дрожала мелкой дрожью вся от гривы до хвоста. Кони вытягивали шеи, напрягались и не могли высвободиться, стоя по брюхо в снегу. Латыш неистово хлестал их кнутом, ударял кулаком по хребтам и в бока, чтобы они сдвинулись с места.

Степаненков мрачно и неуверенно выговорил:

— Что ж, надо кричать? Может кто с дороги услышит.

Закричал первый:

— А-а-а!.. Помогите!..

Высоколобый завозился в санях, напряг все силы, продохнул, с усилием слабым неверным голосом простонал:



— Сюда-а! Помо-о-ги-и-те!

Шурка крикнул отчаянно, очень громко, захлебнувшись криком, как захлебываются плачем дети. Латыш вспомнил, вытащил револьвер, выстрелил вверх три раза под ряд.

Вглядывались, прислушивались, мучимые надеждой. В беснованьи зыбкой мгливой тьме почудился Шурке отклик, чье-то живое спасительное приближенье. Он взволнованно попросил:

— Подождите.

Но сам не мог ждать, сейчас же снова закричал:

— Сюда-а!.. Э-эй!..

Слушали, ждали. Все то же взыванье, гуденье, шипящее шуршанье снегов под налетами ветра и неживое жуткое колыханье студеного мрака. Вдруг ясно выделился унылый вой, не похожий на метельный. Он нарастал, креп, доносился все настойчивей и чаще. Высоколобый иступленно взвизгнул:

— Волки! Краузе! Стреляй...

Латыш выстрелил вверх три раза, потом завозился, отыскивая запасные пули. Долго заряжал плохо сгибающимися пальцами револьвер и хрипло отрывисто бормотал проклятья, уже не по-русски, на своем родном языке. Стояли, топтались, кричали долго. Прислушивались, совещались. То один, то другой порывались итти на поиски дороги, но скоро возвращались обратно к саням. Шли часы. Им показалось, что ночь должна была быть уже на исходе...

Вой затихал, потом снова вздымался совсем близко. И высоколобый не знал, мерещится ли ему или он действительно видит огненные точки волчьих глаз. И справа и слева, здесь и там, всюду в окружающей их жуткой темноте. Снова подступила к горлу дурнота, затомила страшная телесная тоска. И он отчаянно неожиданно громко взмолился:

— Господи!.. Господи, помоги!!! Господи-и!..

Алибаев опять сильно завозился около него, закричал:

— Эй вы, дьяволы! Шурка-то никак упал? Растирайте его, тормошите. Да развяжите вы меня, собаки!

Степаненков наклонился над Шуркой, разметая по снегу лытулу. Позвал латыша:

— Краузе! Надо его в кошеву... Или в снег... Слышишь, давай снег разгрести. Всем нам надо в снег закопаться, теплее.

Латыш рванулся к саням, остановился, плюнул и хлопнул себя рукой по лицу. Вспомнил, что захваченную в Алибаевской избе кочергу бросил во дворе, пристукнув Клару. Изябшие пальцы плохо повиновались. Мерзлый снег трудно им поддавался. Они разгребли яму только для Шурки, чуть прикрыли снегом его одного. Высоколобый, уткнувшись головой в угол саней, стонал уже без слов, часто содрагаясь всем телом. Шурка совсем затих около кошевы на снегу. Алибаев невнятно и злобно бранился, перекачываясь в кошеве. С огромными усилиями удалось латышу вздуть спичку. Степаненков, широко

распахнув тулуп, защищал слабый огонек от ветра и мокроты. Латыш разглядел на часах время. Только девятый час вечера на исходе. Краузе решительно сказал:

— Искать надо дорога.

Попробовал выпрячь пристяжку, она жалобно замотала мордой, осела еще глубже в снег, точно у ней подогнулись ноги.

Алибаев скрипнул зубами:

— Ухайдакали коней! Жеребец застывает, а кобыленка совсем сквелилась. Эх, паршивцы, из-за вашей дурусти животная гибнет. Нет ли дерюжки какой в санях, прикрыть бы.

Латыш махнул устало рукой и пошел вправо от саней.

— Краузе, не ходи от подводы. Пропадешь, болван!

Латыш не отозвался на окрик Алибаева. Отважно шел, увязая в снегу по колена. Скоро его не стало слышно. Алибаев, окликнув его еще два раза, раздумчиво сообщил:

— За ветер зашел, пиши пропало. Нельзя непривычному в буран от подводы отдаляться.

Степаненков уже перестал дрожать от холода. Почувствовал, как все его тело словно затекло, налилось большой, трудно преборимой усталостью, как огрузнели над его глазами веки и ослабели губы. Он испугался. Закричал, с усилием ворочая языком:

— Краузе-е!.. Наза-ад!

Будто подымаясь на крутую гору, зашагал около подводы, превозмогая тяжесть своих плеч и ног. Временем принимался опять кричать все слабеющим голосом:

— Эй! Кто живо-ой!.. Помогите-е! Кра-а-у-зе-е!..

И в час тяжелого топтанья, беспомощных криков в неживое, во тьму, в бездушное злодейство стихии, он впервые в жизни ясно и строго думал о нелепой неверности человеческого существования. Не один раз смерть дышала прямо ему в лицо. Как все люди, он перенес тяжелые, опасные болезни. С мужеством, не для всех достигаемым, сражался в бою. В ревностной, жуткой для человека работе чек'а он часто, видя гибель, безбоязненно приближался к ней. И ни разу его не поражала мысль о хрупкости его человеческого, уже никогда неповторимого века. Мысли эти не оформлялись в его мозгу в ясные слова. Он воспринял и понял их в одном животном ощущении гнуснейшей своей жалкости перед концом. Раньше, ожидая смерть, он знал, что станет отбиваться до последнего вздоха. В болезни будет лечиться, от живого врага защищаться силой или хитростью. И в этом непременном сознательном отпоре, в достойной защите своего живого дыхания был самый большой смысл его человеческого бытия, уверенность в ценности его, созидающего жизнь по своему устремленью мыслящего существа. Не только чувствующего, но и сознающего себя. Теперь он погибал вместе с жеребцом и пугливой молодой кобылой так же безответно и глухо от случая, от стужи, от снега, погибал, как ничтожная букашка, которую давят, ни жалея, ни радуясь, просто не замечая

И от этой, не размысленной, не мыслями, а чутьем учуянной конечной одинаковой с букашкой своей жалкости он затрепетал, испугался. Кричал в тьму и вьюгу, звал помощь. Устал и снова вострепнулся от страха. Нельзя больше топтаться и ждать! Взбодрившись последним усилием воли, он, как Краузе, решительно пошел искать дорогу. Алибаев во всю силу своего голоса закричал ему вслед:

— Степаненков, пропадешь! Развяжи меня. Я, может, найду дорогу. Я здешний, у меня кыргызский нюх.

Степаненков приостановился. Прокричал в ответ громко, но уже беззлобно:

— Найдешь, так убежишь. Выручишь разве нас на свою погибель?

У него уже не было ненависти к Алибаеву. Смутно он ощущал даже его братскую близость от одинаковой их человеческой беспомощности перед лицом стихии.

— Развязывай! Кабы не захотел вам в руки даваться, так... Эх, дурак! Вон эти двое вовсе скарежились, не медли. Мне парнишку жалко, а не нас с тобой.

Степаненков подошел, молча принялся развязывать веревки. Закоченевшие руки не могли осилить узла.

— Да, чать ножик у тебя есть в кармане? После, как я пойду, ты снегом шибче руки растирай.

Степаненков еще раз вяло воспротивился:

— Алибаев, пожалуй, я не пушу тебя. Пропадать, так вместе.

— Ну, зачем ты губами зря шлепаешь? Сам скоро взвоешь: иди, поищи. Это тебе не от людей отстреливаться, тут пулей не пособишь. Ну? Тяни мою руку. Вот! Эх вы, стервецы, тело примяли веревками. Стой, расправляюсь.

— Алибаев, пропадешь и ты. Куда тут итти?

— Я с рожденья здешний, степовой, не учи. Я под ветер не пойду. Голос подавать стану, услышишь. Слушай хорошенько. Да не поддавайся! Двигайся, ворошись, не дремли. От подводы далеко, гляди, не уходи. Эх, ты, коняги-то застывают тоже! Большой убыток вы мне наделали, стервецы, Кони хорошие, недешевые. Эх-ма!...

Он выпрыгнул из саней, широко и сильно размахнул руками, расправляя смятое неудобным лежаньем тело. Потом с сердитым неясным бормотаньем пошарил в санях и около саней, нашел кнут, сильно стегнул обеих лошадей по очереди. Жеребец содрогнулся, дернул кошеву, проржал коротко и слабосильно, — будто жалуясь. Пристыжная чуть взмотнула мордой и опять понурилась.

Алибаев сочувственно причмокнул, похлопал ее по спине, вздохнул.

— Двоих молоденьких загубили, Шурку и гнедую мою кобыленку. Вряд ли отдышутся! А молодое губить это только и есть один грех, никак незамолимый. Сволочи вы!

Он подобрал полы тулупа и, увязая, но привычно легко высвобождая крепкие кривые ноги, он закружил около саней. Останавливался,

вглядывался в крутящуюся мокрую тьму, потом пошел в одном направлении, наискось от подводы. Скоро стал невидим, затонул во мгле но часто доносились его короткие неразборчивые окрики. Казалось, он переругивался с бураном. Степаненков оживился новой надеждой, бодрей шагал около саней, останавливался, напряженно вслушивался, ловя Алибаевский голос. Заворочался со стоном и приподнялся в санях отдышавшийся высоколобий, горестно позвал:

— Степаненков!

— Ну?

— По голосу слышно—он все удаляется. Не вернется он. Да это все равно... На что он нам теперь?

— А ну тебя к дьяволу! Молчи.

Вдруг далекий голос Алибаева прокричал сильнее и ясней:

— О-ро-ога!... А-а-а!...

Степаненков всем телом рванулся на крик. Собрав все силы, крикнул:

— А-а-а! Где ты же?

— Иду-у.... ва-ам.

— ...либаев!.. Суда-а!

— Иду-у!

Голос Алибаева то звучал совсем близко, то ослабевал, отшибаемый вьюгой. Около саней он вынырнул совсем неожиданно.

— Кружил, кружил, пропер, было, далеко, а дорога-то оказалась чуть не под задом у нас. Вот теперь не знай, как коней выволокем. Эти двое-то тяжесть, а не помощники. Об Шурке я уж не говорю, а вот... Эй, господин, итти сможешь?

— Не знаю.

Высоколобий попробовал вылезти из кошевы, но вскрикнул, бессильно упал назад.

— Ноги... Ноги больно! И руками держаться никак не могу...

— Э-эх, ты, пес тебя задери. Тебя, чать, и выкинуть не грех. Ну ладно, лежи покуда. Что ж, Степаненков, айда постарайся. Руками владаешь?

— Плохо, но все-таки могу.

— Ладно, плечем тогда подсобишь. Перепрячь надо. А вы, недопеки, над здешним народом начальствуете, а ничего не приметили, как, в чем он вывертывается. Ужли и ты, Степаненков, не слышал, что в снежную дорогу гусем пару запрягают, а? И подобрали как жеребца с кобылой. Да она же ещё молоденька, непривычна. Ну-ка, ну-ка, милая, но-о... Ожила? Эх, как трусится! Чего, чего? Стой, стой, глупая. Ну, ну, вышагивай. Стой, куда! Эх, дура, вырвалась! Из последней силенки прыгает по сугробам. Ну, чего ж! Догонять, измаешься! Да у нее все одно это последнее брыканье. Ляжет в пути. Пропала, голубушка! Чего пнем стоишь? Айда, помогай жеребца из снега вытаскивать. Стой! Тут я. Ты подымай кошеву плечем. Этот постарей-поумней, ну да и посильней. Ну, голубь, ну, коняга. Но-о! Хоп! еще...

Ну-у... Но, но, но!.. Ну... еще... Еще... М-м-ых! Ну, вот, вылезли. Передохни, Степаненков. Что, скрючился и ты, друг? Ничего, живу быть, так расправишься. Айда, рюхайся в кошеву, отлежись. Теперь уж с дороги жеребец не сойдет. Ишь, ишь, скотина, а понимает, что вызволились.

Лошадь тяжело вздымала боками. Но, учуяв дорогу, дергала вперед, рвалась в бег.

— Стой, стой... Сейчас. Еще Краузе пошуметь надо. Может, где по близости мается. О-о-о! Кра-у-зе-е! То-ва-рищ! Доро-ога! Сю-да-а! Това-арищ!..

На братский свой зов Алибаев отклика не дождался, хоть и не малое время взывал.

— Говорил дураку, не ходи. Ехал бы теперь с нами живой, радовался бы. Эх ты, дельный мужик пропал. Лучше бы вот этого барина заместо Краузе в степи оставить. Ну, да чего уж... Едем. Доберемся, верховых из села на розыски вышлем. Айда! Но-о!

Высоколобый из кошевы громко взмолился:

— Скорей!.. Погоняй, дядя, плохо мне.

Алибаев повернул голову.

— То-то, человек, еще „тятей“ назовешь. В беде бывает мирной человек хуже, чем опасный. Мирной сробеет, а опасный захочет, дак вызволит. Но-о! Двига-ай!!

Ехали длинным долом. Здесь поземка взметывалась слабей. Только густо сеяло снегом беспросветное небо. Сугроб на дороге был мягче, полозья глубоко входили в него. Лошади тяжело везти, но она бежала во всю силу, отфыркиваясь и похрапывая. Буря в узком долу завывала, как в трубе. Просекала, рвала слова. Степаненков не мог понять, о чем кричит Алибаев, по долетавшим бессмысленным обрывкам. Он и не вслушивался. После всего испытанного в сумбурный этот день и ужасную ночь теперь налегло на него тяжелое спокойствие, приглушившее сердце и мозг. Он силился думать о том, что ожидает их на неведомой стоянке, куда везет Алибаев, о том, что все же доверяться ему нельзя, он—враг, но ни злобы, ни настороженности в душе эти ленивые, дремотные мысли уже не возбуждали. Хотелось только тепла и сна. Скорей бы в жилье, согреться, расправить затекшее, издрогнувшее тело. Вдруг требовательно вошел в уши странный гулкий звук, напомнивший что-то хорошо знакомое, связываемое всегда с зовом, с кличем. Что это такое? Степаненков взбодрился, выпрямился, пригнулся вперед, насторожив слух. Алибаев оглянулся, наклонился к нему с козел.

— Слышишь? К селу под'езжаем. Звонят для заплутавших. Это пожалуй, что Суловка. Большое село. Тут даже милиционер вам на подмогу есть. Ну, барин, вот теперь помолись, поблагодарствуй за спасенье от нечаянной смерти. На, звон выехали, теперь не пропадем. Все-таки, видать, твой бог 'расплющил глаз-то, когда давеча ты вопил к нему.

Высоколобый ответил смущенным, но уже окрепшим голосом.

— В бреду, вероятно, я в беспамятстве был.

— То-то в беспамятстве. Ладно, мы со Степаненковым за вас за всех старались, память не теряли. Ну, вот, вам вперед наука: какая ни есть спешка, дуром ночью в буран в степь не суйтесь. Все одно— дело не выйдет.

Алибаев говорил строго, как набольший, подчеркивая, что теперь они у него в руках. Но замученные иззябшие люди этим не возмущались. Степаненков очень неохотно и не настойчиво все-таки попробовал дать ему отпор.

— За нас, Алибаев, ответ с тебя, все равно...

— Не трепли, друг, языком. Аль башку поморозил, плохо смекает? Убежать-то я мог, а не убежал. И в Каин-кабаке я сам в руки дался, смекни хорошенько. Выпустить вас позабыл, Марья ко мне пришла. Я только похорохориться перед вами хотел. Ну, об этом разговор в городе будет. Шурка-то еще дышит?

— Сейчас шевелился, стонал.

— Стонет, это хорошо. Тело, значит, свое чувствует. Может, отдышится. Ну-ка, гнедой, шевелись! Еще маленечко. Н-но!...

### III

В чистой горнице все на городской фасон. На окнахверху надвески в три зубца из жесткого кружева. Цветы порасставлены на особых табуретках. Тоже не деревенские, не герань, не столетник, а клен, фикус и уродливые кактусы. У стен венские стулья, диван деревянный, крашенный. Стол перед ним отступя, посередине горницы. Покрыт зеленой клеенкой с желтыми изображениями Кутузова в середине и других генералов отечественной войны в коричневых кружочках по углам. Висячая лампа под потолком велика, на керосин жадна, невыгодна. И горка с разнокалиберной посудой за стеклами, и неширокая железная кровать под байковым одеялом, и цветные бумажные обои на стенах—все, будто, не обжитое, не для себя, а на показ по праздничному случаю устроенное. Но за обоями, в пазах и щелях, многочисленное клопиное племя. Всю длинную здешнюю зиму горница не проветривается. Дух в ней стоит исконный, густой. Из неплотной створчатой двери идет смешанный запах овчин, квашеной капусты, кизячной топки и застарелого вешнегося в одежды человеческого пота. Передний угол с протемневшими иконами и только с одним молодежавым образком, беленая кирпичная голландка с открытым прокоптелым жерлом без затворки, за голландкой досчатая настилка для лежання с кошмой и бараньими тулупами в головах. Это настоящее, то, с чем живут.

Савелий Максимович, хозяин, хоть и хмурился, когда неожиданные наезжие люди внесли в парадную горницу суматоху, сор, раскидали по полу сапоги и тулупы, сидел в ней теперь как-то охотливей,

вольтотней, чем всегда. Был он прижимист и негостеприимен. Достатком своим, уцелевшим после всех потрясений, без надобности хвастаться не любил. Еще спозаранку, убоявшись бурана, завернули к нему с дороги на базар двое старых его знакомцев. Один из них, Леонтий Кудашев, человек в нынешнее время сильный. Председатель совета здешней волости. Другой тоже очень полезный. Прославленный в округе пимокат. Для них Савелий Максимович распорядился согреть самовар. Но угощал их все же вместе с собой в жилой семейной половине.

В ночи нанесло Алибаева с обмороженными. Косоглазый распорядился в дальней горнице их на отдых устроить. Савелий проживал не в Алибаевской волости, но знал его силу во всей округе и опасался. Алибаев как-то грозился и в чужих волостях переворошить „амбарушки“. Савелий этих угроз опасался, при встречах старался задобрить Григория и теперь подчинялся его распоряженьям. Возились с его спутниками долго. Всей семьей растирали, согревали, отпаивали самоном и чаем. Шурка и высоколобый лежали на двух перинах на полу. Высоколобый крепко спал, а Шурка затихал лишь временами ненадолго. Сильные боли в теле нагнетали на него бредовые жуткие виденья. От физической маяты и от страха он стонал и метался. Степаненков, с лоснящимися от гусяного сала лицом и руками, вытянулся на диване у стола. Он часто открывал глаза, но взгляд его был блаженно туп. Он не слышал ничего, кроме своего сладостно отдыхающего тела. Алибаев уже успел отлежаться. Он взбулгачил не только Савелия Максимовича, а всю его семью. Посылал его сыновей во многие дворы и добился, что снарядили верховых искать в степи заплутавшегося Краузе. Теперь, голый до пояса, сидел на полу, поджав под себя крест-на-крест ноги, топил соломой голландку. От ярких вспыхиваний неподвижное лицо его казалось позолоченным тусклой позолотой, как у идола. Буран все не затихал. От налетов ветра гудели порой стены. В замерзшие окна швырком ударялся снег. Час был уже поздний, полночный, а в горнице и в другой половине избы еще не спали взбудораженные люди. Пимокат сидел на припечке, свесив ноги, а Леонтий Кудашев рядом с Алибаевым на полу перед голландкой. Он, лукаво усмехнувшись, обратился к хозяину:

— Что вздыхаешь, Савелий Максимович? Гостей считаешь. Подвезло тебе сегодня.

Савелий знал, что Алибаев с нестоющим городским народом не станет валандаться. Знакомство в городе ведет только с начальниками. Поэтому ответил сдержанно, но достаточно приветливо:

— Гости на-гости, хозяину радости. А кто это с тобой, Григорий Петрович, вместе в беду-то попал? Чем в городе занимаются?

Алибаев усмехнулся.

— На ночь не стоит сказывать. Завтра весь их чин обозначится. Савелий насторожился.

— О-о? Вона что!

— Да ты сиди спокойно, не ерзай. Тебя это не касаемо.

Кудашев вёсело засмеялся.

— Этот, на диване-то, знакомец мой. Мы с ним пространно беседовали. Только он в нездоровьи сейчас, потому и не признал меня.

— Где же это ты с ним обзнакомился?

— А когда в чеке шестнадцать суток сидел.

Кудашев легко поднялся, пошел за кисетом к столу. Был он сухощав и легок на ходу. Очень моложав для своих тридцати лет. Алибаеву понравилось его чистое, выбритое лицо и светлый взгляд. Оттого он живо заинтересовался.

— Я про тебя что-то мало слышал, а то всю округу знаю. За что же это ты втепался?

Дверь приоткрылась и в горницу вошла высокая русая девушка. Она сильно покраснела, встретив взгляд отца.

— Я за тулупом, папаня. Одеваться нам.

Алибаев заметил, что необычно, для буднего дня она старательно приодета, причесана с гребенками в закрученных волосах и, отвечая отцу, быстро метнула взгляд на Кудашева. Он оглядел их обоих засветившимся взглядом, когда Леонтий торопливо проговорил:

— А вы посидите с нами, Анна Савельевна. Все равно, скоро верховые приедут, разбудят. Мы вот тут беседуем...

Савелий неласково перебил:

— Спать ей пора. Чего она к нашей мужиковской беседе пристанет. Иди спать, чего болтаешься? Завтра не добудишься.

Девушка покраснела еще сильнее, вытащила с припечки из-за спины пимоката тулуп и ушла.

Кудашев поглядел ей вслед, кашлянул, закурил вертушку, стесненно, нарочито небрежно вымолвил:

— Вы, Савелий Максимович, по старинке дочерей ведете. В городах, особенно в нынешнее время, они не только в разговоре, и в делах участвуют, так сказать, во всем рука об руку с мужчинами. Отчего же с нами и не побеседовать бы Анне Савельевне в нашей беседе?

Савелий, отведя глаза в сторону, строго сказал:

— Девка беседовать может только с матерью да с подружками. Замуж отдадим, тогда с мужиком побеседует. Теперь не позволяю, и на улицу играть и на свадьбы гулять не пускаю. Шибко озорной народ нынешний.

Кудашев вспомнил, что Савелий, по рассказам, сам смолоду через край озоровал. И в здешние края попал по уголовному делу. Срок отбыл, общество его не приняло обратно на родину. Оттого и осел здесь, женился, добро нажил, теперь славится своей степенностью и строгой повадкой. Хотел, было, Леонтий намеком уколоть, отомстить за свое, неприятное ему смущенье, но сдержался. Насупившись, зашагал по горнице. Алибаев с большим душевным интересом следил за ним. Но, когда Кудашев оглянулся на него, он отвернулся и равнодушно сказал:



— За что же тебя шестнадцать ден в чеке держали?

Савелий Максимович отрывисто засмеялся. Точно глухо пролаял. Но проговорил без улыбки, неодобрительно:

— Начальник на начальника наскочил. Ну, вы беседуйте, а я пока пойду посплю; чать, к свету, не раньше верховые вернутся. Ишь ты, гудет как! Свету, чать, не видать. Разбудишь меня, Григорий Петрович, коль спонадоблюсь.

— Ладно.

— Да вы бы тоже ложились. Чего...

— Керосин жалко? Если из городу вызволюсь, пришлю тебе из своего запасау.

Савелий приостановился.

— А ты как же в город-то?.. Не по своей разве воле? Опять везут?

— Иди, иди, спи, обо мне не печалься.

— Да об тебе чего печалиться! Ты заговоренный. Смерть-то тебя, не знаю какая, забрать может, не то что начальство.

И он, тяжело ступая, вышел. Стены ныли, гудели от ветра. Сухо ударялся швырками снег в стекла. Раза два громко вскрикнул и забормотал Шурка.

Алибаев подбросил в печку новую охапку соломы.

В горнице стало жарко, светло. Оттого, что за стеклом бесновалась метель, казались жар и свет троим неспящим особенно дороги. Они расположились рядком. Пимокат лежал на животе, покашливал, почти не вступался в разговор. Большими печальными глазами глядел на огонь. Лицо его, уже сморщенное, с седоватой реденькой бородкой, сделалось наивным и теплым. Обычно он мешал всякой беседе желчными придирами, недобрим смешком, назойливым приставаьем, похожим на немощную злость хилой, беззубой собачонки. Кудашев на него взглядывал не раз с ласковым удивленьем. Все трое, случайно столкнувшиеся у одного огня, под защитою одной кровли, надежно укывшей их от лютого вражьего дыханья стихии, обрели редкую радость душевного большого сближенья друг с другом. Каждый ощущал хорошую человечью заинтересованность разговором, мыслями, судьбой другого. Кудашев неторопливо подробно рассказал о своем аресте.

— Явился, значит, этот хлыщ, к нам, зареквизировал во всех дворах тулупы и полушубки. Я гляжу, дело-то плохо, население волнуется. Взял, да у себя в волости его заарестовал, полушубки назад роздал. Незаконно он действовал, после все выяснилось. Да если бы еще обидел вот Савелия, дело десятое, а то обобрал и правых и виноватых. И для себя лично главное много этак нахрапом приобрел. Ну, а у него мандат, в волости-то испугались. Значит, его освободили, прямо можно сказать отбили, а на меня донос. На их донесенье из города приказ меня с помощниками моими арестовать. Даже подводы не дали, пехом в город пригнали. Отсидел я, значит, в чеке, в общем

номере шестнадцать суток, пока дело разобралось. А потом как в кад-рели, он туда, а я сюда на свое место.

— Что же, не обиделся ты? Не взбунтовался?

— Обиделся было, да одумался. Дурость и лиходейство, товарищ Алибаев, как дурная трава, меж хорошим из земли прут. Плохо, чего скажешь? Нехорошо. Я как из Франции из плена бежал, сильно к большевикам стремился. Думал тогда, что у нас все хорошо, все без задоринки, а увидел много плохого. Ну, все-таки не забуду, как я к ним через страсть бежал. Добег—не уйду. Я вам так об'ясню: в роде, как через те трудности кровная моя семья стали большевики. В другом месте я чужак, а здесь все свое. Где и засмердит, да ведь своя болячка, не отплюнешься, лечить станешь.

Он подробно рассказал, как бежал, три раза был возвращаем назад на тяжкие штрафные работы, наконец, все же пробрался через Швейцарию в Россию. Перед его глазами вставали картины чужеземной жизни, теснились воспоминания о событиях, разговорах, городах, горах, морях, пережитом отчаянии и ликованиях. Полоненный ими говорил затрудненно, теряя нить, слова, но с огромной сердечной горячностью. Потом пимокат медлительно и печально размышлял вслух:

— Трудящему, если он не пьяница и не ленив, жить всегда можно, даже при нынешней скудости. Одно беда: доктора хорошие почти все с буржуями убежали. Как я захворал, на умеют помочь. Сколько добра в городе пролечил, а все перхотка грудь сушит. Ничего мне не мило. Я и не разбираю, плохи ли, хороши ли нынешние правители, вот ученых у них мало, это плохо, доктора нестоющие... До войны у нас один киргизин своей киргизской молитвой хорошо грудной боли помогал... А что, Григорий Петрович, ты ведь киргизского рожденья, и теперь водишься с ними. Дознайся, пожалуйста, куда сгинул этот знахарь, хромой Шишингара. Я и за сто верст к нему доеду!

Кудашев перебил:

— Правда, значит, вы из киргиз? Лицо ваше действительно выдает вас.

— Что рожей, что кожей в папаню матв меня выродила. Мое рожденье очень даже занятное.

Взглянул на Кудашева невидящим, зачарованным далеким виденьем взглядом.

— Нонешнюю зиму часто сны мне на вспоминку снятся. То самого себя мальченком вижу, то привидятся мать с отцом, кои и не видывал, какие из себя были. Родительницу-то видал, да глаза у меня тогда еще были молочные, незрячие. Всякое, все из дальнего, как у старика, на ум во сне находит. По примете у нестарого человека это к смерти бывает. Во сне душа прощается, печалуется, глядит, где ходил, чего видал, слышал человек. Эта девчоночка русая тоже расквелила, кой-чего напомнила. Страдашенька твоя, кажись, Кудашев? Ну, ну, хоть отец буржуй, отца и по шеям можно. У меня, вот, такая же была...

Похожая. Да. Вьюшку-то засунь, Кудашев, прогорело, а то выстынет. Рожденье мое удивительное, с другими несходное.

Уставившись неподвижным взглядом в затухшее успокоенное жерло голландки, он рассказывал неспешно, по-крестьянски строго, постепенно по годам, от начала, будто раздумчиво проходил по старой меже.

... — Девушка православная, значит, она была, а в голодный год кыргызин ее накормил и всю семью ее вызволил. Она с тем кыргызином и слюбилась. Увез он ее к себе в кочевку. Детей народили. Ну, а в Александровке-то в это время главный миссионер проживал, чтоб окрестных кыргыз в правильную веру приводить. Настойчивый, достойный был человек, в своем деле ретивый. Много кыргыз покрестил. Ну, к слову, после голодного году, как скот перевелся, они надолго зато щали. Охотой множество в православную веру обращались. Для новокрещенцев начальство новый поселок устроило, избу каждому давали, лошадь, корову и хлеба на первый запас. Сам губернатор с иконками их благословлять один раз наезжал. Плохо ли? Гуртом крестились, семьями, а в избах маханину жрали, по-кыргызски разговаривали и Магомета и Николая угодника равно почитали.

Чать, и посеячас так живут, не обрусели, коли не разбежались. И тогда, летами на траву, в кибитки много убегало. Ну, а поп этот, миссионер старший, видит много кыргызья крестится, еще ретивей стал. Как же, мол, так, тут неверные стадом к православному богу валят, а тут вон какой случай! Мать моя, женщина правильной веры с кыргызом сошлась, детей народила от него, их не крестит и сама от своего бога отшиблась. Сейчас, значит, мать под стражей к попу.

В страду с поля взяли. После голоду кое-кто из кыргыз сеять зачал, русские бок-о-бок, обучили. И родитель мой, нехристь, тоже. Может, мать его, по крестьянской своей навичке, на хлебопашество натакнула. Приволокли ее к миссионеру на кухню. По обряду кыргызка, но по-русски чисто говорит. Ребятишки чистокровные кыргызята, прямо неподложные. Девчонка старшенькая еще кой-как слов с пяток русских прохныкала, а мальчишка пятилеток одно горлом по-кыргызски булькает. Одежу на их расстегнули, глядят, крестов нет на шее. Все это, что рассказываю, после от людей слышал. Сам не видал, мной мать на сносях была. И те старшенькие, сестренка с братишком, люди после сказывали мне, тоже были, как я, в отца, чернущие, кривоногие. Орут, лопочут, трясутся. Мать на полу на коленках елозит, ноги поповы ловит, слезами половик заливает, приподымеется, крест на своей шее за гайтан дергает, показывает, не сменила, мол, веры, по православному молюсь, за грех с иноверцем сама отмолюсь, перед богом буду маяться и каяться, не карайте по людскому закону. Через слезы кричит: „хучь киргиз, хучь поганый, для православного с собакой вровень, а мне дорогой! Смилуйтесь! Отец моим детям, а мне и без божьего благословенья муж. Не разлучайте! С грехом он меня не неволил, сама согласье показала. От смерти он меня вызволил.

В Киев, в Ерусалим пешком на богомолье схожу, не отымайте у его детей, он к детям приверженный“.

Поп головой мотает, перстом на икону кажет.

„Нельзя! Сама в грехе смердишь, и детей от бога уволокла. Бог не позволяет, царь не велит“.

Закон тогда такой был: из православья позволялось переходить только в немецкую веру, ну они тож Христа признают, а если к Магомету или в жидовскую, нельзя. За это в тюрьму. Раз'ясняет ей поп этот закон, заморился сам, аж губы побелели. Когда у бабы мужика желанного отбирают, ее законом вразумить так же трудно, как волчицу взнуздать. Кланялась, плакала, молила попа, да вдруг подтянула живот и, как кошка, прыжком на него, взвизгнула да в космы ему вцепилась. Народ на кухне толпился. Кинулись пастырю на подмогу. Что ж ты думаешь, как озверела баба. В тягости, а немало повозились с ней, пока скрутили. Заперли ее в поповой бане, во дворе. Вдруг стражник бежит:

— Так и так, ваше благословенье, я к этому делу не сподручный, что теперь делать? Баба родит, очень мучается.

Поп рукой отмахивается, слушать про женское безобразие не может, а попадья сжалилась. Послала стряпку за старушкой-повитухой. Та пришла, помолилась перед иконой, посомневалась, но все-таки сдалась.

— В грех ли, во спасенье ли выйдет, говорит, а потружусь около поганого брюха. Куда же бабе деваться, коль час пришел? Чать бог меня за это не завинит.

Эта бабка, повивалка моя, долго жила. Как я большеньким стал, она часто мне говаривала:

„Под веселым боговым глазом мать тебя зачала, не доглядел что от нехрещеного, в сорочке сын родился. Будет, значит, тебе сладость в жизни, терпи, дожидай, обязательно будет. В сорочке на счастье рождаются“.

Ну, сорочка-то мне не сильно на подмогу.—Мало меду хлебнул. Мать меня хоть и у православных, но чужаком кинула. Над горькими ее родами попадья шибко разжалобилась. Умолила попа, привели к ней в баню братишку с сестренкой моих. А, может, базлали через край, допекли всех в дому. Только и стражу от бани сняли. Осталась на ночь одна мать с детьми. Бабка тоже не поохотилась в бане мочевать. Ушла домой, и меня с собой унесла, чтоб не придавила родильница в метаньях. Она и разрешившись не успокоилась. Все стонала, на банном полку с боку-на-бок перекидывалась. А середь ночи, видно опамятовалась и убегла вместе с детьми. После дознались: родитель мой, кыргыз, чисто кулик, потеряв птенцов, без ума по селу на коне кружил.

Может, встретись, вместе убегли, не знаю. Посланные на другой день от кибитки отцовой ничего не нашли, только угли от старого костра. Слух был, что отец в другую степь укочевал, а мать, будто,

тут же после побега в скорости кончилась, не знаю. Я вырос мирским дитем, молоко грудное и то не от одной женщины принимал. По очереди кормили меня грудью жалостливые бабы, которые кыргызским моим обличем не гребовали. Греха не боялись, в церкви меня православному крестили. Даже к благородным в родню из купели попал: становой пристав крестным был, а матерью крестной сама попая. Эй, други, не задремали? Дальше сказывать? Могу, разохотился.

Дивно самому, чисто со стороны, как другой человек жил, поглядываю. Ну, значит, при крещеньи назвали меня Григорьем, по крестному величанье записали Петрович, а, чтобы помнил грех рожденья своего, кыргызскую фамилию дали от родителя. Звался тот кыргызин Алибайкой. Я от него по свету гуляю — Григорий Алибаев. В зыбке качался я у бабки-повитухи в избе, на ноги твердо встал, разуместь все вокруг зачал, то-есть лет пяти эдак от рожденья к попу на кухню жить перешел. К гостям в праздники и на именины меня выводили показывать. Миссионер рассказывал, как господь чудесно меня удержал в православии, не дал матери с собой унести. Купчиха Тимонина слезы платочком вытирала, давала мне конфетку и по головке гладила. Спал я на плите, стого, что кухня была холодная, а плиту топили часто. Поп лапшу с бараниной с варку любил. Жилось мне хорошо, сытно. Но только крестный становой на меня позарился, выпросил у попа себе. Стал я спать у стряпки станового на кровати. Она меня на сон часто ругала поганцем, потом наваливалась на меня, и спалось мне опять тепло, хоть еда давалась поскудней поповой. Становиха была об хозяйстве рачительна, скуповата. И здесь на именины меня гостям казали. Только у попа я „Отче наш“ читал, а здесь меня выучили петь „Ах, мороз, морозец“ и плясать русскую. Один раз, на святках, сплясал, спел, и мировому судье приглянулся. Он меня у станового в карты выиграл. Раньше, сказывают, крепостных так-то выигрывали, ну, я не крепостной был, а еще хуже, — ничей. Кто взял, тот и над душой и над телом хозяин был. Вот и перешел я на десятом году возраста от станового к мировому. Шибко плакал, вспоминаю. С теплой стряпкой чисто с матерью жалко мне было расставаться. У мирового, если вспомнить по совести, тоже мне не плохо жилось, а сердце щемило. Сажал за еду он меня вместе с собой. Не семейный, скучал. А спал я у него по-барски, на диване. Разговаривал он со мною мало, разглядит когда меня. Глаза у него все мутные такие были, чисто спросонок. Пройдет мимо или даже прямо на меня глядит, а не видит. Дак вот, когда разглядит, засмеется, ткнет двумя пальцами под ребро: „Живешь, магомет?“ — Живу, отвечаю. И весь разговор. А больше мне и делать у него нечего. Заскучал я. Все-таки я бы жил у него, не убегал, кабы не напугался. С неделю я у него прожил, как он меня зовет к ему в спальную. Вхожу, он в подштанниках, собирается спать укладаться. Говорит со мной, об чем сейчас и не помню, говорит, а сам перед зеркалом сидит. Я гляжу за его спиною в зеркало и вижу: зубы вынул, в стакан поклат. Потом все волосы с головы правой ру-

кой снял. У меня сердце взвилось, сроду этакого дела не знавал, чтоб зубы вынуть и волосы снять можно было! А он тоже в зеркало-то увидал, что у меня морду от страха-то перекосило, взял да нарочно, чтоб еще больше напугать, схватил себя за обе щеки, да голову обеими руками тихонько двигает. Я думал—он и голову отвинтить может. Заорал благим зевом, да из спальни, из дому дирака. Так напугался, что и темень не в страх! За село убежал и не вернулся туда больше. На утро к нищему странничку пристал. Разговорчивый попался, от испуга меня разговорил. С ним уплелся верст за тридцать. Только скоро ходить и канючить милостыньку надоело. Взял да в селе Скоробогатовском отстал от старика. Ну, под крышу к кому-нибудь приютиться надо. Хоть летнее время, а чем же пропитаться мальчишке? Кружил, кружил по селу, дело к вечеру. Идет мужик по дороге. Поглядел на меня да засмеялся. „Откуда,—говорит,—ты, косоглазый?“ Я молчу, а сам за ним, чисто сабачонка присталая, плетусь. Шел, шел я за ним да заплакал. Кишки от голоду щемило. Он не отругнулся, пожалел. „Ладно,—говорит,—иди за мной, накормлю“. Я за этим хозяином своей волей пошел и уходить из его дому на утро не схотел. Баба его поленом меня выгоняла. Ушел да опять на двор вернулся, под крыльцом у них переспал. Утром ребятишкам своим велела согнать меня со двора. Побили, поцарапали, убег, а к ночи опять к ним. Ругалась, плевалась баба, била меня, а потом—ничего, привыкла. Заставила воду в баню больничную носить. Этот—хозяин-то мой при волостной больнице сторожем служил. Больница не по-городскому, знамо, устроена попроще. А в баню на задах сторожиха пускала париться мужиков, которы от дурной хвори лечились, по-нынешнему называют, венерических больных. Сторож гребовал их парить, а я парил, спину вехоткой смывал, мазями мазал. Они мне за это по пятаку с тела платили. Доход сторожиха получала. Ну, ничего, годов пять, не меньше, я у них прожил, и потом с чего-то тоска меня взяла. Обмываю язвенных, а самому плакать и блевать охота. Закручинился, чисто большой. Да уж шестнадцатый год, из отроков в парни одна ступенька, понимать научился. Обижаться на свою долю стал. От обиды поп и становой с мировым издаля родней показались. Задумал я опять назад к ним. Затосковал, закучинился, дальше—больше, невтерпеж. Тянет меня в Александровку. Как ни-как, родина! Ну, что же, побег на место рожденья. Побирался, тем и кормился дорогой. Народ тогда поротозеистей, помиловстей был. Везде подавали. Ну пришел—здравствуйте. А с кем здороваться?. Мирового паралич разбил, попу повышенье сделали, в большой город перебрался, становой цел, на том же месте, я к нему и объявился. Он, ничего, засмеялся, признал. Говорит: „Ты как же без документу, бродяга, шатаешься?“...

Я оробел, говорю:

— Мне документ не надо, я у вас желаю проживать...

Он смеется:

— Ишь ты, ласковый какой! На что ты мне нужен?

Документ мне выправил, а у себя держать долго не схотел.

— Дочери, говорит, у меня в возраст входят, а с тобой играют, на расказни на твои уши развешивают, все в кухне трутся. Ты кыргызское отродье, кровь в тебе разум перешибает, и попадет одна из двух какая в беду с тобой.

В роде этого высказал. Умный был, доглядчивый.

Распалиться-то на баб я, правда, рано зачал.

Ну, Тимонину Ивану Филипповичу, торговцу, меня скачал в лавку в подручные. Чтоб сласти не таскал, в первый же день хозяин до хвори пряниками меня обкормил. И посейчас я пряники не уважаю, так об'елся тогда. Ну, на этом месте долго задержался. Хлопотно, да сытно. Одежей хорошей я тогда завлекся, справить ее порешил. У купца легче ее выслужить, чем у других хозяев. Жалованья мне не полагалось, но за старанье матерем на одежду к праздникам дали. Об одеже старался, чтоб баб примануть. Обличье мое было для них неприятное. Думал, оденусь, которая-нибудь и поглядит поласковой. Стряпка с нижней кухни меня ублажала, ну собой такая, что и я, только зубы сожмя, с ней грехом занимался. Лёт за сорок, рябая и на лбу шишка кровяная, в роде кисты, бородавка, что-ль, эдаким красным бугром разрослась. Я хоть и кривоногий, а телом крепкий, настоящий. Опять же сердцем дурной тогда, ласковый был. Залюбилась мне шибко девушка одна, сестра почтового начальника. Из себя она тогда была крепенькая, белая, русоволосенькая такая. Сразу, как увидал, чисто родня мне сделалась. Вот волос-то у нее такой же был, как у этой Аннушки, у твоей, Кудашев. Да. Все об ней пекусь, думаю, чтобы для нее хорошее сделать. На почту, надо, не надо, бегаю. Как гривенник какой лавочник в хорошем духе кинет мне, я сейчас марку покупать. А куды мне ее? К чему прилеплять? Ну, деньги не часто перепали—за маркой на неделе два раз не побежишь. Помогло вот что: лавочник „Сельский Вестник“—газету и „Родину“,— журнал, выписывал. Я в это время самоучкой читать мало-помалу научился. Потому заглавья помню. Ну, бегаю год, бегаю другой, девченка-то подалась. И косоглазый, и кыргыз, а поглянулс я ей, привыкла. У брата-то она заместо стряпки при его жене и нянькой при детях. Занятя не господская, с моим ровная. А брат узнал про наше согласие, обиделся. Все-таки по рождению ему сестра. Лучше в девках при семье, в вековушках засолить, чем за работника отдать. Порешили с женой Фросю к тетке какой-то в другое село на время отослать. Почты начальник моему хозяину пожаловался. А у того после празднику престольного от перепою дурь из головы еще не вышла.— „Выкради девку,—говорит,—заплачу за венчанье, улажу. Я его не люблю, брата Фросиного, то-есть. Невелик господин, а неуважительный, пусть от обиды покарежится“.—Ну так и сделалось, обвенчались тайком. Купец-то после очухался, сердился, чуть нас со двора не согнал, да ничего—обошелся. Сильно я для него в работе жилился. Оставил у себя деньги, на свадьбу затраченные, отработать, подар-

ков всяких лишил. А Фросю в чистую кухню на подмогу для ихней стряпухи поставили. Спали мы с ней в холодной кладовушке на дворе и летом и зимой. Ничего, молодые, горячие, не застыли. Только через год дите родилось, хозяйева велели Фроську с младенцем куда хочу, а из дому убрать. Ну, в ту пору как раз мой мед-то я и хлебал, все удавалось. Министерской школы заведующая, старая девка, а добрая, Фроську с дитем в сторожихи приняла. Впервой родня-то у меня на земле об'явилась. Каждый час к им тянуло, а со двора хозяин раз в неделю на одну ночь отпускал. Горячий я, ослушивался, выгнал он меня. Но через три дня назад воротил. Выгоден для него я был, только за пропитанье работал, а старался во все силы. Воротил и даже жалованья три с полтиной в месяц положил, и к праздникам опять подарки.

Это я уж зауросил, плату запросил. Прожили так три года, еще девченка у нас народилась. В солдаты меня забрили. М-да, солоно показалось! Что ж, угнали. Я убечь думал, Фроська остерегла: „Меня с детьми,—говорит,—загубишь, протерпи службы срок“. Терпел, письма бабе своей такие отписывал, что учительница плевалась. Написала мне, что читать Афросинье письма мои не будет, если нежности всякие не перестану расписывать. Чисто, мол, не жене законной пишешь, а игральщице. Эдак другие солдаты не пишут. А я не с похоти, с тоски ласкался. Опять чужаком в ярме, много ли со своей семьей поутешался? Дальше-то все под гору, годами старше, а жите мое хуже. Войну об'явили, домой-то со службы я не попал. В отпуски, как вышло, не пошел. Маленько поздно вышло-то. Письмо-то у меня в кармае уж поистерлось. В нем учительница отписывала, что Фроська от застуды померла. Кашлять она еще, когда у лавочника оба жили, почаству закашливала.

Оттого дескать и застуда до смерти вредная ей пришлось, на кашель-то. Чего же? Башку разбить хотел, думал в мозгах повреждение произойдет от огорченья. Ничего, отдышался. И об детях сердцем обмирал, а в отпуск не схотел итти. Без Афросиньи и дети только горе растравят, не могу без Афросиньи с ними быть, и они без нее не в радость. Учительница при себе их оставила. Другие стары девки к собакам, к птицам, к кошке за утешеньем, а эта к моим детям еще при Фроське сердцем прилепилась. Пишет, не в забросе они. Да и пособие на них за меня шло. Дернул я себя за космы, стукнулся башкой об кулак, отказался от увольнения в отпуск. А после на фронт в действие попал.

Ну, об этом чего рассказывать? В каждой семье от сыновей знают. Меня не убили, обстоятельно даже не ранили, одно пустяковое было повреждение. А все-таки я другой стал. После хвори так бывает. Не то повредился, не то через край выправился. Страх потерял. Себя не жалко и ничего не боюсь. Без страху человеку вредно, невеселое сердце в человеке, когда ничего не боишься. Чего там было бояться? Смерть каждый день о бок караулит. Случай намахнет—не откристишься, не отлутуешься.



Трясись, не трясись, никакого трясения на года нехватит. Человека обидеть не жалко. Чего его жалеть? Может, он здесь останется, а ты завтра вытянешься без всякого шевеленья. Добро копить не охота, да и не заберешь с собой. Мы там грабили без острастки, а куда оно награбленное? До дому не сохранишь, да чего домой унесешь? В брошенных усадьбах посуда там всякая, креслы, рояли—их не унесешь. Золотые побрякушки, это чинам повыше доставалось. Одежу. Куда ее наберешь? Узлы с собой в переходы не попрешь. Заразным девкам раздавать, ну их... Поглядишь, пораздумаешь, да там же на месте об пол тряхнешь, разобьешь, или подожгешь. Ничего не жалко и ничего не страшно. Как свободой нас поманули, я не от страху убежал с фронту, а скушно, от тоски сбежал. Которые солдаты орут, радуются, а мне скушно. Про ребят вспомнил. Подумал, может, около них, за ихние головы утешаться чего начну. Сон у меня нехороший сделался. Ну, отосплюсь, думаю, в избе домашней, детей разгляжу и, может, тогда для себя чего-нибудь пожелаю. Детишки это... глазенки у них уже со смыслом. Ладно, щипануло за сердце. А все скушно, и сон все нехорош; ни ухо, ни голова не засыпают. Только что глаза заплющишь, а, все одно, дневное все в мыслях явственно. Охота мне растрогаться, на сходки на свои хожу, в город на митинги, ораторов слушаю. Потом зачал я во все партии в политические записываться. Потолкался и в народной свободе, и в есерах, и в меньшевиках, после к большевикам пристал. В программы я не вникал, народ глядел, искал, какой по сердцу больше придется. С большевиками позадержался покрепче. С ними позанятней, пошумней. В Александровку вернулся, первым делом за Тимонину лавку. Потрясли мы с товарищами хозяина. Из добра из его я себе довольно нагреб, а на кой? Дети еще невелики, корысть к добру всякому в них неупорная. Погадят в новинку, да и забудут. На кой вся та прибыль? Гомозился я все-таки с политикой, состоял во многих в председателях. Ну, не с весельем, а так на время хорохорился. Ладно. И к детям я ни так, ни эдак. Отвыкли, что ль! Не льнуть ко мне. За конфетки только ласкаются, пропаду—не заплачут. Эта старая девка-то, учительша, меня, чать, переживет. Еще крепкая. С ней свыклись, чужая, а им вроде своей, ближе меня, родителя. Ну, чего же? Не зачем отец им. Я даже злбиться на них зачал, еще больше отпугнул. Колчак их со мной развязал. Как он воцарился, в Алтайскую губернию я подался. Там с партизанами стакнулся. Ладно, хлебнули всякого. Врага не жалели. На той войне, на царской, я вроде не ярился. Убил если кого, так не видя попал. А тут морда к морде. С прохладцем убивал, с выдумкой. Ремень из спины один раз чисто вырезал. Всякое бывало. Ну, меня там знают. В Иркутской губернии тоже. Ничего, в тое время ровно оживел, тревожился. Когда наша власть верх повсеместно взяла, я, значит, опять в Александровку. А чего делать? Опять нету спроса на бесстрашие на мое. Дом хороший занял, Тимонина лавочника-то, благодетеля моего. И его же младшую дочку за образованность и за

веселый голос в гражданские жены к себе присогласил. А к детям в школу, вроде как на свиданье, только ходить стал. Не умею с ними обходиться, чего-то у меня неладно все выходит. С другими приятный часом все-таки бываю, а с ними все с натугой. Ну, ладно, житье привольное, с частой выпивкой, завидное, сытное. Люди со страхом предо мной, с почетом, значит, ко мне. Клавдя, жена гражданская, горяченькая, сладкая. Я на это дело спорный. Всякую бабу привечаю. И с Клавдей ничего, часом даже по-хорошему, добрый бываю. Только ненадолго. Баба ко мне все вяжется такая, что на часок один мне своя. После супруги моей, Афросиньи Николавны, покойницы, ни одна не жена, так—только на срок утешницы. Ну, так чего же выходит? Ни к чему у меня жаркости нет. Со стороны посчитать, много за мной числится, а по-моему ничего у меня нет. Заскучал я, запивать шибко стал. По месяцу, бывает, закручиваю. Ем мало, все пью, пью. Прошлый месяц из глотки печенку кровяную выблевал, перегорело от вина в нутре. Ну, пьяный шарашусь, нехорош, шибко бесстыж случаясь, дак, чтоб дети мои меня в это время не видали, запой отбиваю в Каин-кабак. Место самое подходящее.

Народ тамошний, глухой, ничем не удивишь и не разжалобишь. Слышите, друзья, там на весь хутор только два человека веселых: гулящая солдатка, Марья, песенница, да дурачек один сказки умеет сказывать. Ну, Каин-кабак мне еще и для другого дела сгодился. Ладно. Никак на дворе тишает? Айдате-ка, прогуляемся, поглядим. Все послули, надо, чать, и нам укладаться.

Степаненков приподнялся с дивана на локтях, озираясь по избе прясневшим взглядом, спросил:

— Алибаев, ты куда?

— Чего, до ветру провожать будешь? Погоди, в городе еще напровожаешься. Вернись, не бойся.

Метель стихла. Негусто сыпались нестрашные пухлявые последние снежинки. Проглянуло мутнеющее предраассветное небо.

Кудашев, поживаясь от холода, спросил:

— А сейчас-то вы по какому делу арестованы?

— Погоди, коня погляжу. Иди в избу, вернись, доскажу, коль дослушивать охотишься.

— Да я с вами пойду... Помогу.

Когда, потушив свет, они трое улеглись на кошке, на полу, Алибаев досказал:

— Как-то вечером, поздненько, заходит ко мне церковного старосты сын, приятель по выпивке. Мямлил что-то, тянул, тянул, все на меня взглядывал. Потом и говорит: „Гриша, нет ли у тебя бомбы?“ Есть, отвечаю, а тебе зачем? „Надо“, сказывает. Подпоил я его, он и выболтал все. Плачет по-бабьи, жалится, открывается мне: в заговоре против советской власти запутался. Теперь охота на попятный, да боится. „Одного,—канючит он мне через слезы,—отравили, как тот помогать отказался. Ветеринар,—говорит,—у них один в кампании, яды достает.

Обязательно отравят“. А эдакому дураку винтовки и бомбы доставать поручили. Ну, думаю, заговорщики, а все-таки взбодрился. Мое дело такое, в драке вольготней я дышу, втянулся в драку. Дальше, больше, согласился я, стал на потаенные свиданья в разных уездах являться. Крестьянское восстанье они подымать задумали, и по Сибири много насбирали в разных уездах согласников. И в Барабинском, в Омском, в Новониколаевском и Петропавловском в уездах. В которых селах по двадцати наших, а в которых пять, четыре и по одному было, всего довольно понасбиралось. Задумали с казаками сибирскими сосвататься. Главарей у нас двое было, оба не с большим образованьем. Один бывший прапорщик, другой служащий кооперативный. Так, невеликое место занимал, с мелкой закупкой по деревням ездил. Оба в разных городах под чужими фамильями проживали. С одним и баба его, девица из высокоблагородных, вместе действовала. Это все уж дознато, я при чекистах и рассказываю. Хоть и храпят уж, а может, который и услышит. Ну, ладно. Идет дело. Печать своя: посередке череп и кости, а по краям надпись: „Смерть изменникам“. И знамя у ветеринара готовое хранилось желтого цвета, черной бахромой обшитое. Когда к своему в дом мы входили, крестились на икону широким крестом и говорили: „Мир дому сему“. А он должен ответить: „Смерть изменникам“. Пароль вроде. Ладно. Народу понасбивали. Собрали отдельный особо-независимый добровольческий отряд атамана Нехорошева. Надо было программу, идеология это называется, придумать. А бес ее выдумает, идеологию-то, это не наше дело. Думали Сибирь отдельным государством объявить, а чего потом — не знаем. Царя сибирского поставить охотников не высказывалось. Отвыкли уж от царя, кто и думал, сказать поопасался. Какое правленье, ни черта не знаем. Стали искать знающих людей. Нехорошев, было, есеров искал, ну, дельных не нашел. Один подложный с нами позапутался. Вроде меня, во всех партиях перебивал. Ну, и чего же, гомозились, гомозились, а дела настоящего не выходит. Одна подготовка, а к чему — не знай. Мне надоело на образа креститься, да „мир дому сему“ буркать. Это не моя занятья. Отшибло меня, отравы я не боюсь. Перестал являться, куда указывали. На дело, говорю, зовите, голый разговор надоел. Ну, они и сами заторопились. Назначили день, двадцатого июня в прошлом году. А мужики-то, согласники из деревень, подвели, на сбор не явились. Я не ездил, раньше вызнал, что дело разохлось. Коноводы диранули в Ташкент. Чека их все-таки выискала. Один по одному имали, вот и до меня добрались, везут. Я их давно поджидал.

Он услышал около себя ровное сонное дыханье Кудашева. Ласково усмехнулся в темноте. С большим интересом слушал, а уснул, не дождался конца. Молодой, здоровый, тело долит!

Пимокат заворошил, спросил:

— Почему же ты не убеж?

— Заарестоваться порешил. Много видал, всякого хлеба хлебнул, а в тюрьме еще не сиживал. Посижу.

— Да оно, чать, не шибко сладко в тюрьме-то. А то, гляди, и к стенке припаяют.

— Оно, друг, мне сладкое-то не дается. А в тюрьме-то, может, мне, как иному монаху в монастыре, и поглянется. В какой-нибудь монастырь прятаться мне надо. Сын подрастает, сердится, жизнь моя ему не кажется. А прикончат, жалеть некому. Ну, айда спать.

День встал сероватый и кроткий, будто пристыженный буйством вчерашнего. Пухлые свежие сугробы без солнца лежали мирно и бело. Верховые вернулись только к полудню. Ночевали в башкирской деревне. Они привезли закочевший труп латыша. У Степаненкова сильно болели лицо и руки, но он встал раньше Алибаева и послал мальчишку хозяйского за волостным милиционером. Тот скоро пришел на зов и остался ждать в Савельевой хате.

Когда привезли тело Краузе, Степаненков позвал милиционера в горницу. Потом сухо и коротко, глядя поверх его головы, приказал Алибаеву:

— Собирайся.

Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, усмехнулся и сказал:

— Слушаюсь. Теперь довезешь, не заплутаемся?

Отводя глаза, Степаненков оборвал:

— Не канитель, одевайся скорее.

Савелий во дворе запрягал для них пару своих лошадей. Увидев Алибаева, погрозил ему кулаком:

— Сволочь. Привез. Ладно, когда-нибудь, может и с тобой посчитаемся.

Алибаев покачал головой. Сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот теперь уже я верю, что заарестован. Все без опаски надо мною начальствуют. А приветить на прощанье никого не находится.

Вдруг с крыльца поспешно сбежал Кудашев.

— Увозят? Ну, прощай, Григорий Петрович. Набаламутил ты, а все-таки мне тебя чего-то жалко. Будь здоров. Слушайте-ка, Алибаев, в вашем деле, с этим самым контр-революционным Нехорошевским отрядом случайно запутался братишка мой, Егор Кудашев. Он по глупости. Вы там напомните, чтоб меня в свидетели вызвали. Он зря попал, не так, как вы. Ну, ладно. Может быть на свиданье к вам приеду.

Алибаев широко усмехнулся, крепко прихлопнул небольшой своей рукой руку Кудашева и тихонько сказал:

— А на счет Аннушки благословляю. Мне она глянется.

Степаненков сердито крикнул:

— Садись, Алибаев! Время.

*(Окончание следует)*

# Картошка

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

## I

Это было  
В двадцать первом,  
В двадцать первом,  
В начале зимы.  
Ходили по комнате нервы,  
Нервы,  
А не мы.

Воблы нету.  
И хлебушек вышел.  
На обед —  
Кипяток один.  
Вырыл ямищи, полосы вывел  
На щель за пазуху  
Голод-господин.

Мир привычек живет в человеке!  
Голод стал  
Привычкой у нас.

Но никто  
Не привыкнет вовеки,  
Чтобы сын  
Голодал  
Хоть час.

Важу: взгляд у любимой пухнет,  
Пухнет  
В страшной своей простоте...  
Увидала любимая в кухне  
Три картофелины  
На плите.

Сыну крошке! Хотя бы немножко!  
(Раз просила —  
Не дали, нет).  
О, как ел бы он  
Вкусную картошку!  
О, какой бы  
Вышел обед!

...Лихо, лишенько! Лишенько, лихо!  
Где начало добра и зла?..

Я видал,  
Как любимая тихо  
Три картофелины  
Принесла.

Я не спорил тогда о началах.  
Надо было  
У примуса стыть.  
А в глазах,  
Любимых,  
Усталых,  
Перепутались радость  
И стыд.

## II

Теперь Былое корчится в петле.  
А наши дети  
Ту петлю затянут.

Шлю телефонограмму  
Большевицкому стану:

«Сыну моему  
Теперь  
Пять лет .

Мой Львенок мал еще немножко.  
Не знаю я, что сына ждет.  
Но часто слышу:  
Он поет  
Пионерскую  
«Картошку».

---

# Юность Алпатова

Р о м а н

(Продолжение) <sup>1)</sup>

МИХАИЛ ПРИШВИН

**П**ока Дунечка с Мишей Алпатовым прогуливались в саду, на крыльце школы собрались деревенские бабы. Увидев баб, Дунечка скоро вошла в школу и сказала:

— Сейчас, Миша, я их отпущу, а ты вот посиди у меня в комнате, почитай последнюю книжку журнала, тут есть интересная статья о новом движении в молодежи.

Миша взял книгу и начал читать статью, которая начиналась словами:

„Теперь всюду вы можете встретить юношу, называющего себя материалистом, но вы не подумайте, что речь идет о философской системе в общеизвестном смысле, юноша назовет себя последователем материализма экономического“...

Алпатов с трудом мог следить за мыслью автора, потому что за словами пряталась какая-то неизвестная жизнь, и особенно трудно было, когда автор начал с кем-то спорить в формах условной журнальной полемики.

„Вот бы спорить научиться, — подумал Миша, — отчего это я спорить не умею?“

Он вспомнил свои попытки в гимназии спорить. Всегда оказывалось, что его запала хватало только до первого натиска противника, после чего он думал: „а может быть, и тот прав, с другой стороны?“ и отступал, затаивая свое убеждение и сохраняя мысль противника для разговоров с самим собой.

С трудом и скукой читал Миша, а из другой комнаты ясно доносилась к нему беседа Дунечки с бабами: одна принесла какие-то вещи, чтобы укрыть их от пьяницы мужа, спрашивала Дунечку совета, как ей жить с пьяницей; другая просила капель от постоянных болей в животе; третья звала на крестины...

---

<sup>1)</sup> См. № 3-й «Нового Мира».

Мише вспомнились бабы у старца Зосимы из Достоевского, и тоже самое, как рассказывала мать о бабах у отца Амвросия в Оптиной пустыни, и он подумал:

„Им нужен не учитель в школу, а старец, и они сделали себе его из Дунечки, и очень радуются, что ее лучшие ученики идут в дьякона и в полицейские. Она хотела их переделать, а они ее переделали. Вот почему она такая грустная и о всем говорит иронически“.

Он думал это, слушая, и в то же время читая статью.

„Жив, жив!“—кончалась статья. Это значило, что автор еще жив со своими убеждениями народника, а юноши материалисты нового ничего не говорят.

„Старик, должно быть“,—подумал Миша.

Дунечка покончила с бабами.

— Ну, я пойду,—сказал Миша.

Дунечка пошла его проводить.

— Автор этой статьи,—спросил Миша,—из той же группы народников, как и вы были?

— Почти из той же,—ответила Дунечка.

— И тоже работает на легальном положении.

— Я не знаю, что они теперь делают. То, о чем мы думали, не приходится к жизни... Лучше скажи, что ты с собой думаешь делать?

— Вот и не знаю, Дунечка, я очень мучусь и не могу решить... Я желал бы сделаться инженером... но не хочу оставаться в своей скорлупе. Меня влечет это нелегальное, как было у вас, и хочется, чтобы потом увидеть за границу...

— А что за границей?

— Мне представляется за границей какой-то открытый путь. Вот у нас неправильная жизнь: легальная ненастоящая и нелегальная страшная, а как бы найти ясный путь... Нет, я ничего еще не решил о себе... Ты никогда не видала этих новых материалистов экономических?..

— Где тут мне увидеть новое? Я читала статью и думала о наших мужиках; вот кто настоящие-то экономические материалисты.

Миша хотел крикнуть: „Где же то настоящее, из-за чего ты живешь в такой глуши?“ Но, когда посмотрел на Дунечку, ему стало жалко ее и он мог только проститься.

— Куда же ты?

— В город к нотариусу: будем землю делить.

И зашагал по большаку, унося от Дунечки что-то светлое, чистое, но с холодком, как бывает в комнатах при первой зимней пороше.

### Теорема

Большак был когда-то живой человеческой рекой. Миша Алпатов слышал еще в раннем детстве от Дунечки, что по этому большаку Лермонтов ехал умирать на Кавказ к дикарям и Пушкин тоже проез-



жал из Бессарабии умирать в высшем свете. От старых родственников купцов, проклинавших банки и железные дороги, слышал, что в прежнее время по большаку непрерывной цепью тянулись из Украины в Москву гурты степного скота: впереди, бывало, шел, как вождь, козел с колокольчиком, за ним двигался гурт, а в конце хозяин-прасол ехал в тележке, завешенной ветками, с петухом,—когда вечером уснет петух, весь гурт останавливается и пасется на широкой дороге, когда же закричит петух, все опять двинется.

В то время сильно богатели купцы и строили себе на холмах в центре города каменные белые дома-сундуки, внизу рассыпались домишки слободских мещан. Около богатых купцов кормились, доставая работенку, слободские бедняки, кто был худ, кто посытее, самые худые умирали, самые сытые выживали и тоже становились купцами второй и даже первой гильдии. Монахи около купцов хорошо жили, мощи являлись, и один святой жизни монах этот город прасолов называл: Наш Сион.

Теперь непонятная своей шириной, при великом у крестьян малоземельи, дорога, покрытая травой-муравой, осталась в забвении и на траве, как на воде, не прочтешь следов прежней жизни. Скот с Украины пошел на Москву по железной дороге, а купцы занялись паровыми мельницами и переработкой украинского листа в махорку. Многим опять повезло. Особенно выдвинулся один на махорке, миллионером стал,—королем. На высоте счастья однако душа у него дала трещину, стал загуливать и потом отмаливать свои грехи в домашней часовенке с иконами и аналойчиком. Отгуляв и отмолившись, принимался опять за дела, зато сыновья гуляли в часовне и аналойчик весь битком наполняли пустыми бутылками.

Миша Алпатов шел по большаку, вспоминая старые рассказы и, что ни шаг, то больше и больше вырастало перед ним церковью, пока, наконец, всей красой своей просиял Наш Сион, город табачников. В слободе, когда он спустился к ручью, вонь от сырых кожевенных заводов была такая сильная, что он стал дышать через рот, но развешенные для просушки сырые лиловые кожи давали воображаемый вкус на язык, еще более противный, чем запах. А когда, наконец, поднявшись в гору, он решился дышать через нос, то сильный мятный аромат, как часто бывает с запахами, пробудил в нем желание вспомнить что-то очень знакомое, интересное.

Запах этот был из низкого каменного дома с железными решетками на окнах. Когда Миша с ним поровнялся и втянул в себя сильную струю мятного запаха, чтобы вспомнить пережитое в детстве, вдруг табак дал знать о себе и он, как и все прохожие, чихнул. Вслед затем за железными решетками в окна показались бледные лица.

— Хорошенький, подожди!

И пфу! ему прямо в лицо табачною пылью десятки ртов молодых табатерок.

Он хорошо помнит и этих табачных русалок, они так постоянно шутили с прохожими, им невозможно существовать одним табаком. Может быть, он и вспомнил бы желанное, если бы продолжал думать о мятном аромате и табатерках,—но тоже очень знакомый музыкальный звук кленовых коклюшек стал будить воспоминание с другой стороны: везде в окнах мещанских домиков сидели девушки, плели кружева, быстро перебирая пальцами звонкие палочки.

Что же это было такое?

В городе среди больших домов-сундуков с иконами на воротах и кое-где даже с лампадками интересное воспоминание стерлось. Он подошел к гостинице с постоялым двором, где всегда останавливалась его мать. У парадного стоял тот же самый прежний швейцар Дмитрий, известный любовью своей к соловьям и канарейкам, страшный человек для скупых, кто мало дает на чай, и любезнейший для богатых. Наверху на железной лестнице стояла молодая красивая женщина с грязной тряпкой в руке. Когда мельком Миша посмотрел на нее, то воспоминание опять шевельнулось в нем на мгновенье.

Дмитрий сказал, что номерок, в котором останавливалась Мария Ивановна, единственный здесь за пятьдесят копеек, был занят. Миша не мог себе и представить, чтобы ему взять номер в рубль или в два: так было заправлено, и так всегда бывает,—одного заправят с детства ходить в лакированных ботинках и ему это будет потом необходимостью, другой ходит в лаптях... главное тут в заправке. Этот клопный номерок с узкой железной кроватью и окнами на вонючий постоялый двор, переделанный из двух чуланов, был для помещиков из купцов, а дворяне, настоящие помещики, и кто много беднее Марии Ивановны Алпатовой, селились в номерах с бархатными диванами. Узнав, что номерок Марии Ивановны занят, Миша хотел было итти в другую гостиницу, но та женщина наверху сказала певучим голосом:

— Митя, будет брехаты!

И Дмитрий послушно, что-то пробормотав скверное про себя, сказал:

— Ну, идитя.

Наверху в номерке было уже темно и погано. В близкой церкви кончилась всенощная, загудели колокола, а внизу как будто сама земля хрипела всей силой майской ночи: ревела огромная, должно быть, не подымающая сама себя, раскормленная или рождающая свинья. Свечку бы надо, но мать никогда не брала в гостинице свечку в три дорога, это передалось Мише невозможностью спросить свечку в гостинице. Усталый, он сел на вонючее с выпирающими пружинами кресло возле окна, и, как только сел, вдруг все вспомнил...

Это было, когда Курымушка еще и не брал себе в ум, отчего рождаются дети, и в чем главная разница между мужчиной и женщиной. Однажды на гулянках Павел забрался отдохнуть под амбар, где мух было поменьше. Курымушка тоже залез туда и лег рядом с Павлом.

— Славно как ветерок продувает, — сказал Павел, — мух совсем нету, тут с бабой хорошо спать.

— С какой бабой?

— Мало ли их... да и с своей ничего: на чужом огороде своя же баба и то слаще.

— Слышу часто,—сказал Курымушка,—что спят с бабами, скажи мне, Паша, пожалуйста, для чего это?

— Известно для чего: дети рожаются.

— Ну? как же так рожаются?

Павел рассказал, отчего дети рожаются и для ясности показал кружок и палочку.

Очень интересно было узнать, но оставалось сомнение,—не выдумал ли это Павел вроде сказки.

Раз осенью мать взяла Курымушку в город, где начал учиться тогда в гимназии старший брат Коля. Там и остановились, в Колином пансионе. Вечером за круглым столом сидели большие гимназисты и чертили на бумаге кружки и палочки.

— Что это они делают?—шопотом спросил Курымушка брата.

— Теоремы доказывают,—ответил Коля.

— Те-о-ре-мы,—прошептал Курымушка,—те-о-ре-мы... Знаешь, Коля, мне сегодня Павел рассказывал удивительную те-о-ре-му, только, боюсь, не врет ли.

И перешептал все, что понял у Павла.

Коля на вид не улыбнулся, но у него только надулся ободок нижней веки. Это была тайная улыбка Коли; Курымушка в этот раз не придал ей значения.

— Вот какая те-о-ре-ма,—продолжал он,—ты это наверно уже знаешь, скажи мне, Коля, я тебе поверю.

— Да ты сам посмотри,—сказал Коля.

И показал ему в сторону. А там молоденькая девушка Аннушка плела кружева. Теперь коклюшки ее умолки, уснула перед пылающей печкой и вся горела сама, как жар-птица.

— Разве, правда, посмотреть?—сказал Курымушка.

— Непременно посмотри, это тебе будет самое верное доказательство теоремы.

Коля перешептал все гимназистам, все очень обрадовались, бросили книги и сказали Курымушке:

— Ну-ка, брат, докажи теорему! Можешь?

Смело ответил:

— Могу!

И выступил.

Отвязывает одну кленовую палочку, исследует, находит верным все, как говорил Павел, ставит туда один конец коклюшки, а по другому в доказательство теоремы—хлоп! ладонью...

Что же дурного он сделал?

Он хотел знать и служить обществу, только! А между тем это стало вдруг, как большое преступление. Аннушка вскрикнула на весь дом, глянула на него и бросилась вон из комнаты. После того вбежа-

ли мать и хозяйка пансиона, Настасья Васильевна. Увидали брошенные на полу коклюшки и кружева. А потом был страшный вопрос всем:

— Где же Аннушка?

Было похоже, как в другом страшном преступлении голос Судии спрашивал: Каин, Каин, где брат твой Авель?

Курымушка дрожал: а что если Аннушка от этого умерла!

— Аннушка?—закричала на весь дом Настасья Васильевна.

Вот и отлегло немного от сердца: Аннушка пришла, вся в слезах.

— Отвечай, Аннушка, прямо, — сказала строго Настасья Васильевна,—чего ты закричала?

Курымушка приготовился. Он сделает так же, как решил вести себя на Страшном суде. Он упадет на колени и сам все расскажет, не для того, может быть, чтобы вымолить себе прощение,—какое может быть тут прощение! а лучше он сам себя определит на казнь, чем сделают это другие с ним.

— Ну, отвечай же, Аннушка, чего ты дрожишь?

Курымушка совсем решился, и он сделает так, что все возьмет на себя, не скажет ни про Колю, ни про гимназистов. Он только скажет, что смотрел, как доказывают теоремы и сам захотел доказать свою. Он готов, он встает...

Но вдруг Аннушка отерла слезы и сказала:

— Я уснула возле печки, а он вдруг и выходит оттуда.

— Откуда выходит, кто?

— Из печки выходит, сам жаркий, глазища зеленые.

— Что ты мелешь, кто выходит из печки?

Аннушка запнулась, посмотрела искоса на Курымушку и сказала:

— Должно быть Анчутка.

На утро Курымушка встретился с Аннушкой в коридоре, таком тесном, что и не разойтись. Несмело он поднял глаза на Аннушку, она была такая же красненькая и множество стрелок играло в ее черных глазах. Курымушка осмелился и сказал:

— Ах, как страшно тебя испугал Анчутка.

Аннушка прыснула, схватила его, поцеловала.

— Ну, и шалун же ты, мой Анчутушка.

Это было одно из многих доказательств потом Курымушке, что не все преступления открываются: некоторые так и остаются навсегда при себе.

После, в гимназии, он не раз видел Аннушку за железной решеткой с табатерками, она первая с хохотом пфукала в него табачной пылью и одна там была за решеткой такая румяная и горячая, будто всегда была где-то возле пламенной печки. Казалось иногда, не будь железной решетки, Аннушка выскочила бы из окна, оторвала бы ранец у Миши из-за спины, раскидала бы книжки и распустила бы все его

тетрадки по листику. Раз привиделось гимназисту во сне, будто Аннушка совершенно так же говорит, как жар-птица, и одно перышко на груди ослабело, хочет упасть и он тянется к этому перышку. После этого сна Миша с новым неведомым ему до сих пор волнением хотел увидеть Аннушку, но почему-то в этот раз ее не было за решеткой, в другой раз тоже не было, Аннушка исчезла с фабрики. Но скоро Миша узнал из разговоров, что махорочный король взял ее с фабрики и поставил экономкой в своей гостинице. Бывало, идет Миша в гимназию, у гостиницы рысак стоит, прохожие говорят:

— Хозяин гостиницу проверяет.

Возвращается из гимназии через пять часов, рысак все стоит

— Вот ведь какой умный человек,—говорят в публике,—а нет того, чтобы рысака отпустить, весь город знает, чем хозяин занимается.

Скоро после того настал бурный год. Мишу выгнали из гимназии, он попал надолго в Сибирь и совершенно забыл про Аннушку.

— Так это она там была с тряпкой,—подумал он, вспомнив все про Аннушку,—конечно, она, какая красивая.

Очень сильно запахло клопами. Миша толкнул окно, и приглушенные стеклом звуки городского мая свободно ворвались во всей наготе и в какой-то непонятной гармонии, как будто эти подземные хрипящие звуки огромной свиньи необходимы были, чтобы наверху заливались колокола и чтобы пахло и сиренью из палисадника, и постоянной стеной, и селедочными головками, и баночками из-под консервов: в мае в городе всем пахнет.

Вдруг в замочной скважине мелькнул огонек и послышался шопот:

— Мишенька, можно к вам?

Алпатов встал, открыл дверь. Перед ним стояла прежняя Аннушка-жар, со всеми своими стрелками в больших черных глазах.

— Узнаете ли вы меня, Мишенька?

— Аннушка!—вскрикнул Алпатов.

В этот миг она что-то услышала, шепнула:

— Тише, миленький.

И замерла, как коза на утесе.

Вдруг поняла:

— Сам приехал!

Она передала Мише свечу, тарелку с котлетами и бросилась вниз по лестнице.

Окно так и осталось открытым. Грохот колес пролеток постепенно стих, и только изредка вздыхала свинья, замолкли и колокола, но зато свои золотые колокольчики звенели всю ночь в каком-то саду, где было много пахучих цветов и раскрывался еще один цвет, самый большой, самый ароматный и страшный.

## А к у ш е р ы

Какие чистые бывают цветы в лесу, о них ни у кого не остается сомненья и не бывает раздумья, сколько ни нюхай такой цветок, никогда не донюхаешься, как в сирени, до проклятого дна, откуда вдруг повеет каким-нибудь давно забытым постоялым двором и как будто всего обольет из поганой лоханки с огуречным рассолом и селедочными головками. Верно это потому, что сирень очень уж прижилась в городах возле мещанских домиков, а ландыш плохо приручается, и даже в лесах все норовит укрыться от глаза под росистым кустом. Но мало заготовлено ландышей на счастье людей и каждый год бросается жребий с загадом, кому достанутся ландыши новой весны.

Только один жребий выпал этой весной на всех Алпатовых и достался красивому и легкому душой Александру. Он запрягал жеребца, совершенно не думая о ландышах. Собрался ехать в губернию, доставать разрешение на срубку дубового леса. Дорога в город была сухая, пыль прибило маленьким дождиком. Саша разогнал Червончика так, что колесная мазь мигом сгорела, и в город, и потом на постоялый двор он влетел с таким визгом, будто не на подушке сидел, а на поросенке. Не явись этот крепкий утренний сон, Миша бы непременно посмотрел в окно, чтобы узнать, кто это ехал и жал поросенка. Но Миша крепко спал и не знал о Саше, и тот не знал, что Миша уже в городе и остановился в гостинице. Саша сам распряг коня, покрыл попоной, провел его по улице, потом засыпал в ясли овса, поставил Червончика и пошел в дальние лавки покупать колесную мазь.

Он был на одном конце Торговой, а его суженая Маня Отлетаева шла ему навстречу с другого конца. Они танцевали еще с четвертого класса гимназии и так у них все ладно шло, что всем казалось, это растут жених и невеста. Но случилось, когда Маня стала уже настоящей невестой, к Отлетаевым приехал гостить их близкий родственник драгун Бубенцов и Маня с голубым офицером два раза прошла по Торговой. По-настоящему и Саше бы надо итти в офицеры, но под влиянием Дунечки он вздумал поступить на медицинский. Ему, как медику, стало особенно обидно, что Маня разгуливает с офицером. С досады, не разобрав ничего, он принялся ухаживать за другой красавицей, только чтобы видела Маня. Потом совсем раззнакомился и не видал ее ровно два года. Теперь они встретились, взглянули друг на друга и... жребий был брошен и им достались ландыши этой весны.

В городском саду они выпили бутылку лимонаду. Маня узнала, что все это время разлуки Саша не переставал ее любить. Саша узнал о близком родстве женатого Бубенцова с Маней. В полчаса они все переговорили о любви и решили немедленно ехать к Отлетаевым в Братовку и оттуда к Алпатовым, чтобы объявить родителям и в то же лето обвенчаться. Так, покончив все, они побежали в дальние лавки

покупать колесную мазь, а потом пришли на постоянный двор смазывать дрожки. Весело было им вертеть колесо и разворачивать мазь по оси, дружно смеялись чему-то. Миша услышал смех у себя в номере, узнал, и побежал вниз. Проходя мимо парадного по улице на постоянный двор, он заметил себе для чего-то, что рысака махорочного короля уже не было...

Миша давно знал Маню и Сашину любовь, не удивился, что они сошлись, только стало неприятно почему-то думать про Аннушку. Но его все-таки очень тянуло посмотреть вверх на свое окно и, когда он повернул туда голову, то скоро отвел глаза: из его окна вниз глядела Аннушка.

Потом Саша просил сказать все о себе матери, попросить съездить в губернию Серезу и, вытянув руки вперед, как наездники, пустил Червончика. Маня сидела на дрожках сзади него и держалась руками за Сашу так свободно, будто век с ним жила.

Миша ни за что не хотел встречаться с Аннушкой и, хотя нужно бы зайти к себе, все-таки не пошел в номер: противно было туда заходить.

По пути к нотариусу была почта. Вздумалось зайти взять сельскую корреспонденцию и, когда он подошел к решетке, за которой, как в клетке, сидел молодой человек, вдруг тот страшно обрадовался, назвал его „Мишка“ и вышел из клетки.

— Ну, как живешь? — спросил он, будто встретил родного брата.

Миша, не узнав чиновника, в первый момент не признался, ему показалось это обидным для неизвестного, встречающего его, как родного. „Авось, — подумал, — из разговора определится“ — и подал, дружески улыбаясь, руку. Они стали возле окна.

— Ну, рассказывай, рассказывай, — говорил неизвестный, — как живешь?

— Да ничего себе, живу, — ответил Алпатов, дружески улыбаясь совершенно неизвестному ему человеку.

— Ты, я слышал, в Сибири кончил гимназию, а я вот с тех пор служу на почте, ты ведь этого не знал: после тебя, тоже за озорство, выгнали и меня, а потом Голофеева.

— Чорт знает что! — воскликнул Алпатов, вдруг узнавая товарища, — да ведь ты Малофеев!

— Ну, вот, — обрадовался Малофеев, — ты не узнал меня, то-то я смотрю, ты какой-то связанный. Ведь ты у нас тогда прямо революцию в гимназии начал, и знаешь, я тебе скажу: так это и до сих пор продолжается. Голофеев у нотариуса служит, а линию свою ведет крепко. Несговоров, студент, выслан сюда под надзор.

— Несговоров здесь? — воскликнул Миша, — неужели здесь Несговоров?

— Он всему городу уроки дает, смотри, да вот он бежит с книжками.

Несговоров,—тот самый, у которого Алпатов тогда в гимназии выучился петь марсельезу, с кем он еще в четвертом классе додумался бога отвергнуть, кто дал ему Бокля прочесть и поверить в закон развития жизни, да вообще в закон.

Алпатов наскоро простился с Малофеевым и побежал навстречу Несговорову.

Он был совершенно такой же: неправильное лицо с шишковатым лбом и в строгих серых глазах, как из талантливой и добросоветной ученой книги, стыдась, проглядывает теория—родная сестра сказки в искусстве.

И прежнюю сказочку, вечно и стыдливо мелькавшую в зеленых, каких-то лесных глазах Алпатова, Несговоров узнал с радостью, и некрасивое лицо его стало прекрасным.

— Курымушка, бедный мой,—сказал Ефим Несговоров.

— Вот еще бедный,—обиделся Алпатов,—я отлично кончил гимназию и думаю сделаться инженером.

Ефим засмеялся.

— Да я разве об этом, чужак, ты остался совершенно таким же! я вспоминаю, как тебя выгнали, ведь это не проходит так просто, кончил ты или не кончил? Вот я кончил тоже и меня лишили золотой медали только за то, что я вольнодумец—пустяки! и то скребет, но если бы меня, как тебя, я бы никогда не простил... Что это у тебя, новая газета? дай-ка...

Несговоров в одно мгновенье просмотрел „Русские Ведомости“, нашел что-то свое и очень обрадовался.

— Вот,—сказал он,—молодцы социал-демократы,—опять единогласно голосовали против ассигновки на флот, все Бебель разделяет и Либкнехт.

Ни Бебеля, ни Либкнехта Миша Алпатов не знал и совершенно не мог понять, как можно так живо обрадоваться какому-то голосованию против военной ассигновки и притом еще где-то в Германии. Он вопросительно посмотрел на Несговорова. Тот сразу понял его и хотел уже что-то сказать, но вспомнил свой урок и заторопился. Он обещается освободиться через два часа, а пока Миша подождет его, может быть, в городском саду. Он юркнул было уже в калитку одного дома, но вдруг вернулся и спросил:

— Ты, Миша, Бельтова, наверно, еще не читал?

— Что же я мог нового читать в Сибири?—ответил Миша,—я все там старое читал и учился.

— На вот тебе книгу, почитай-ка пока в ожидании меня. Я скажу тебе по секрету, ты не болтай: эту книгу Плеханов писал.

Имя Плеханова Миша не раз слышал от Дунечки и понимал его, как священное народническое имя, вроде Глеба Успенского.

— Плеханов народник?—спросил Миша.

— Что ты,—воскликнул Несговоров,—значит, ты совершенно не в курсе движения. Плеханов, конечно, марксист.



Алпатов смутился. Но Несговоров был ему все равно как родной и потому он сказал:

— Ты, Ефим, не смейся надо мной, извини меня и пожалуйста всему научи, как и в наше гимназическое время, я тебе скажу откровенно: я не знаю, что такое марксист.

— Удивительно, как ты при твоих способностях мог так отстать, ведь я помню, ты еще в четвертом классе Бокля прочел.

— Нет, я ничего не слышал о Марксе и только в прочитанной мной недавно статье это имя много раз непонятно мне повторялось. Меня очень заинтересовали в этой статье какие-то молодые люди, последователи экономического материализма.

— Вот это и есть,—сказал Несговоров,—ты все это найдешь у Бельтова, удивишься, обрадуешься, я твою горячую натуру хорошо знаю, ты непременно будешь с нами работать.

Несговоров уходит на урок. Алпатов направляется к городскому саду и совершенно забывает о нотариусе. В саду он скоро находит ту самую лавочку, где сговаривался бежать с гимназистами в Азию открывать забытые страны. Тут же он когда-то решил себе открыть тайну жизни. Все тут было на этой лавочке. И опять на ней же он садится теперь и принимается читать Бельтова: „К развитию монистического взгляда на историю“.

Алпатов мог очень скоро читать всякую книгу, и самую трудную, по своему особенному способу.

На первых же страницах самой даже разученнейшей книги, если только она не была совершенно бездарна, он находил хвостик, за который схватывался и вертел страницы иногда подряд, иногда через две, через десять, то бросался к концу, то возвращался к началу и подробно читал от строки к строке, как бы в поисках упущенного хвостика.

А то ему иногда казалось, читая ученую книгу, что он на воздушном шаре под небо летит и, чтобы все выше лететь и не спускаться, надо скидывать балласт. И так он прокидывает тяжелые неясные страницы, перехватывая мысль, как мелькающую в лесных просветах птицу. И вот когда, наконец, книга прочитана, хвостик больше не нужен, и читатель смотрит в лицо автору и узнает его, как знакомое или родное.

— Ты много прочитал,—сказал над головой его Несговоров.—Ну, как?

— Страшно быстро все движется в книге,—сказал Алпатов,—и удивительно надстраивается, только зачем взят экономический базис, почему не просто жизнь?

— А что такое жизнь?

— Какая-то сила.

— Ну вот ты и пошел в метафизику. Ты, Миша, природный шалун, не обижайся, я говорю это в высшем смысле: метафизик, поэт, художник, есть у тебя что-то в этом роде.

Ефим снял свою студенческую фуражку и отер пот с лица.

— Ты очень устал, Ефим?

— Я не могу быть усталым, я должен работать весь день из-за куска хлеба: дома я кормилец. И так, ведь, живет огромное большинство людей, вот это и есть экономический базис.

— Да, я понимаю, Ефим, я постоянно даже чувствую в себе вину, как шалун, но ведь есть же шалуны соответствующие?

— Ты хочешь сказать: классовая интеллигенция?

— Ну да, что-то вроде этого. Я думаю о себе, что если бы я мог пустить себя куда-то в свою волю, так я не то, что к звездам, а и за звезды бы улетел, но что-то меня удерживает и я хочу тоже всему подвергнуться и пойти изнутри. Вот я знаю, например, что я к чему-то страшно способен—к чему? я не определил. Но я нарочно хочу заниматься ненавистной для меня математикой и сделаюсь непременно инженером.

— Это очень легко,—ответил Несговоров,—будешь служить буржуазии, тебе отлично будут платить, если ты будешь даже самым плохеньким инженером.

— Буржуазии! почему же непременно буржуазии, я буду служить науке.

— Инженерные науки целиком находятся в руках господствующих классов, и ты будешь делать именно то, что тебе велят капиталисты. Ты хочешь быть механиком?

— Нет, химиком: там все-таки поменьше математики.

— Ну, вот, будешь ты инженером-химиком, посадят тебя на пороховой завод и заставят готовить порох для защиты буржуазии.

— Как, одной буржуазии, а народ?

— На-род... брось ты это, Миша, подумай: из кого состоит народ? Я удивляюсь, как ты не задумался над этим в Сибири: там много ссыльных.

— Там была одна организация у нас, называлась школа народных вождей. Я раньше думал, что они меня не принимают к себе, как родственника очень богатого человека в Сибири, но теперь мне понятно,—я сам не хотел. Это остатки народничества. Через Бельтова я теперь понимаю: мне не субъективно надо войти в организацию, а по закону... Ты понимаешь меня?

— Понимаю: ты ищешь самоопределения в классовом сознании.

— Да, да, чтобы определяло не „я—произвол“, а „я—необходимость“. Например, мне очень нравится, когда Толстой говорит о крестьянах, но, когда он сам начинает пахать—это противно. Тоже вот и моя Дунечка отдала жизнь свою за народ. Как бы это сделать, Ефим, чтобы не отдавать свою жизнь ни за кого, а в то же время оставаться в законе и необходимости? Скажи, разве инженер не может служить рабочему классу?

— Я думаю,—ответил Ефим,—мы не доживем с тобой до того, чтобы служить рабочему классу специалистами. Оставим это спокой-

стве. Наши дни сочтены. Для колебаний нет времени, туда, или сюда. Выбери... не хочешь,—умирай обывателем постепенно.

— Не хочу быть ни обывателем, ни народником.

— Иди с нами.

— С тобой готов, Ефим. Конечно, еще немного подумаю. Скажи, что же делать?

— Ничего особенного мы с тобой сделать не можем против экономической необходимости со стороны, но изнутри много: как разрешается женщина ребенком, так и старая жизнь разрешится новой. А мы призваны облегчить роды, мы акушеры. Ты знаешь, мне очень понравилась эта ваша сибирская школа народных вождей, только нам бы надо устроить школу не народных вождей, а пролетарских.

— Устрой, Ефим, устрой пожалуйста, я первый вступлю. Скажи, что же мне надо прочесть?

— Маркса, конечно, Энгельса, „Эрфуртскую программу“, Бебеля, Меринга, Каутского, все это у нас есть, все я тебе дам.

— А еще нельзя ли, чтобы, читая, можно было бы что-нибудь делать, не в смысле Чернышевского „Что делать?“ говорю, а просто делать, как ты уроки даешь, и этим живешь, так и я желаю просто работать.

— Мы сейчас все переводим эти книги, о которых я тебе говорил, с немецкого на русский. Хочешь переводить Бебеля „Женщина и Социализм“? Ты не слыхал и об этой книге? Тебе работа особенно будет интересна, потому что, я помню, ты мне тогда много говорил о своей Марье Моревне, ты был с колыбели романтиком и тебе тут будет корректив действительности: женщина в прошлом, в настоящем и в будущем.

— В будущем!—воскликнул Алпатов,—как же сказано о женщине в будущем?

— Это вытекает само собой из нашей программы, ты читатель скорый и угадчивый, ты сразу поймешь.

— И знаешь,—перебил Алпатов,—надо еще что-то делать совсем практическое.

— Совсем практическое тоже есть. Мы сейчас обрабатываем третий элемент, ты, вероятно, слышал, что это такое: не выборные земские деятели, а служащие по найму разночинцы, статистики, ветеринары, агрономы, учительницы. Мы их постепенно забираем от народных и через них влияем на председателя Александра Раменова. Ты его знаешь, образование гвардейское, а претензии Дон-Кихота. Половину своего времени совершенно нормальный человек и, когда нормальный,—кулак, а когда в хандре, то раскаивается и становится страшно искренним и готовым на всякую революцию в разговорах. Руки заложит назад по-английски, но пальцам не терпится, заберет пальцами полы сюртука в комочек и мнет, а зад мелькает открытый и знаешь, такой пропорциональный зад, такой приличный! весь проникаешься убеждением, что не в этом у него дело, а там высоко, высоко в больших горизонтальных усах и маленьких добрых глазах. Так он мель-

кает и повторяет: „Россия загадочная страна!“ А мы свое мотаем на его ус и так он у нас почти что марксист, конечно, когда бывает в хандре. Сейчас он занят валютой, бормочет о биметаллизме. Мы ему подсунули социал-демократа Шиппеля. Еще есть у нас член управы из купцов, лесопромышленник, оголяет уезд до конца, а нам сочувствует, деньги дает и называет нас передовой авангард. Но работа с этими людьми требует точных знаний в земском деле и ценим ее мы больше, как средство забирать третий элемент от народников. Ты этим после займешься, если захочешь, а сейчас ты прочитай все и переводы Бебеля „Женщину“.

— Давай же книгу,—сказал Алпатов.

— Не спеши, я сейчас опять бегу на урок, а ты пока сходи к нотариусу, там увидишь Голофеева, он тоже наш.

Несговоров уходит на урок. Алпатов, совершенно оглушенный новым, каким-то необычайно заманчивым и в то же время таким ясным миром, садится на лавочку подумать... Так удивительно укладываются в эти идеи его желания, мечты. Но вот как же это он не спросил Ефима, когда тот обрадовался, что германские социал-демократы голосят против расходов на флот и на армию. А если это необходимо для защиты государства, если к слабым немцам без войска и флота явятся их злейшие враги французы и уничтожат Германию совсем и с Бебелем, и с Либкнехтом и с социал-демократией? И если перевести тоже на Россию, если опять к нам придет какой-нибудь новый Наполеон и у нас не будет оружия?

Он взял газету, пересмотрел ее, нашел телеграмму из Берлина и оказалось действительно так: немцы сами же и голосовали против самих себя... Как же так?

Однако самый факт, что он уже может находить в газете что-то свое, что там где-то у нотариуса сидит Голофеев, который тоже наш, наполнил его радостью.

— Так или иначе разрешаются все эти трудные вопросы,—сказал он сам себе,—но мне единственный выход из тупика через организацию школы пролетарских вождей.

### Пламенный прозелит

Афанасий Голофеев, письмоводитель нотариуса, пришел из конторы кожевенного завода, другой своей службы, и потом после нотариуса у него была третья служба на железной дороге. У него очень болела голова и оттого глаза были сердитые, хотя лицом он был совершенно похож на доброго учителя в известной картине Богданова-Бельского. Он был в черной косоворотке, опоясанной узким ремешком.

— Ты не узнаешь меня, Афанасий?—спросил Алпатов.

— Как же, узнаю,—сердито отвечал Голофеев,— что тебе надо от меня? я очень занят.

— У меня есть дело к нотариусу, но это пустяки, главное, меня прислал к тебе Несговоров, он мне сказал, что ты наш.

У Голофеева глаза стали совершенно такие же ясные и добрые, как на картине Богданова-Бельского.

Он молча показал пальцем на дверь нотариуса и шопотом прибавил:

— После, в передней.

Когда Миша, переговорив с нотариусом, вышел через другую дверь в переднюю, Голофеев сидел на подоконнике и покуривал в ожидании.

— Ты уже связан с нами?—спросил он.

— Я взял работу: буду переводить Бебеля „Женщина и Социализм“.

— Да, это очень нужно таким, как я: очень хочу прочесть и не знаю немецкого. Тебе эту книгу Данилыч дал?

Алпатов схватил, что слово Данилыч может быть лишнее было у Голофеева и сказалось потому, что у него болела голова. Алпатов сделал вид, что не расслышал. Голофеев спохватился и спросил:

— Бебеля ты где достал?

— Какой ты чудак, Афанасий,—сказал Алпатов,—как будто не знаешь конспиративной азбуки—ведь это совсем неважно, где достал я Бебеля.

— Вижу, ты не новичек. Это правда. У меня ужасно голова болит. А где ты по-немецки научился?

— Сам научился, читал книги со словарем и привык.

— И по-французски можешь?

— Тоже научился по Туссену, самоучителю. С тех пор, как меня выгнали из гимназии, я все чему-нибудь учусь сам, как будто догоню и не могу догнать, и все мне кажется, что я невежда.

— Вот и я тоже такой,—с живостью сказал Голофеев.—Только мне еще хуже, у меня три службы, я ночью учусь и оттого должно быть постоянно голова болит.

Нотариус позвал письмоводителя. Голофеев протиснулся... Алпатову стало, будто он себе еще брата нашел.

„И сколько их еще будет здесь, и в другой город приеду—там, и за границей, наверно, то же самое... А кто это Данилыч?“

Алпатов шел по улице, на которой не было никаких памятников пережитого людьми и настоящее, такое сонное, ничем не намекало на будущее и потому он витал, не обращая никакого внимания на жизнь возле себя. Но какие-то глаза нездешнего мира промелькнули, он их заметил и вслед затем оглянулся... Глаза смотрели на него большие, вдумчивые на больном зеленом лице из-под козырька зеленой фуражки студента Петровской Академии.

Алпатов уже не удивлялся встречам, ведь это было в городе, где он когда-то учился и где выросли его товарищи: им некуда деться, все тут. Он сразу узнал Жукова.

— Ты нездоров?—спросил он.

— У меня чахотка,—ответил Жуков,—я скоро умру.

— Тебе это кажется только.

— Нет, это верно. Я спешу кое-что сделать. Музей устраиваю.

Зайдем посмотреть.

Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату. Одна девушка с круглым лицом, румяная, как помидор, сидела за микроскопом. Другие разбирали гербарий, третьи насаживали жуков и бабочек на булавки. Помидорка была самая молоденькая, другие чем старше, тем суше, как будто жили и сохли от жизни.

— Это все учительницы,—сказал Жуков,—мои ученицы. Я хочу разбудить в них интерес к родине. Наш край совершенно неизвестная страна. Новая Гвинея больше исследована, чем наш уезд. Вот мальчиком ты хотел убежать в Азию открывать забытые страны, тебе бы надо было всего несколько верст проехать на Галичью Горку и если бы у тебя были знания, ты мог бы открыть на ней альпийскую растительность. Давай посмотрим в микроскоп.

Они подошли к румяной девушке. И она отрекомендовалась:

— Салопова.

Алпатов смотрел в микроскоп, потом гербарий, жуков, уродов в спирту, но в музее все было сухое, учительницы многие тоже уже совершенно засохли и сами годились в музей.

— Все это я натащил сюда всего за год моей ссылки: я очень спешу,—сказал Жуков.

— Ты выслан вместе с Несговоровым?—спросил Алпатов.

— Пришлось вместе, но мы по разным делам, он марксист.

Миша догадался:

„Значит, это народники“.

— А ты читал Бельтова?—спросил Алпатов.

— Злая книга,—ответил Жуков,—и ужасна своими заблуждениями в оценке личного. Творческая личность стоит не только в основе истории, но и у животных, и у растений, нет ни одного листа на дереве, чтобы складывался с другим. Надо быть только очень внимательным, чтобы разглядеть это творчество. В школе нас не учили этому родственному вниманию, и вот отчего являются такие далекие планы: открывать какую-то забытую страну. Она тут возле нас, но чтобы видеть ее, надо уметь везде и всюду выделять творческую личность. А Бельтов эту личность стирает, как пыльцу с бабочкина крыла, и устанавливает какой-то безличный, бескрылый закон.

Алпатов, услышав о родственном внимании, вспомнил в себе, что порывы радости и любви всегда у него бывали при внимательном разглядывании чего-нибудь и готов был отдаться словам Жукова, но поперек этому стала какая-то старинная обида, боль, злость. И, когда Жуков вдруг напал на Бельтова, ему захотелось бороться.

— По-моему,—сказал он,—с этой теорией творческой личности можно себе историю представить, как угодно, и как у Иловайского:

борьба добрых и злых индивидуальностей. Теория субъективистов совершенно несостоятельна.

Услыхав эти слова, Салопова оторвалась от микроскопа и с вызовом сказала:

— Значит, вы марксист?

— А что же из этого, если и марксист,—ответил Алпатов,—я ищу закона в истории, а не борьбы духов, понимаете: за-ко-на.

Миша говорил и дивился себе, как будто он спускал с крючка в себе самом совершенно нового человека и тот говорил отдельным голосом.

Одна учительница, длинная, сухая, с бородавкой на щеке, глаза мутные на выкате, вдруг бросила разглядывать на стене диаграмму, быстро подошла к Алпатову и представилась:

— Экземплярова.

— Вы ищете социологического закона?—сказала она спокойно и наставительно, как старшая,—а разве формула прогресса и роли личности в нем недостаточно вам говорят о законе? Вы, ведь, конечно, знаете эту социологическую формулу Михайловского?

Миша не имел понятия о формуле Михайловского, но тому его новому, боевому человеку невозможно было сказать „не знаю“ и отдаться в руки врагов. Он ответил на счастье:

— В этой формуле слишком много места отведено личности и очень мало закону. Мы не можем противопоставить себя силе экономической необходимости.

— Значит, по-вашему нам остается только сидеть, сложа руки?

— Нет,—сказал в Мише новый человек,—история, как беременная женщина, несет в себе новую жизнь, мы призваны облегчить эти роды, мы акушеры.

Салопова вспыхнула, стала совсем похожа на помидорку и ответила:

— Вы пятиалтынные, а не акушеры, вас чеканят по одной форме и все вы говорите одними словами по Марксу.

Новый человек в Мише тоже рассердился.

— А вы говорите по Михайловскому и сушите цветы, зачем вы их сушите? Любовались бы их живыми личностями. Сушите растения, жуков, бабочек и сами вместе с ними засыхаете все...

Это было уж и неловко. Все замолчали. Но стенные часы ударили, выговаривая: „что правда, то правда“.

— Мне надо спешить,—сказал Алпатов, подавая Жукову руку.

А Жуков смотрел на него глазами, полными любви и участия. Ему говорить было нечего. Спор ушел куда-то совсем не в его сторону.

За спиной у себя Миша услышал голос Салоповой:

— Какой пламенный прозелит!

Но сам Миша чувствовал себя первый раз в жизни, как победитель и дивился: раньше думал о себе, что совсем неспособен был

к спорам, а тут вдруг сразу взялось откуда-то и как будто совсем из ничего.

Смутно чувствовал он себя виноватым в чем-то перед Жуковым и от этого немного где-то щемило. Но он и это погасил в себе думой: „если у меня взялось из ничего, то, наверно, тоже и у них, я не знаю формулы Михайловского, а они, наверно, не понимают Бельтова. Куда им!“

### К л а в е с и н ы

Давно, еще в четвертом классе гимназии, когда Мише Алпатову с помощью Несговорова приходилось расставаться с детской верой в бога, один только раз Миша, провожая Ефима, дошел до самой калитки его дома в Ямской слободе на берегу реки. С тех далеких времен у Миши осталось воспоминание, что Ефиму почему-то нельзя было позвать приятеля к себе в дом, а сестры его, гимназистки, выглядывали из-за цветов. Приходилось не раз видеть Ефима на улице с одной из его сестер, но, когда подходил к ним, сестра Несговорова отступала и сторонкой шла сама по себе. Раз, прощаясь с Ефимом, он вздумал и ей поклониться, но она, вспыхнув, отвернулась и на поклон не ответила. Другой раз он ее встретил одну лицом к лицу и кланяться не стал, но хорошо заметил, что она поклона ожидала и потому опять вспыхнула. С этого времени Миша про себя стал звать эту высокую тонкую девочку Спичкой.

„И как это удивительно, — думал Миша теперь, разыскивая в слободе дом Несговоровых, — что пропадет совсем из памяти и вдруг зачем-то встает опять и с такой ясностью?“

Но где был этот дом, деревянный, покошенный и в два этажа, он никак не мог вспомнить, а путаница переулков все увеличивалась. Это была каша лацуг, серых заборов, заваленок, лавочек, а иногда вдруг ни с того ни с сего, как видение, показывалась и радовала цветущая яблоня. Далеко внизу, у самой воды, кто-то пел прекрасным тенором Ваньку-Ключника. Алпатов спросил у одного старика на заваленке про дом Несговоровых и он сразу его указал: дом был тут рядом.

— А кто это там поет у реки?

— Бурыга, — ответил старик.

— Что за Бурыга?

— Ну известно кто: вор Бурыга, он и поет, больше тут петь некому, в нашей жизни только вор и поет.

В калитке дома Несговоровых, как обыкновенно, висела веревочка с узелком. Как только Миша потянул за веревочку, калитка сама побежала во двор. Тогда перед глазами Миши все побежало: пожилая женщина, прикрыв ладонью грудь, мальчик, две девушки, а третья в черной юбке и белой кофте на выпуск уходила, делая вид, что не спешит. На дворе лежали старинные клавесины с отвинченными ножками. Все, видимо, и хлопотали около этих клавесин и, когда калитка открылась, вдруг разбежались.



Однако та стройная девушка свой шаг все сбавляла, видно, ей противно уходить и она с собой борется. На крыльце она останавливается, обертывается, высокая, гордая и будто собирается в случае чего броситься и укусить. Миша сразу узнал в ней Спичку, но сделал вид—не узнал, и спросил, это ли дом Несговорových? Недружелюбно ответила девушка, что Ефима нет дома.

— Он скоро придет,—сказал Алпатов,—можно мне у вас его подождать?

— Как хотите.

Но не на улице же ему ждать.

— Мне нужно к нему по делу.

— По какому делу?

Миша почти рассердился. И он теперь смелый. Не за пустяками, как обыватели, идет он к Ефиму.

— По какому делу?—говорит,—по кон-спи-ра-тив-но-му.

Спичка вспыхнула и, опустив глаза, сказала:

— Идите.

В это самое время через незакрытую калитку входит Ефим, глядит на клавишины, на Мишу, на сестру и в глазах его смущение и неудовольствие, как будто Миша не должен был проникать сюда. Но это быстро прошло. В маленькой комнате с покривленным полом и множеством книг Ефим передает Алпатову и „Капитал“ Маркса, первый том, и „Эрфуртскую программу“, и Бебеля, и Меринга, и Каутского. Немецкие книги были в обложках с французскими титулами муниципальных отчетов. Ефим рассказал, что такие книги можно выписывать от Жерара из Парижа и даже наложенным платежом, только в письме надо упомянуть условные слова: — „прислать в сброшюрованном виде“.

И еще много всего конспиративного рассказал Ефим, не догадываясь, что каждое слово его ложится в Мишину душу камнем нового храма, в котором долго он будет молиться по-новому. Когда они потом вышли на двор, Миша спросил, глядя на разобранные клавишины:

— Ведь эта сердитая девушка, с которой я разговаривал, твоя сестра? Да, я помню ее, почему же она такая сердитая?

Ефим опять насторожился,—поморщился, как будто Миша не должен был спрашивать про сестру и, кажется, если бы он позволил себе ответить, то сказалось бы: „оставь, пожалуйста, мою семью в покое, это тебя не касается“. Миша быстро понял и, чтобы предупредить может быть резкий ответ, сказал шутливо:

— В этих клавишинах, мне кажется, скрывается какая-то мне враждебная сила.

Ефим сконфузился и вдруг, как бы смахнув с себя неловкость, сказал:

— Я купил это сестрам вместо рояли у одного купца за четырнадцать рублей... у нас это маленькое семейное событие: мы стали

вроде как бы порядочные люди, а в щелки забора всюду глаза и разговор. Мы этого глазу тут боимся, как дикари. Я не уверен, что сейчас в нас не полетит камень. Они называются мещане, но по существу своему это люмпенпролетариат. Тут в каждой лачуге злоба шипит. У нас тут всего только два-три человека сознательных.

Совсем недалеко, где-то в сплетении заборов, откашлянулась пропитая и промахренная женская глотка. Услыхав это, Миша сказал:

— Вот Чортова Ступа откашлянулась.

Ефим даже вздрогнул.

— Как же успел ты узнать про Чортову Ступу?

— А вот слышишь, это вор Бурьга поет. Но я тебя еще больше удивлю сейчас: скажи мне, Ефим, кто такой Данилыч?

Ефим внимательно и странно посмотрел на него.

— Не удивляйся же, Ефим, это моя особенность, я давно это заметил, что когда попадаю в новое место, то вдруг все без всяких усилий с своей стороны узнаю, как-то по звукам, по запахам. Вот запахло пряниками, это значит табатерки идут с фабрики. А там коровы ревут, значит стадо вступает в город, я люблю, что коровы сами расходятся по своим улицам и когда, наконец, добредет какая-нибудь к своему дому и нет хозяйки, то ревет она не простым коровьим, а каким-то музыкальным голосом и, если хозяйка это услышит, то выходит из дому и разговаривает с коровой тоже особенным музыкальным голосом. Почему ты, Ефим, все злобу видишь вокруг? Есть везде какая-то музыка любви...

— Да,—сказал Ефим,—недаром я тебя шалуном назвал, только у нас тут в Ямской слободе мало коров, хорошо еще, если кто козу имеет, да и ту мальчишки камнями забивают, тут, я тебе скажу, такая музыка... Но все-таки, скажи мне, как же ты узнал про Данилыча?

— Это мне Голофеев нечаянно проговорился, только ты не смущай его. Ты мне скажешь?

— Нет,—ответил Ефим,—не обижайся только: ты должен сам все узнать на деле, болтать не будем. И потом тут надо больше догадываться, вот как ты по звукам... Понимаешь?

Алпатов мотнул головой. Он теперь понимал хорошо, почему на него рассердилась та гордая девушка: за то, что из-за него все бежали, и что она сама пробовала—за это, и что ей пришлось остановиться и обернуться, а кофта была выпущена и ворот пришлось рукой придерживать: пуговка-то, верно, оторвалась.

## Ч а н

Из всего огромного стада на большую Торговую улицу вышла только одна рыжая корова и далеко пахла парным молоком. Когда Алпатов подошел к гостинице, корова тоже остановилась здесь и тихо, музыкально подала голос. Вышла Аннушка и, увидев Мишу, ужасно обрадовалась. Она ему сказала, что брат его Николай давно

уж дожидается его в номере и, „дождавшись“, выпил целую бутылку водки и еще спросил половинку. Аннушка потянулась, похвалила погоду и зачем-то сказала, что спать она будет в палисаднике: очень там будто бы хорошо пахнет сиренью. Аннушка не говорила, а пела и метала все время стрелками своих вечно играющих глаз, а корове потом сказала холодно:

— Ну, старуха, иди.

Мишу смугило, что Коля сидит в номере и дожидается его за бутылкой, оттого он мало обратил и внимания на Аннушку. Он хотел бы сейчас на всю ночь погрузиться в чтение,—не чтение, а полет в новый мир, начало которого он видел только в намеках этого необыкновенного дня. И вот Коля, как неумолимое явление старого мира с его доморощенной философией, не обязывающей ни к какому делу и невозможность отвязаться от него из-за жалости: он такой одинокий и любящий.

В номере Коля курил, не открывая окна. На столе воняла се-ледка, окурки стояли торчком. Но и виду нельзя было показать, что неприятно и к чему-то идешь другому, к своему. Коля, страшно обидчивый, может вдруг встать и уйти, а это уж никак нельзя допустить. Миша не только не показал виду, но даже принудил себя выпить рюмку водки, другую. Чтобы предупредить Колину философию, он задумал было кое-что рассказать ему о новом движении среди молодежи и так хоть на немного обороняться. Но Коля раньше этого успел спросить:

— А ты узнал Аннушку?

Это было сигналом к неизбежному длинному и трудному разговору.

Как приговоренный, ответил Миша:

— Сначала не узнал, а потом как вспомнил, то сразу стало, будто и времени с тех пор не было.

— И теорему вспомнил?—спросил Николай.

— Все вспомнил и очень удивляюсь, почему от этой глупости у меня осталось что-то хорошее, верно оттого, что Аннушка тогда меня не выдала.

— Так ли,—улыбнулся Николай толстыми веками,—ты лучше мне вот что скажи: доказал ли ты себе по-настоящему теорему? Мне почему-то кажется, что ты еще не доказал.

Миша увернулся от вопроса, вспомнив о Саше, и рассказал все, как он встретился с Маней Отлетаевой и умчался с ней на Червончике.

— Саша счастливый у нас,—сказал Николай,—маме, наверно, это очень понравится, она всегда говорила, что лучшая жена из среднего дворянства и ничего, если поповна. Но ведь не для поповны же ты берегешь себя и книжки читаешь и выдумываешь себе разные разности? Ты мне можешь не отвечать на мой вопрос, но скажи вообще, как ты представляешь себе решение теоремы?

— А ты как?

— Я? Очень просто: по-кобелиному.

Николай пьяно захохотал, наслаждаясь своей радикальной постановкой вопроса.

— Для чего ты спрашиваешь меня,—сказал Миша,—если тебе это кажется так просто, и зачем для этого надо тебе так много выпить?

— Вот это вопрос, так вопрос!—обрадовался Николай.—Но я тебе отвечу: затем нужно выпить, чтобы лица не было видно, лица ее пугает трезвого.

— Ай!

— Что с тобой?

— Вот как это верно.

— Верно? я рад, что ты меня понимаешь. Знаешь, когда я смотрю на порядочную женщину, конечно, если она не урод, то мне стыдно бывает и страшно: „а вдруг она по моим глазам догадается, чего я хочу от нее“. Потому ты заметил? я никогда на них не смотрю и молчу, я даже представить себе не могу, как можно в этом смысле мечтать о женщине образованной: меня они или отталкивают или пугают. Но тоже и на улице страшно, когда при свете фонаря покажется ее лицо.

Миша покраснел и робко спросил:

— А разве нельзя в темноте, чтобы в совершенной темноте?

— Ну, вот я не ошибся, вижу и у тебя сидит этот дьявол, только я не понимаю, откуда же у тебя смелость берется с ними любезничать. Вот как! ты совершенную темноту, значит, понимаешь? Давай-ка с тобой начнем общество безликого удовлетворения.

— Коля,—с гневом сказал Михаил,—оставь этот разговор, делай просто, что тебе надо... ты накурил тут ужасно.

Он толкнул окно.

Тогда звуки и запахи городского мая ворвались в угрюмую комнату, как пар из огромного чана, где варилось для всех любимое блюдо, но Мише чудилось в этом запахе сирени, смешанном с запахом свиного навоза, что блюдо это отравлено...

Николай подошел к окну. Из палисадника послышался певучий голос:

— Покойной ночи, теплень-то какая!

Из окна соседнего номера ответил мужской голос:

— Милая рыбка, клюнь на мой червячок.

— Я не иду на червей,—ответила Рыбка.

— Не на червей, так на зеленого жука.

— И на зеленого не иду.

— А на золотого?

— И на золотого не иду, я иду на голый крючок, только настоящий стальной, чтобы не мялся и не ломался.

Тогда и Николай вдруг осмелился:

— Аннушка, покойной ночи.

Голос из чана пропел:

— Ах, Мишенька, теплень-то какая, и сирень как пахнет отлично. Николай обернулся в комнату и захохотал.

— Видишь,—сказал он,—тебя она предпочитает, я где-то читал, что женщины всегда возвращаются к своим первым любовникам.

— Аннушке,—сердито ответил Миша,—я думаю все равно, а если она предпочитает меня, то не потому.

Николай вдруг спохватился.

— Извини меня, Миша, я пьяный. Сейчас я уйду.

Миша поставил свечу на столик, сел на кровать, развязал книги и взял Бебеля „Женщина и Социализм“, эту книгу Несговорцов называл просто „Ди Фрау“. Немецкий язык, он знал, бывает труден только на первых страницах, а потом по чужому языку еще интересней бывает догадываться. Но тут ему немного надо было расчитываться. Это была та самая книга, которая была ему нужна больше всего, в которой он ждал всего ответа на его тайные ужасные вопросы: получить ответ и покончить с вопросами навсегда.

Николай, посмотрев опасливо на Мишу, тихонько вышел. Неизвестный человек из соседнего номера, тот, кто разговаривал с Рыбкой о золотом жуке, одновременно тоже вышел и стал спускаться по лестнице впереди Николая. Он был, наверно, не здешний, какой-нибудь вояжер, с толстыми черными усами, в котелке и перчатках. Дмитрий размахнул перед ним дверь и сейчас же закрыл перед самым носом Николая Алпатова.

Так это бывает, что какой-то пустяк станет поперек дороги и вдруг отравит настроение и потом все пойдет не так, как хотелось бы. Поганый швейцар и нахальное лицо вояжера лишили Николая всей смелости, набранной им от бутылки вина. Главное, что фонари светили гораздо больше, чем надо было для ночных походов.

Толпа идет плотной массой, плечом к плечу, однообразно жужжит и тяжело, как в день вылета всей массой, гудит майский жук на березах.

Николай думал, что, как бывало с ним раньше, он, выпив бутылку, смелый войдет в толпу, пошутит сзади какой-нибудь женщины, она засмеется, он подойдет, потом крикнет извозчика и полетит до конца, как жук, в своем брачном полете. Но, или Миша с его книгами, или что Дмитрий захлопнул дверь перед его носом, вышло так, что себя он не чувствовал пьяным нисколько, напротив, очень порядочным молодым человеком, которому совсем не к лицу заговаривать на улице с женщинами. Но он пересилил себя и подошел к одной в темноте, сказав чужим голосом: „голубушка, позвольте вас проводить“. „Голубушка“ ничего не сказала, но когда он молча, как в рот воды набрав, прошел с ней путь до фонаря и заглянул ей в лицо, то лицо это оказалось тоже приличное, с двойным подбородком и двумя большими зубами на виду. Он от этого лица так и шарахнулся в сторону, как будто при фонаре не жизнь в брачном полете, а смерть увидал.

Уйти бы совсем, отложить до другого раза? Но бывает же иногда, что загад остается в силе виша и другое ничто невозможно, хотя кажется, что сам „ни в глазу“. Плечом к плечу он идет в толпе и вокруг него все гудит и живет, увлекая его с собой, как живая вода в реке увлекает сухое полено. Многие из толпы завертывают в большой трактир с огромным столом, уставленным рюмками, бутылками и всякими закусками. Николай тоже завертывает туда и выпивает водку и пиво. Возле этого трактира на свегу большого фонаря выстроился целый ряд молодых купчиков во главе с тем вояжером в перчатках и котелке. Они тут шутят весело между собой и бросают такие словечки в толпу, что от них там и кипит и бурлит, и цовые-новые женщины валят сюда, в женихов ряд, на веселые словечки, как плотва на приваду. Николай тоже устроился тут около и, выпивая все больше и больше, пачицает немного тоже пошучивать.

Оказывается, женихи и тот самый их главный с толстыми усами вовсе не такие противные, как представлялось вначале, совсем даже напротив, женихи—прекрасный веселый народ. Николай подвигается к ним ближе и ближе. А самое главное, хорошо, что лица женщин начинают сплываться и становятся все на-одно, что-то сплошное, как тесто в деже. Подошли и к нему две, он выбрал,—какая поменьше ростом, и крикнул извозчика. Другая повыше подошла к женихам, по ей там сказали:

— Проваливай, мазанка!

Только уж когда извозчик остановился против красного фонаря, Николай понял, куда его привезли. Тут он не может, там очень светло, там музыка. Он платит извозчику и цет! Он не хочет туда итти с „мазанкой“. Она уговаривает, он не хочет. Она ругается, грозитя позвать городского: как же, ведь, он оторвал ее, она провела время. Он дает ей рубль и возвращается на большую улицу. Теперь уже пусто возле трактира, все женихи куда-то исчезли, но женщины, уже приваженые, продолжают сюда завертывать. Только теперь уже Николая не найдешь, тут все мазанки, некоторые откровенно просят им что-нибудь дать и одна сказала: „хоть три копейки“. Покачиваясь, он идет с толпой мимо гостиницы и вдруг вспоминает: там за калиткой в палисаднике спит Аннушка, и Аннушка добрая. К ней, конечно, к ней...

А калитка на постоялый двор от парадного всего только в двух шагах. Только Николай за ручку калитки, широко открывается парадная дверь. Дмитрий выпускает помещика и, увидав Алпатова, говорит:

— Куда? Ай, не видите, я не могу для вас почью сто раз вставать.

Николай покорно входит в гостиницу. Швейцар с ворчаньем закрывает за ним дверь.

В это время Михаил Алпатов, услышав шум ввизу, уже в пятый раз гасит свечу. Он очень боится, что Николай застает его за чтением и примется опять рассуждать.

Ничего теперь нет ему из этого мира, не слышит никаких звуков, не чувствует майских запахов и одно только возвращает его сюда— стук впизу и страх, что Николай его застанет врасплох. Он теперь как будто взобрался на самую высокую гору, откуда стало все понятно, и там впизу в долине все стало на свои места.

Прежде всего о себе самом он совершенно меняет мнение: самым большим своим несчастьем он считал в себе тайный грызущий голос, что он не такой, как все, и от этого он, как совсем одинокий, слаб и беспомощен. А эта слабость теперь оказывается силой: всякий пролетарий тоже неуверен в своем завтрашнем дне и в существовании своем дрожит в воздухе, как маревы; ему не за что в жизни держаться, кроме как за человека, своего товарища, но ведь человек на земле вся сила и, значит, если все пролетарии соединятся в человека, то все на свете переменится и последние, такие же, как он, станут первыми. И это не простая фантазия, что пролетарии соединяются, а действительность, у Бебеля есть доказательства с цифрами: пролетарское движение быстро растет, и всемирная катастрофа настанет в ближайшем будущем. Так и сказано у Бебеля, что, может быть, мы, живущие, будем свидетелями этой мировой катастрофы.

Как будто огромный спол света вырвался из мрака и осветил в долине все до мельчайших подробностей и каждый вопрос, вступающий в соприкосновение, тут же и получает свое решение. Вот сегодня же он не мог понять, как немцы могли голосовать против Германии, как русские—итти против увеличения своей армии, если России всегда угрожает нашествие какого-нибудь второго Наполеона. Теперь все так просто решается: для соединенных пролетариев нет ни России, ни Германии, ни Франции, соединенные пролетарии— это мир всего мира и, конечно, везде и всюду они должны голосовать против войны.

Тоже вдруг все стало понятно ему и в этом самом страшном вопросе о женщине. Все несчастье происходит оттого, что в капиталистическом обществе всякое и даже самое святое чувство обертывается в зологую куколку и потом обращается на рынке, как и всякий товар. „Недаром же,—вспомнил он,—этот человек в соседнем номере предлагал Аннушке золотого жука“. Вот почему и проституция. Из трещин буржуазного брака, из самой спальни буржуазных супругов выходят эти страшные тени, в лица которых Коля так боится взглянуть при фонаре.

Ослепительный свет вспыхнул над миром. И он увидел себя ребенком, когда клялся Марье Моревпе разбить Кощееву цепь. И вот оно: Марья Моревна стала женщиной будущего, Кощеева цепь—оковы капиталистического мира, и он сам, маленький герой—Курымушка, мечтавший своими ручепками разбить Кощееву цепь, теперь может с цифрами в руках доказывать, что цепь эта распадется, и очень скоро. Да, ему в детстве пришлось помириться с этим смешным именем Курымушка, и теперь он тоже не герой, а только скромный аку-

шер, призванный облегчить роды, но что из этого: не в нем, герое, дело, а что цепь распадется, и все будут героями.

Услышав шум внизу, Миша погасил свечу, спрятался с головой под одеяло и оставил себе только щелку для глаз. Ему стало казаться тогда, что в комнате не стало темно, когда он погасил свечу, и как будто все светлеет. А шаги все приближаются, страшные для него шаги, потому что теперь ему надо непременно остаться одному и укрепиться в себе и потом начать жизнь совершенно по-новому и даром не пропустить ни одной проходящей минуты и все обернуть в дело.

Да, это Коля идет и, верно, очень пьяный, царапается там за дверь, шуршит ладонью по филенке, никак не может нащупать ручку. Вот он вламывается и садится на подоконник, толкнул окно и сразу оттуда, из чана, ворвались эти пары городского мая, а свинья теперь хрипела, будто рожала, или же издыхала. Лицо Николая все светлеет и светлеет, как от пламени пожара, но это оказывается не пожар, а месяц такой огромный, красный, показывается над крышей соседнего дома.

Николай ударил зачем-то сильно кулаком о край подоконника, поднес руку ко рту, облизал и еще раз ударил с такой силой, что даже шмакнуло разбитое мясо. А снизу послышался певучий голос:

— Ми-шень-ка?

— Нет, это я,—шепчет Николай.

Из чана ему:

— Ах, Коленька, теплынь-то какая, и месяц показывается.

— Я слезу к тебе, Аннушка?

— Слезай, Коленька, не оборвись.

Николай берет полотенце, раздирает и еще что то раздирает и связывает. Закрыв собой все окно. Стало совсем темно и потом опять открывается, светлеет. Голова Николая погружается, из-за головы опять восходит огромный красный месяц, Николай совсем исчезает и погружается в чан.

*(Окончание следует).*

---



# Вальдшнепы

НИК. ЗАРУДИН

Весенний друг!  
В дыму московский вечер...  
Тревожно пуст  
Пахнувший звон и гул.  
Но в этот миг  
Журнальной редкой встречи,  
Я свечи глаз  
Мерцающих  
Раздул.

У нас теперь завечерела роща...  
Сквозь белоствольник стынет колея...  
И это—синее  
Пусть ласковой и проще,  
Чем городская выкипень моя.

Рябинный свет—  
Как-будто небо вянет...  
В волокнах золота—немеркнувшая дрожь.  
Теперь у нас  
Пойдешь по талой рани  
И чуть низина—  
Вальдшнепов найдешь.

Тьма вальдшнепов!  
Бредешь по старой гари  
Рябое золото—заржавит и сверкнет—  
Сквозь куст поднимется  
Такой носастый:  
Вдаришь—  
И птица падает  
В кустарник на отлет.

Синьет березь.  
Медом по оврагу  
В зеленый воздух мнется благодать.  
Дубняк обсох...  
Пора, пора на тягу!  
У мочага лесистого вставать.

Сегодня вечер красен на осине.  
В пустом лесу,  
Как в доме, дятла стук.  
Колышет пар  
Стеклянные долины  
И звезды падают  
На сумеречный луг.

Затишье звездное!  
Прощаю миру холод—  
С такими звездами  
Не сбить  
Поэзию мою.  
Вот на краю темнеющего дола  
Я средь кустов  
Ореховых  
Стою.

Зорька молкнет...  
Стынет цепко ухо...  
Лишь на листу шушукается мышь.  
Весенний друг!  
За рощей—глухо, глухо  
Вдруг прохрипела меркнущая тишь.

Еще—и свист  
Уже над самым лесом.  
Мелькает клюв,  
Где желтый воздух пуст...  
Влетает молния багровью  
По отвесу  
И сладкий дым  
Окутывает куст.

Упал! Упал!  
За две осинки...  
— С полем!!

Для драгоценных птиц  
Ружья синее стволь...  
Вот почему—  
Сегодня, поневоле  
В моих глазах  
Качающихся  
Боль...

Вот почему  
Тревожно стынет площадь,  
А на стене—  
Где пыльный патронташ—  
Я вижу дни,  
Где был душою проще  
Всегда и всем  
Мечтатель нараспашь.  
Читатель-друг!  
Мы встретимся на тяге  
А там—хоть трын!—  
До следующей весны!  
Быть может,  
Здесь,  
Случайно, на бумаге—  
Друг другу  
Вновь  
Обрадуемся мы.

---



— Ай,  
Бежать!  
Быть—  
Там.  
Плыть  
В милый, милый край—  
Иран.  
Ай, не петь.  
Море—Каспий не видать,—  
Голубые волны,—  
Камешки не собирать  
Полоненной...

Но добычу не упустит  
и во сне лихой Степан,  
Знать, не даром с голытьбою  
правил в море атаман!  
Бурной брагой бредит Волга...  
Золотой высок туман.

---

# Первая любовь

Рассказ

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ

## ГЛАВА I

Лиза Чернышева, красивая 35-летняя женщина в мехах, артистка одного из лучших театров Москвы, встретила на улице бедно одетого человека, в котором узнала своего прежнего жениха, когда-то сына богатого владельца многих домов, по фамилии Болховитинова.

Встреча эта всколыхнула в ней прошлое, казалось, давно позабытое, и поразила ее восприимчивую душу жестокостью жизни, которая из богатого и в то же время чудесной души человека сделала бездомного, безработного бедняка.

Она взяла с него слово, что он непременно зайдет к ней сегодня.

Придя домой, Лиза Чернышева сказала прислуге Насте:

— Когда придет господин, по фамилии Болховитинов, впустите его, а для остальных меня сегодня нет дома.

Раздевшись, она прошла в спальню и целый день проплакала на диване.

Она плакала от невыразимой, бессильной жалости к человеку, с которым она встречала весну своей жизни, к человеку, когда-то молодому, красивому, нежному, беззаботному и теперь так униженному.

Его фигура в стареньком осеннем пальто, несмотря на сильный мороз, всунутые в рукава руки, покрасневшие от холода, и на ушах суконные наушники поразили ее.

В особенности эти наушники.

И она, примирившаяся было с новым строем с того времени, когда получилась возможность жить и одеваться попрежнему прилично, вдруг опять почувствовала всю бездушную жестокость этого строя, который мог так унижить, так заставить страдать и в сущности обречь на медленную смерть людей, виноватых только тем, что они прежде были богаты. Этот строй берет только тех, кто ему нужен.

И нежная душа этого человека с его былым культом Парижа, с лирическо-философским складом ума, конечно, не нужна этой жизни, которая выше всего ценит не личность человека, а его полезность. Для нее выше всего хлеб, ситец и грубые мужицкие руки, производящие „необходимые для жизни предметы“.

Поистине человек становится животным с того момента, как только перестанет ценить не необходимое, когда он ограничивается „насущными потребностями“.

Во главу угла теперь поставлена „экономическая основа“.

Это называется, что они строят жизнь на основе справедливости: сначала одних переморят, как крыс, а среди других разведут справедливость и братские отношения.

Пятнадцать лет тому назад они были вместе в Париже женихом и невестой. Это была ее первая любовь.

И теперь, как дорогое воспоминание, хранятся в ее душе образы далекого Парижа: и красные сквозь деревья бульваров ночные огни Монмартра, и возбужденная сутолока, и раскрытые двери кафе, залитых ярким светом, и ночной блеск нагладившегося, как зеркало, асфальта, в котором отражаются экипажи, фонари, огни.

Помнит ту нетерпеливую, приподнятую жажду жизни и ощущений, какие рождались от этой всегда возбужденной толпы, от этого ослепляющего света, от завидной доступности женщин.

Помнит она свои именины 8-го августа и поздний обед в Булонском лесу на островке, в ресторане с разноцветными бумажными фонариками, где они ели огромного лангуста и пили шампанское. А потом переезжали в большой лодке на берег. В этой лодке ехало много народа—мужчин и женщин,—и она со смутным, преступным любопытством чувствовала близость чужих мужчин в тесноте лодки. Преступным потому, что то чувство, какое, она думала, может пробуждать в ней один он, шло к ней со всех сторон, а не только от него.

Помнит она прогулки на парохде по Сене, синюю дымку утренних улиц, цветы на окне своей комнаты. Много цветов.

О, Париж, Париж, припасть бы сейчас с тоской к подножию твоих памятников и статуй и целовать их священные камни...

Лиза остановилась у окна своей комнаты и долго неподвижно смотрела на снежную улицу. Прошло пятнадцать пустых лет с тех пор, как дороги их разошлись, потому что его родители были против нее, молоденькой, начинающей актрисы без положения и состояния.

Она сейчас жила одна. Было несколько легких связей, увлечений, Но это все в прошлом. И все они не оставляли после себя ничего, кроме горького осадка от сознания, что вся нежность и доверчивая еще душа отдавались внутренне пустым и ничтожным людям из актерской среды. У нее на глазах проходила вся их будничная жизнь, вся изнанка души, наполненной мелкой завистью к более успешным товарищам, их продажность и полное отсутствие в них какой-либо серьезной, большой мысли.

Эта была не жизнь, а мелкая, неразборчивая и жадная торговля собой, на разовых и по сезонам.

Не было ни одной связи, о которой бы она вспоминала, как о чем-то светлом, чтобы у нее осталось уважение и благоговение к тому мужчине, с которым ей пришлось встретиться. Не было ни одного человека, была какая-то моральная слякоть.

И теперь, возвращаясь одна после позднего спектакля домой, в пустую комнату, она чаще и чаще чувствовала холодную пустоту, гнетущее одиночество.

О, это одиночество, когда немые стены молчат, давят и нет ни одной родной души, которая бы тебя ждала. И, подходя по двору к своей комнате, видеть пустые темные окна... Кто испытал это, тот знает, что это значит.

А там сорок лет... нет, сорок еще ничего, а вот сорок пять... когда появится почтенная полнота, и когда ты, как женщина, будешь уже никому не нужна, даже тем ничтожным людям, ухаживания которых теперь она отклоняет самым решительным образом.

И из всей ее жизни была только одна светлая точка—это встреча с ним.

Теперь, когда она увидела его в таком положении, это поразило ее и во всей силе вспыхнуло вновь возмущение против этой жестокой жизни, отметающей все хрупкое, не умеющее приспособляться.

Лиза Чернышева с волнением ждала того часа, когда он должен был прийти. Кто знает, может быть, эта нечаянная встреча соединит опять ту нить, которая порвалась пятнадцать лет тому назад. Для его родителей тоже экономическая основа жизни была на первом плане и они ради денег пожертвовали человеком, потому что она не была богата.

Как деньги и богатство портят человека: он ставит их выше души, выше любви. А вот деньги-то их пропали, а она уцелела, и они переменились ролями.

Ее волновал вопрос, что теперь может быть между ними? Если она продолжает с нежностью вспоминать о их прошлом, значит ли это, что в ней еще живет то чувство к нему, какое было тогда? Или между ними начнется совершенно новое?

Или они встретятся совсем чужими людьми?

Но ведь ни он, ни она не могут вычеркнуть из памяти того, что было. И как они будут себя держать друг с другом—делать вид, что они не помнят о том, прежнем, или мимоходом в разговоре вспомнят то невозвратно ушедшее время?

Она надела лучшее платье и долго массировала кожу под глазами, чтобы ему не бросились в глаза чуть заметные морщинки, которых, конечно, не было пятнадцать лет назад.

Ей приятно было показать ему, что у нее много денег, но она ни одной минуты не заставит его почувствовать себя неловко. Для нее будет только величайшим моральным удовлетворением оказаться



для него в его тяжелом положении волшебной феей. И кроме того приятно будет ей, которую его мать когда-то оттолкнула от своей семьи, явиться перед ней женщиной с именем, с деньгами, спасающей их от гибели и нищеты.

Ей хотелось безотчетно сделать так, чтобы ему здесь все напоминало их далекую встречу. Она набросила на абажур яркую цветную материя, как они делали это в Париже, на шею надела старинный медальон, который был тогда на ней. А на столе стоял тот самый ее любимый ликер, который они пили тогда... И высокие рюмки на тонких ножках.

Она сама не знала, зачем она так делает, но ее волновали эти приготовления.

## ГЛАВА II

В 7 часов он пришел.

Лиза вышла с забившимся сердцем в переднюю, и с болью смотрела, как он красными от мороза руками без перчаток расстегивал пуговицы пальто. Пиджак на нем был, видимо, тщательно вычищенный, но совершенно залоснившийся. Лицо попрежнему было кроткое, умное, с какою-то благородной тонкостью черт, освещенное легким облаком грусти и горькой иронией над своим положением.

— Сколько лет, боже мой, сколько лет мы не виделись,—сказал он, посмотрев на Лизу.

— Да, 15 лет,—ответила она. Ей прежде всего очень хотелось спросить, сильно ли она постарела, но она в это время заметила при повороте его головы разорванную около ворота сорочку. Ей захотелось плакать. Хотелось припасть к нему и поцеловать эту прореху, как жестокую рану жестокой судьбы на теле непрочного человеческого счастья. С каким бы чувством умиления она своими руками зашила эту прореху.

Они вошли в ее спальню, где в уютном уголке был приготовлен стол с закусками, фруктами и ликером. Она нарочно устроила это в спальне, чтобы было интимнее и уютнее.

Гость остановился, потирая озябшие руки и оглядывая комнату.

— Как я отвык от приличной обстановки, от хорошей комнаты и... от человеческого отношения,—прибавил он тихо и грустно.

Она с волнением ждала, заметит ли он и узнает ли ее медальон? Обратит ли он внимание на то, что лампа завешена так же, как тогда?

Болховитинов еще раз оглянул комнату, потом посмотрел на Лизу, как бы не решаясь что-то спросить, и вдруг увидел на ее шее знакомый медальон.

— Милые тени минувшего...—сказал он, горько усмехнувшись.

— Но они в настоящем...—заметила, покраснев, Лиза.

— Да, но...—он не договорил и, переменяя тон, сказал:—да, милый друг, если вы позволите мне еще называть вас так,—да, милый

друг, жизнь жестока. Вот перед вами сидит бывший богач, беззаботный человек, который в жизни не знал ни работы, ни нужды. Теперь этот человек—нищий. Но те мысли, которые жили во мне тогда, часто поддерживают меня и теперь. Та нетленная сущность, которая живет в каждом человеке, роднит меня со всеми гениями и помогает иногда подняться мысленно высоко, высоко над жизнью и сверху видеть эту суетливую близорукую людскую жизнь.

И когда я оттуда вижу свое бедное тело, облеченное в рваное холодное пальто, я с примиренной грустью смотрю на себя и думаю о том, что это временное неудобство терпит очень ничтожная часть моего существа, что другая часть подчинена более широким, прочным и неизменным законам, чем законы какого-то государства, находящегося там, в низу.

— Расскажите же ради бога, как вы теперь живете,—сказала Лиза.

Он рассказал о том, что у них отняли все дома, драгоценности, что он с начала революции безработным и его никуда не берут. Что у него на руках больная мать и сестра, которая кормит их тем, что ходит по домам шить и стирать, а он надеется торговать папиросами на улице.

— О, как это ужасно,—сказала Лиза.

— Уцелевшие драгоценности все уже проданы, а шуфы заложены в ломбарде и того и гляди пропадут из-за неуплаты процентов.

Лиза сидела и слушала эту горькую повесть, от которой у нее слезы навертывались на глаза.

— Ну, а знакомые? Ведь сколько людей у вас пило и ело когда-то. Что же они?

Болховитинов горько усмехнулся.

— Теперь у нас нет знакомых. Они были только тогда, когда мы были богаты. Сначала сочувствовали, по мелочам помогали. А потом это очень скоро прекратилось и, когда мне в двух-трех домах, правда вежливо и мягко, сказали, что хозяев нет дома, я понял, что они хотят забыть о нашем существовании.

— Какая гадость —сказала с возмущением Лиза, не удержав слез.— Я сейчас возмущалась, думая о большевиках, которые причинили вам столько горя. Но ведь для большевиков вы только неизвестная величина, единица, попавшая в этот шторм среди многих других единиц. А ведь эти господа когда-то широко пользовались вашим гостеприимством, пили и ели у вас. Вот кто подл и низок!

И она невольно подумала:

„Вот оттого они и уничтожены, как класс. А из-за них и мы. Они настолько эгоистичны, настолько в них нет инстинкта общественной солидарности, что их поражение предreshено было этой собственной заботой только о своей шкуре и ее благополучии. А что касается своих собратьев по классу, то они пусть каждый выкарабкивается, как хочет. Какие низкие души! И как, в сущности, история

справедлива, что разбила и уничтожила этот жадный, эгоистический и бесчеловечный класс“.

### ГЛАВА III

Она чувствовала, как ее горло сжимают спазмы, и у нее было такое состояние, что ей необходимо нужно было сейчас же что-то сделать, чем-то помочь. Она вспомнила, что у нее отложены в красной коробочке сто рублей для портнихи, сделала было движение встать, но сейчас же ей пришла мысль о том, что тогда придется материю взять у портнихи обратно. А она, как нарочно, когда отдавала ей, сказала, что лучше дорогой портнихе заплатить больше и иметь хорошую вещь, чем шить у дешевых и иметь скверную.

После этого многообещавшего предисловия пойти и взять обратно было невозможно.

Если ему дать пятьдесят рублей, а портниху попросить подождать? Это было бы, пожалуй, можно, если бы она сшила у нее хоть два платья, а то в первый раз заказала и уже явится просить отсрочки.

Впрочем, у нее есть отложенные на всякий случай 25 рублей. Но двадцать пять рублей мало и давать их стыдно.

Вошла зачем-то Настя и на ее лице Лиза увидела такое оскорбительное удивление, с каким она оглядела фигуру бедно одетого человека, сидевшего с ее хозяйкой у стола за ликером, что Лиза почувствовала, как ее щеки заливают румянец стыда.

Уходя из комнаты, Настя даже оглянулась еще раз в дверях. Что она может подумать? И как глупо, что она ей раньше не догадалась сказать и что-нибудь выдумать про бедного родственника, которого нечаянно встретила и ждет к себе.

Осаждаемая этими несносными мыслями, Лиза уже не слушала своего собеседника, не задавала ему вопросов, а только время от времени, чтобы не молчать, говорила:

— Как ужасно!.. Как подлы, отвратительны люди.

„Ведь вот хоть эта Настя,—подумала она,—ведь она же прислуга, сама ходит в валенках, ахватила городской культуры и у нее уже какое-то безотчетное презрение и недоумение при виде бедно одетого человека. И каково это видеть ему! А ведь он заметил ее взгляд“.

И действительно, гость заметил этот недоумевающий взгляд прислуги и как-то сжался. Он повернулся и свалил на ковер локтем пепельницу со стола. А когда стал ее поднимать, то у него был такой сконфуженный вид, как будто он пришел в хороший дом и с первого же шага сделал неловкость.

Ну что за пустяки—пепельница! Разве он не ронял пепельниц в былое время, когда был богатым человеком, и разве тогда он и хозяева могли придать этому хоть какое-нибудь значение? А теперь

он покраснел и почувствовал вдруг, как у него все члены—руки и ноги—одеревенели, точно скованные. И если он сделает хоть одно движение, то непременно еще что-нибудь свалит.

В это время послышался звонок. Лиза, как бы пользуясь предлогом, встала, чтобы узнать, кто это.

И хорошо, что встала: это были заехавшие к ней две подруги, с каким-то кавалером, одни из тех, которые являются всегда с громкими голосами, со смехом и целым коробом рассказов о неожиданных приключениях, о чужих романах, о портнихах. Они разлетелись было к ней прямо в шубках в спальню, чтобы изложить ей программу сегодняшнего вечера, и, если последует ее одобрение и принципиальное согласие, захватить и ее.

Но Лиза испуганно загородила им дорогу в спальню.

Те удивились и сначала не поняли ничего, только переглянулись.

А она, покраснев, стала говорить, что к ней нельзя, пусть они заедут когда-нибудь в другой раз, что она сейчас занята.

Одна минута—и лица подруг уже засветились проказливым лукавством. Они все истолковали по-своему.

„Вот тебе и скромница, отвергающая ухаживания, она, оказывается, устраивается втихомолку. И должно быть сам бог надоумил их заехать к ней, иначе эта история была бы погребена в неизвестности и фальшивая добродетель продолжала бы незаконным образом торжествовать“.

Наиболее бойкая из гостей дама в котиковом мантио, Катя Стрешнева, успела сделать два шага и заглянуть в полуоткрытую дверь спальни. На лице ее выразилось полное недоумение. Она даже как-то притихла сразу и не нашлась ничего сказать. Только обратилась к своим и проговорила торопливо:

— Идемте. Это выше нашего понимания.

Остальные, лукаво засмеявшись и погрозив пальцами, зашумели, засмеялись и, оставив после себя облако легкомыслия и запах тонких духов, исчезли так же неожиданно, как появились.

Лиза, чувствуя досаду от этого нелепого вторжения, пошла к оставленному гостю.

Он сидел лицом к двери. И первое, что она увидела—была эта ужасная прореха на сорочке. Вероятно, Катя увидела ее и потому на ее лице отразилось такое недоумение.

Что они подумают, когда она сейчас, наверное, расскажет им всем о том, что она, заглянув в спальню, увидела там оборванного субъекта, а на столе фрукты, ликер?..

И в самом деле, что тут можно подумать?

Будь это серьезные, содержательные женщины, им можно было бы объяснить. А теперь они выдумают и разнесут по всему театру какую-нибудь самую невероятную пошлость, вроде того, что она, Лиза Чернышева, строит из себя неприступную девственницу и в то же

время страдает какими-то ненормальностями, приглашает оборванцев и пьет с ними в спальне ликер.

Ведь это, бог знает, что можно подумать.

И, конечно, они ухватятся за свою идею, и, чем она нелепее, тем с большей энергией они ее разнесут, а остальные подхватят и все поверят.

И хотя бы даже они и ничего не сочинили, но видеть этот озадаченный взгляд Кати, когда она увидела ее гостя с прорванным воротом сорочки,—тоже мало приятного.

#### ГЛАВА IV

— Боже мой, какие пустые люди,—сказала Лиза, вернувшись к гостю.—Приехали меня звать с собой, а я работаю с утра до вечера и у меня нет денег, чтобы их бросать по ресторанам.

Почему она сказала про деньги и про то, что работает с утра до вечера, она сама как следует не поняла. Правда, ее костюм несколько противоречил ее тону и жалобе на отсутствие денег и она пожалела, что совсем некстати надела его. Но она, расстроенная этим вторжением, сказала это таким искренним тоном, что к Болховитинову вернулось прежнее самообладание. Он стал рассказывать про себя, а она сидела, смотрела на него, не слушала и думала о том, что вот ведь остался человек таким же, как и был, человеком высокой душевной пробы, что он на целую голову выше всех этих ничтожных пустых людей, которые сейчас приезжали.

Взять бы его к себе, благо у нее две комнаты теперь, и тогда в ее жизни будет возвышенная серьезность, настоящая любовь чистого человека. И кроме того сознание, что она своими руками, своей человечностью спасла погибавшую жизнь. И, кто знает, может быть в старости, когда она уже будет никому не нужна, в его лице она будет иметь верного друга, на груди которого можно будет выплакать и облегчить всякое горе. А этого горя ведь не мало отпущено на долю каждого. Тем более, что у нее нет на свете ни единой души близкой.

Но сейчас же она вспомнила, что он не один, так, что ей придется взять на содержание не одну душу, а целых три. Не может же она его взять, а тех бросить на произвол судьбы. Ей было даже дико себе представить, что вдруг мать ее мужа будет жить тем, что ее дочь заработает стиркой.

А взять троих, значит, помимо того, что на них уйдут все деньги и придется с позором брать у дорогой портнихи обратно платье, да еще вместо двух комнат, простором которых она даже не успела как следует насладиться, стесниться в одной вдвоем с ним.

Все это было ужасно и мучительно. А он все рассказывал и рассказывал, как человек, который рад облегчить себя хоть тем, что может пожаловаться на горькую судьбу единственному близкому человеку, так просто и сердечно пригревшему его.

Лиза вспомнила, что она еще не предложила ему закусить. И, когда он взял вазочку с икрой и стал накладывать себе на тарелку серебряной лопаточкой, его красные руки дрожали,—то ли от слабости, то ли от хождения по морозу без перчаток, а может быть от того, что он голоден и давно не видел этих вещей.

Лиза поймала себя на том, что ей почему-то неприятно видеть это дрожание красных рук и, когда она представила себе, как возможность, жизнь с ним в одной комнате, когда придется спать в одной постели, легкое содрогание пробежало у нее по спине, и она почувствовала, что это невозможно.

Болховитинов занялся едой, и она смотрела на него с чувством какого-то неприятного любопытства, с каким смотрят на голодного человека, когда он молча и торопливо ест, и была довольна, что он перестал говорить о своей бедности и ей не нужно было выражать сожаление по отношению к нему и негодование по отношению к его знакомым. Тем более, что раз она выражает негодование, это обязывает ее сейчас же, сию минуту, что бы ни подумала о ней важная портниха, поступить совсем иначе, чем его знакомые, т.-е. дать ему эти сто рублей и взять его немедленно к себе.

Когда она налила в высокие тонкие рюмки ликер, который они когда-то пили в Париже, и который был подан с тем, чтобы воскресить в их памяти давно ушедшее прошлое, она почувствовала, что воскрешать минувшее с человеком, у которого красные руки да еще при этом дрожат, да сорочка худая—несколько странно.

Выпили они молча. При чем Болховитинов отпивал по маленькому глоточку и после каждого глотка смотрел на рюмку и покачивал головой. И это ей почему-то показалось неприятно.

Когда Болховитинов выпивал последний глоток, он вдруг остановился, как будто пораженный чем-то. Посмотрел на графинчик, потом на Лизу и в глазах его засветилась робкая радость и признательность.

— Это... Это тот самый ликер?—спросил он.

И Лиза, сама не зная почему, сказала совершенно безразличным деревянным тоном:

— Да, это единственный ликер, который я выношу.

Его глаза потухли.

А ей пришла в голову мысль о том, как нужно быть осторожной в выражении своих чувств. В жизни все устроено так, что нельзя безответственно выражать жалости, сочувствия и с распростертыми объятиями бросаться по каждому непосредственному зову сердца; нужно помнить, что все в жизни держится на экономической основе: ведь вот она сейчас поддалась непосредственному чувству, пригрела человека, а этого мало, нужно его обеспечить, и не только его одного, а всю его семью. Может ли она это сделать? Нет, не может. Значит, она сделала ложный шаг, заставила человека надеяться на большее, чем она может для него сделать.

Если бы у нее была к нему любовь, тогда, может быть, она пошла бы на подвиг, стала отказывать себе во всем, чтобы только ему и его семье было хорошо. Но у нее не было и не могло быть любви к этому человеку с красными, дрожащими руками и в прохудившейся от ветхости сорочке.

— Вы что же, вечерами всегда свободны?—спросил гость.

— Нет, нет, что вы, страшно занята!—почему-то поспешно и почти испуганно проговорила Лиза.— Это сегодня совершенно случайно выдался такой вечер.

Помолчали.

Гость почему-то медлил уходить. А Лиза никак не могла отделаться от цифр, которые мелькали у нее в голове:

„Сто рублей сейчас, пятьдесят помесечно, итого 600 рублей в год“

## Г Л А В А V

Наконец он поднялся, робко, благодарно поцеловал ее руку и покраснев, взглянул на нее, как смотрят, когда хотят обратиться с какой-нибудь просьбой к человеку, к которому мучительно трудно обращаться да еще в первый же визит.

У нее при этом замерло сердце и она покраснела от ожидания.

— Мне очень стыдно,—сказал он, тоже покраснев мучительно, почти до слез,—но делать нечего: если я завтра не внесу процентов за теплые вещи—мои и сестры, то они пропадут. Я уж попрошу вас во имя прежнего дать мне десять рублей.

Лиза, еще больше покраснев, заторопилась и сказала:

— Ради бога, пожалуйста, какие пустяки.

Она торопливо вышла и вернулась с 10 рублями.

Болховитинов пожал ей руку и сказал тихо:

— Спасибо вам...

Когда он ушел, Лиза легла вниз лицом на диван и дала волю слезам.

О чем она плакала? О прошедшем мимо ее жизни счастье, которого не вернуть, о жалком виде когда-то любимого человека, о жестокости жизни и бессердечности людей? А, может быть, о том, что она, поддавшись каким-то ничтожным недостойным ощущениям, упустила из своей жизни человека и ей суждено доживать свой век среди таких вот ничтожеств, какие сюда приходили в образе Кати Стрешневой и ее кавалера. Это ее судьба жить среди ничтожества. Но почему? Боже мой, почему?

Она вдруг мучительно покраснела, вспомнив, что она машинально дала ему десять рублей, т.е. совершенно автоматически вынесла столько, сколько он просил. Это позорно и невозможно. Это нужно поправить. Через три дня она получит деньги и сама отнесет ему или пошлет.

На следующий день она собиралась выходить из дома, когда раздался звонок. Она открыла дверь сама и лицом к лицу столкнулась с ним. И покраснела оттого, что вместо радостной приветливости, какая у нее была вчера, у нее от неожиданности выразилось удивление.

У нее мелькнула нелепая мысль, что он пришел к ней жить и просить позволения перевезти к ней сестру и мать. Поэтому она в первое мгновение даже ничего не сказала, а смотрела на него испуганно-вопросительно. И только через секунду спохватилась и сказала неестественно поспешно:

— Ах, пожалуйста, пожалуйста...

И сама как бы со стороны услышала свой тон и невольно отметила, что два раза подряд в такой близкий промежуток нельзя быть одинаково любезной и предупредительной: во второй раз, даже если нет никаких привходящих обстоятельств, непременно любезность выйдет несколько натянутой и неестественной.

— Я должен извиниться за свою рассеянность,—сказал Болховитинов. Его лицо было жалко от смущения и неловкости. И эта мучительная неловкость сейчас же передалась Лизе.

— Я вчера попросил у вас 10 рублей, а нужно двадцать, потому что десять только за мою шубу, да еще десять за шубу сестры.

Нужно бы сразу, не выслушивая этих объяснений, пойти и вынести десять и еще десять.

Но Лиза почему-то дослушала до конца объяснение, на что нужны ему эти десять рублей, и тогда уже сказала:

— Пожалуйста, я сейчас принесу.

Она ушла в спальню, взяла два червонца, потом после минуты раздумья сунула обратно другой червонец и вынесла один Болховитинову.

Тот взял червонец своими красными дрожащими руками и, как-то торопливо поблагодарив, стал прощаться. Или ему было слишком мучительно, или он, получив такие большие для него деньги, чувствовал дрожь и безотчетную потребность скорее убежать с ними.

Он несколько раз торопливо приподнял одной рукой над головой свою барашковую с плешинами шапку и ушел, неловко просунувшись одним плечом в дверь, как уходит мастеровой или пьяница, получив заработанные деньги, которые он сейчас же пропьет. С той только разницей, что Болховитинов не пил и они ему нужны были для спасения жизни.

Лиза вернулась в комнату и стояла несколько времени с расстроенным лицом, не снимая пальто.

„Это ужасно,—подумала она,—подавать милостыню когда-то любимому человеку. Боже мой, как жестока жизнь. Она задумалась. Потом ей пришла в голову мысль, что он через неделю, а может быть и через день, явится опять за деньгами и у нее на шее окажется целая



семья из трех человек? Тут не то, что дорогая портниха, а и на дешевую не хватит. Очевидно, его знакомые не без основания бегают от него. Побежишь, когда каждый день приходится выкладывать по десятке“.

Она прошла в кухню и сказала Насте:

— Настенька, если этот человек придет еще раз, не пускайте его и скажите, что меня нет дома. Только сделайте это как-нибудь помягче и повежливее, чтобы не обидеть его.



# Чертухинский Балакирь <sup>1)</sup>

Р о м а н

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

Сон-Ситник

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дурной зверь

**Т**ак-то был продан вольный зверь барину в рабство...

Потому умный зверь никогда не пойдет по дороге, которая проложена топором и не побежит по тропе, намятой ступнею человека!

У зверя свои звериные тропы, которых подчас человек и не видит, потому что зверь по земле умеет ходить, не попирая травы... и часто: что лось по болоту пройдет, что птица пролетит над этим болотом—все едино, от них и духу никакого не будет!..

Потому у лесного зверя на копытах невидимые крылья!..

Зимой дело другое!..

В ее белом зеркале видит звериная смерть, где какой зверь ни пройдет... За лисой тянется цепочка, как от часов, от зайца остаются все лапки и передняя показывает на снегу, куда он спетлял, от волка—острые когти в ту сторону, куда он глядит, когда идет за добычей!..

Ни один зверь не ухоронится от смертного глаза!..

И часто в лесу перед звериной кончиной звериная смерть трубит беззубым ртом в звонкий охотничий рог, торжествуя победу!..

Не вздумай пойти да поглядеть, что там стоит за охотник!..

И ты попадешь ему в пестерь!

\* \* \*

Так Антюттик закончил рассказ, когда они с Петром Кирилычем сидели на спине высокого лося и любовались на Боровую мельницу... Как уж там обо всем ином рассказывал ему Антюттик, мы доподлинно

---

<sup>1)</sup> См. № 3 «Нового Мира».

верно не знаем, но вернее всего, что еще больше прибавил, чем мы, потому как-никак: все же леший!..

Слушает Петр Кирилыч, как зачарованный, и не может пошевелиться, вздумал он было спуститься на землю, но Антютик схватил его за руку, сжал ее и на весь лес гикнул: лось на сажень подпрыгнул, повернулся в скачок и вихрем вынес в кусты...

Ветер засвистел Петру Кирилычу в уши, у кустов и низкорослых деревьев подола так и заходили, как у баб на свадебной пляске... но не прошло и минуты, кажется, снова все стихло, лось пошел неторопливым шагом, сощипывая по дороге с канавки траву... Антютик молчал, молчит и Петр Кирилыч... и словно не видит, как сменяются сосны и ели березовыми и осиновыми рощами: всюду разлито разомлелое тихое дуновение весны, которое бывает в первые весенние ночи, когда неожиданно грянет тепло и землю распарит и пышет тогда от земли, как от молодухи...

Со всех сторон, с веток кустов и деревьев вытянулись зеленые ушки, и слушают, и дивятся, и ни наслушаться, ни надивиться видно не могут!..

— Я,—заговорил вдруг Антютик как ни в чем не бывало,—я... самый большой помещик в округе, столько у меня еще лесу и все какой леище: сосны хоть на небо полезай, елку в пять рук не убе-решь!.. А уж чапугу этого, годов на...сто топиться хватит, если Цыган петуха в сухмень не подпустит... у меня всему ведется строгий учет: такие ревизские сказки, где какой водится зверь и где какие птицы поют!.. Под птичий голос хорошо, Петр Кирилыч, спать на мху где-нибудь под сосной или елкой!..

— Хорошо,—печально отвечает Петр Кирилыч.

— Эх, и хорошо же в лесу!.. На каждой прутинке висит по полтинке, каждый сучек тянет тебе пятак, да в нем-то: каждый нищий на манер богача, только... человек во всем этом всякий скус потерял и ничего уж не видит да и видеть теперь уж должно быть не будет..

Петр Кирилыч обернулся на Антютика и поглядел на него, что он, как на лицо: шутит али... всерьез!.. Потому и самому ему эти мысли не раз на ум приходили...

— Ты-то вот, Петр Кирилыч,—продолжал Антютик,—ты-то вот, знаю я, все понимаешь, потому что человек ты... чудной и на других непохожий... и мне пришелся по скусу... А остальные у вас в Чертухине такая-то все шваль да рвань, не к слову сказать, что и возиться с ними нету охоты... только ты поклон передай, да чтобы поосторожней... лучше пусть не попадают на Светлом, а то... утоплю!..

В это время в Чертухине пропели последние петухи и Антютик приставил руку к глазам и посмотрел на синее небо, сине оно, как только бывает сине перед утром, когда по всей земле проходит последний утренний сон, столь сладкий, что от него и у звезд слипаются веки...

— Ну теперь, Петр Кирилыч, пора!.. скоро будет светать взаправду... Жалко мне, что все же дела ты не довел до конца... ну да

все еще впереди... Теперь все зависит, как ты сам его поведешь... Ты меньше бери на глаза, а то засмотришься, рот разинешь и не заметишь, как в него ворона влетит... ты больше действуй!..

— Да как вот... больно трудно к ней подступиться!..

— Э... вот уж трудности-то никакой... не пень из земли тащить, теперь надо тебе почаще наведываться сюда: неравно она опять будет купаться... Понял?.. Ну теперь, значит, прощай!..

— Прощай, Анюттик,—говорит Петр Кирилыч, опустивши голову,—ты мне больше родного отца!..

— Доброе слово... вот уж спасибо, так уж спасибо... только у меня к тебе еще будет дело... ты это помни... когда—не скажу, будет видно!.. А пока, Петр Кирилыч, ложись-ка, усни!.. Тебе это будет вот как полезно!.. Да и меня, Петр Кирилыч, отпусти по-доброму по-здорову, потому от зрячего человеческого глаза нам можно себя навек изурочать... чего доброго тоже вырастет хвост, а не то плешь проточит моль на затылке: нехорошо!.. Дурно-ой глаз у вашего брата!..

— Что ты, Анюттик?..—обиделся Петр Кирилыч...

— Да ты уж не обессудь... а ложись-ка, ложись, Петр Кирилыч...

Петр Кирилыч кругом оглянулся и удивленно заметил, что опять они у того же самого места, у Густой Елки на просеке, неподалеку от чертухинской дороги. Анюттик соскочил с лося на землю, снял, как ребёнка, Петра Кирилыча и махнул еловой веткой... спокойно лось пошел между елок, сощипывая на-ходу рывком молодые побеги... Петр Кирилыч только тут и разглядел: рога у него золотые... словно это сквозь ветки пробивался первый рассвет.

Анюттик проводил его долгим взглядом, а потом пригнулся к земле, припрыгнул и высоко поднялся под ели, зацепился рукой за вершину, качнулся на ней и гукнул три раза на весь чертухинский лес, потом завернул полы длинной поддевки, раскачался и бухнул куда-то на землю...

Но все это Петр Кирилыч видел и слышал уж сквозь спокойный предутренний сон, когда у человека отнимаются руки и ноги, и сам он тонет куда-то на глубокое дно...

Слышал он только, как где-то далеко в лесу на болоте словно обломилась вершиной столетняя ель и как она рыхнула на весеннюю гулкую землю...

„Это Анюттик поддевку свою скидает!“—подумалось Петру Кирилычу во сне...

После этого стало в лесу еще тише, ни одна ветка, кажется, не промолвится словом и сам Петр Кирилыч уже не думает ни о чем, а повернулся на бок полочее, обхватил колени руками и заснул крепким сном.

\* \* \*

Долго ль так проспал Петр Кирилыч, хорошо и ему неизвестно. Только проснулся он рано поутру, когда еще и солнце взаправду не встало и висела над лесом розовая занавеска... В елях плыл

большими хлопьями розоватый туман и от тумана тянуло свежим древесным листом, рекой и карасями...

Петр Кирилыч потянулся на мху и стал вспоминать, что с ним за эту ночь приключилось...

— Говорить кому али нет?—спросил он сам себя,—нет... пожалуй лучше молчать... а то будут... смеяться!..

Петр Кирилыч, сладко зевая, поднялся, потянулся на оба бока и не спеша пошел на дорогу... с поля булбыкали тетерева и вдали над болотом, словно передразнивая глупого барана, который за клок мелкого сена променял человеку свою пушную шубу, высоко блеял быстрый бекас...

Вышел Петр Кирилыч на лесную опушку и перекрестился...

— Не диво ли: за ночь никакой зверь не заломал!..

В это время на повороте, где загибает дорога из Чертухина на Боровую мельницу, Петр Кирилыч в белом и густом тумане ясно слышал чилиньканье бубенцов Петра Еремеича, который, зная, далеко собрался кого-то везти, если выехал по такой рани из дома...

Хотел его Петр Кирилыч окликнуть, но постоял немного, послушал, как переливаются под дугой колокольцы, словно серебряная водичка текет, и почему-то раздумал:

— Ешь, Петр Кирилыч, пирог с грибами, держи язык за зубами!..

А туман все валил и валил, как полова на току...

Навалило его, инда и за три шага не видать... Только там, где должно стоять Чертухино, высоко над туманом, плывущим по самой земле, машут соломенными и тесовыми крыльями крыши, как птицы, которые высоко поднялись и сделали круг, чтобы со всех сторон на весну полюбоваться, и теперь садятся всей стаей на землю...

### Феклушин сон

Снится Феклуше лазоревый сон...

Та же мельница, та же плотина и так же звонко стекает с плотины вода... Только вокруг мельницы чертухинский лес теперь стоит, на лес совсем непохожий...

Развеяли сосны на ветер под самую небесную синь большие знамена, ели оставили пики, словно вонзили их в чью-то невидимую грудь, и по берегам низкорослый бредник и ольшняк, как шатры над самой Дубной: спит в этих шатрах какой страны и государства неведомо несметное войско и над шатрами плывет белесый туман...

И то ли солнце всходит в тумане, то ли из-за леса едет большой богатырь на белом коне—не понять!..

Только и видно, как горит у богатыря на широкой груди из чистого золота щит и пышет огнем золотой шлем на голове...

Видела еще такие шлемы Феклуша в Москве у пожарных, когда они, уставившись в ряд на колымаге, как на картинке, скачут по улице и все сторонятся перед ними и все дают им дорогу и каждый

прохожий, делец и зевака, на минуту остановится и оглянется вслед, потому что и они в эту пору похожи на богатырей!..

Скачет богатырь прямо по боровой дороге на мельницу, только видно не рожь и не жито молотье... Откуда он скачет, несутся тучей птицы-сороки за ним, а птицы-сороки раньше всех птиц приносят в клюву первый солнечный луч поутру из далекого царства, где только два цвета на всем,—белый с синевой, как у мартовского снега, и черный с вороненым отливом, все царство—как сорочье крыло, почему и прозывается это царство Сорочьим!..

По всему должно стоять в той стороне, если глядеть на него с Боровой мельницы, наше село Чертухино, но сейчас хорошо Феклуша не знает, стоит оно там или нет, потому что летят сейчас оттуда большой стаей птицы-сороки, а птицы-сороки летят поутру из Сорочьего царства,—такой душистый ветерок веет оттуда и никогда еще Феклуша не видала в той стороне такого сиянья!..

Царство Сорочье!.. Царство Сорочье!..

Про которое рассказывал дедушка ночью!..

Говорил он о нем, что светит там луна ночью и днем, что ни зверь и ни птица человека там не боится, потому что правит там всеми, и людьми и зверьми, не ведая чисел и срока, добромудрая царица-Сорока!..

\* \* \*

Одно только все так же, как и на яву до этого было: Феклуша вышла на прибережный песок из дубенской воды и надеет, не спеша, голубой сарафан с золотыми пуговичками по переду и, одеваясь, смотрит в реку: белее тумана лицо у Феклуши, глаза синей васильков и румянец на щеках, как верхняя корка на куличе, на которую чуть пахнуло из ладно истопленной печи первым жарком...

— Неужли-ж я такая... красивая?..—сама себе не верит Феклуша...

Загляделась Феклуша на свой куличный румянец и совсем не заметила и совсем не слыхала, как к ней близко подехал с дороги и тпрукнул коня богатырь...

У коня белоснежная грива, передняя нога одна колесом и круто под белой пушистою гривой выгнута шея, как в половодье вода у плотины...

Не успела Феклуша сказать своего девичьего „ах“, как богатырь с русыми кудрями в скобку подошел к ней, взял ее за дрожащую руку и прижал к холодноватому золоту лат... но хоть и одет он как богатырь, а видать... самый заправский мужик: горшечная скобка, с кудрей капит розово-лампадное масло, только на руках ни мозоля, ни засадины и до того у него очи сини, что взглянуть—утонуть побишься!..

— Здравствуй, красавица!.. Али ты на кого другого меня променяла?.. Али... я огляделся?..

Феклуша смотрит на него одним глазком и молчит...

— Кто ты, красная девица, кто?.. Скажи-ка мне свое имячко, вот уж без малого тридцать годов ездю я по белому свету и нигде не вижу людей... в настоящем их виде... одни колдуны да колдуньи и все такие кривые и мерзкие хари, не сотвори креста, самого на бок своротит... Кто ты, красавица, кто?..

— Феколка с... Боровой!—отвечает ему тихо Феклуша.

— С зверовой Боровой... где хлеб даровой, а вода и подавно: здравствуй, царевна Дубравна!..

— Царевна... живет у нас... под плотиной... а я мельничья... дочка Феклуша!..

— Береза не елка, а ты... не Феколка!.. Здравствуй, царевна Дубравна!.. Али ты никак меня не узнаешь?..

— Кабы знала я да ведала, ох, три дня бы не обедала,—шопотком отвечает Феклуша:—здравствуй, князь Сорочий—Синие очи!..

За милую душу крепко богатырь прижал Феколку к чепраку на коне и конь повернул к ней свою под белоснежную гривую шею и громко на весь чертухинский лес и на все дубенские плесы заржал...

— Что, как батюшка проснется, али узнает... Митрий Семеныч?

Но почему-то и при этой мысли Феклуше не сделалось страшно...

\* \* \*

Что дальше случилось и как все это случилось, Феклуша сама не может понять...

Слышит она сквозь соловьиный последний утренний свист соловьиный ласковый голос:

— Красота ты моя и отрада!..

Пошло все кругами перед Феклушей и в середине под самым сердцем зажгло и в горло хлынуло такое тепло от чужого дыхания и такой теплый ветерок с далекого поля дует в лицо и шаловливо задирает подол, что, кажется, скоро и совсем перестанешь дышать и рукой не достанешь до голых колен, у которых золотым радостным звоном звенят золотые пуговицы и шелестит сарафан, взбитый в синюю пену... По середине Феклушу всю разломило и на щеку катится из полузакрытых ресниц, как первая капля дождя, большая слеза...

— Погляди на меня хорошенько и запомни на веки... через десять лет я вернусь... жди меня терпеливо и через десять лет приведи ко мне сына, которого ты понесешь...

При этих последних словах почудилось Феклуше, что она с большой горы валится вниз, в груди совсем захватило дыхание и в горле словно что-то застряло, колени, как крылья у ширяющей птицы, взметнулись, руки упали, отбитые, вниз, глаза замутились, ничего больше Феклуша не видит, ничего больше Феклуша не слышит... только, как первый весенний гром прогремел, промолотил конь хрустальным копытом по горбтому мосту через Дубну и по всему поречью за ним на тысячу голосов прогремело...

\* \* \*

Должно быть, от этого стука конских копыт и проснулась Феклуша: на мосту и в самом деле стояли чубарые кони, над коренником золотилась на восходе крутая дуга, на дуге привязан на сторону за язычек большой колоколец, чтоб зря до время не болтал перед дальней дорогой, по оброти чилинькали мелкие бубенчики, нельзя кореннику ногой переступить, как они уж всполохнутся и на самые разные лады прозвенят...

С просенок чуть разглядит Феклуша, как пристяжки помахивают по сторонам головами и все разом тянутся к Петру Еременчу, который перегнулся с веревкой в руке за мостовые перила и ведерком в Дубне черпает им свежую воду...

Феклуша схватилась за голую грудь и вскочила на ноги, кой-как натянула на себя станушку и, когда нагнулась поднять с земли сарафан, из-под станушки на желтый побережный песок упала еловая шишка, повыше колен осталась смола и на смоле розоватые ее шелушинки... как первая девичья кровь.

Покраснела Феклуша, вспомнивши сон, накинута поскорей сарафан и, подобравши подол, побежала к воротам...

\* \* \*

По мельничному двору расстановисто ходили белые кахетинские куры и в середине два петуха, один белый, словно в снегу, другой с красным отливом турецкой породы. Возле телеги с оглоблями, завязанными кверху на чересседельник, кружился на одном месте черный лосный индюк, распустив с носа бахромистую розовую кисть и надувшись перед телегой каждым пером: на телеге, пощипывая перья, индюшка равнодушно расставила лопаточкой хвост, а из небольшого окна, в которое домовой ходит, вытянула вниз рыжую голову с белым яблоком посередине рогов корова-доенка и большим языком достает у стены молодую крапиву...

По всему было видно, что ни Спиридон Емельяныч, ни Маша еще не вставали...

Феклуша, не торопясь, пошла на крыльцо, дверь была так же чуть приоткрыта, как оставила она вчера ее за собой, потому что думала скоро вернуться...

Заглянула Феклуша за дверь и почему-то для себя непонятно она почувствовала большую радость, что никто не заметил, как вернулась домой, и вчерашняя встреча с отцом на плотине и разговор с ним, чудной и непохожий на всегдашние их разговоры, теперь Феклуше кажутся сном, про который, не дай бог, если узнает Спиридон Емельяныч...

С крыльца Феклуша обернулась и на минуту осталась в двери, держась за широкую скобку: с крыльца видно далеко Дубну и она кажется теперь Феклуше еще синей и роднее: в том самом месте, где



вчера она искупалась, на желтом песке лежал ее кумачевый платок, забыла, должно быть, Феклуша его второпях, а вокруг него бегают кулички - песочники, виляя хвостами и поминутно кланяясь друг дружке головками, будто поздравляя с чем-то друг друга и тихо по-свистывая в свои тонкие камышевые дудочки, по голосу схожие с теми, какие делают у нас чертухинские подпаски по весне из рябины... Далеко, далеко, где поворачивает Дубна на Гусенки, низко над нею нагнулся русоголовый месяц, глаза у него полузакреты, губы словно что шепчут сквозь утренний сон и облако под ним похоже на белого коня с пенной гривой, какого видела Феклуша во сне..

— Надо Маше сказать... не снимет ли вода с нее худобу!..— подумала Феклуша и, улыбнувшись молодой и счастливой улыбкой, скрылась за дверью...

### Т ю р я

Не знаю, как вы, а я большой лихвы в красном слове не вижу!..

Что из того, что Петр Кирилыч к тому, что и в самом деле с ним, как потом увидим, случилось, немного, может, прибавил, потому что едва ли... едва ли кто поверит рассказу про этих самых русских девок с Дубны и даже в самом лешем Анютютике усумнится и заподозреет, что это просто перерядился хитрый мельник Спиридон Емельяныч, чтобы половчее, да язозанятней сбыть с рук залежалый товар — свою Непромыху, от которой по невзрачности ее у парней вередуха на глаза садилась...

Теперь проверить все это трудно... Может и так, а может и этак, ревизию тут не наведешь, а рассказать все, как было, немного привравши — не великий грех: не человека убить!..

Пойди сейчас на Дубну и просиди хоть ради проверки десять ночей подряд и пропяль все глаза, как дурак — все равно ничего не увидишь!..

Теперь уж и мельницы нет, и плотины после нее не осталось, от большого леса на берегу торчат только пни да коряги и сам Боровой Плес теперь похож на большой и нескладный мешок с прорехой в том месте, где раньше с запруды вода выгибала крутую лебединую шею.

Только должно быть от подводного терема, в котором некогда жила дубенская царевна Дубравна, из воды большие сваи торчат. Али может и от плотины, хотя вернее, что и не так, потому что лес в воде под песком больно взводит, чист да кругол, таких бревен и в старое время валить на запруду было бы жалко!..

Ну, да много спорить не стоит!..

От плотины, так от плотины, теперь все равно этих самых русских девок не встретишь, ихнее время прошло, как пройдет, видно, и наше, а если и услышишь где-нибудь в стороне версты за две кукушку, так не вздумай за нею считать: наврет, непременно наврет, ты будешь за нею на пальцы класть, со счету собьешься, а тебя может как раз где-нибудь по дороге домой и приколошат!..

Нынче все сроки человеческому житью стали другие, можно сказать, самые неопределенные и, когда тебе придет карачун, и кукушка того даже не знает!..

Может так лучше!..

Так вот с Петром Кирилычем дальше что было: рассказывал все это он сам, а потому остается только поверить, потому что проверить нельзя..

Только бы вот еще, грехом, чего не прибавить!..

\* \* \*

Протосковал весь этот день Петр Кирилыч страсть как!..

До самого вечера пролежал он на полати, закрывши глаза... Кругом ни на что глаза не глядят, грязно в избе и неприветливо, как в пустом амбаре, хоть и не была Мавра грязнухой, но до всего, видно, руки не доходили...

Каждый день уходит она после печки на огороды, ребятня вся с собой, маленький в корзинке под куст, чтоб не бегать каждый час к нему с грудью... А тут на солнышке разоспится и не разбудить!..

Мавре же только этого и нужно: росада от такого тепла может завиться, надо спешить хоть как-нибудь перевалить землю на испод и оббить ее с боку лопатой, чтоб люди не осуждали.

— Ишь,—дескать,—Мавра волохон каких напахтала!..

Аким с утра уходил с большой ковригой в кармане и возвращался только к сутеми: взял он подряд у отца Миколая все перепачать и посеять:

— Своя пашня в лес не убежит и руки на нее дармовые!..

\* \* \*

Когда все из дому ушли, Петр Кирилыч слез с полати и пошнырял немного в залавке: ничего такого, ни яблочничка, ни просяничка, одни только засохлые корки, скопленные Маврой корове...

Только кринки стоят все с верхом, по сметанным сливкам морщинки идут, как на первом ледку по ранней зиме... отпить будет заметно, один разговор опять заведешь:

— Маленький что ли: побойся-ка бога!—вспомнил Петр Кирилыч, как его недавно Мавра оговорила,—ребятишкам мало хватает! Попвалтреп, а любит скоп!..

Потому Петр Кирилыч до молока и не доченулся, а отломил большой ломоть свежей краюхи, густо посолил его, помазал куриным перышком из масленки и с матицы, где висит вязанками над печкой лук, выдрал крайнюю луковицу: лук, как и мужик, любит тепло, в холоду от него такого вкусу не будет!..

Эх, да известна наша мужичья еда!..

В обед тюря, а на ужин—мурцовка!

Едал?..

Ну, если не знаешь, что это такое за тюря с мурцовкой, так объясни, пожалуй, и трудно... то-есть чем отличается мурцовка от тюри... Это тоже на тоже!..

Тюря—хлеб, крошенный лук, квас вожжей и конопляное масло!..

Мурцовка тот же хлеб и тоже лук, только с водой и без масла!

Варют, правда, и у нас, мужиков, по пословице с вершковым наваром серые щи, жарют на сале картошку, инда плавает в нем, как корабли по заливу, томят с кишечными шкварками кашу... но это бывает не круглый год, а больше, почитай, в каждом доме только по осени, когда по первому снежку пастухи наладят домой и перед домом половину стада на дворах перережут!..

В такую пору мужик ходит как именинник, без довольной улыбки мимо бычка не пройдет, по загривку потрѣплет, по хребту проведет и пощупает у него под пахами: дескать, жирен ты, бычок, али так себе, невадашник... Скотина радуется... когда на ножик идет!

А к весне мясо у мужика только во рту!..

\* \* \*

Хорошо знал Петр Кирилыч братнин достаток: долго он вертел, лежа на полати, хлебный ломоть, словно хорошенько хотел приноровиться, с какого боку ловчее его укусить, потом почему-то вздохнул и забрал на белые зубы за обе щеки, с'ел в раз добрую половину и, не доевши, с ломотухой в руках—хлеб в сон клонит, как и вода!—скоро заснул...

Приснилось Петру Кирилычу, что сидит он на берегу дубенского плеса, как барин, против него Боровая мельница и мельницу эту будто получил Петр Кирилыч за дубенской девкой в приданое, через плотину льется то ли вода, покрытая белой пеной, то ли молоко парное, с пузырьками, каким бывает оно перед погодой, и от этих пузырьков во рту даже немного шипит...

Будто сидит Петр Кирилыч у этого молока и макает в нем большим куском белого ситника и в ситнике на мякоти выпеклись ямки и ямки похожи очень на те, какие он видел вчера у Феклуши на круглых и розовых щеках... привиделись они ему потом, когда она сбросила с себя сарафан и станушку, по всему ее созревшему телу, белому и пышному, как хорошо подошедший и в удачу спеченный кулич...

Проспал Петр Кирилыч до самого вечера!..

\* \* \*

К вечеру, когда Мавра вернулась с огородов и тут же уложила ребятишек в постель, Петр Кирилыч раскрыл отяжелевшие за денной сон глаза и не сразу понял, как это и при чем тут Мавра... Мавра перетирала потималкой ложки и перед ней по столу были рассыпаны прозрачные перья с луковичной головки...

Долго глядел Петр Кирилыч на них, в животе словно кто за сон дыру провернул, видно, человек во сне и ситником сыт не бывает... Пронька, старший сынишка, сидел за столом и глядел в чашку с мурцовкой, как большой, потом возвратился к сутеми с поповой десятины Аким..

Не скоро Аким рассупонил чуни в углу, сполоснул руки над лоханкой, и, когда потом крестился на образ, Петр Кирилыч хорошо разглядел, Аким немного, как от тихого ветру, шатался...

— Насилу, видно, бедный устал! — укоризненно сказала Мавра, тоже заметившая это легкое пошатывание Акима и его осунувшееся за день лицо, — а Петра вон на полати блохи никак не разбудят!.. Храпит и храпит!..

А Петр Кирилыч и вправду храпел, глаза отводил!..

— Не трожь, спит! — сказал Аким и сел к столу за мурцовку...

\* \* \*

И не заметил никто из домашних, как слез Петр Кирилыч с полатей и вышел на улицу...

Только, когда стали укладываться спать, хвятились, что Петра Кирилыча нет...

— Вот ты говори, как провалился! — сказала Мавра, сложивши руки на животе, — видно, опять под мост ушел!..

— Ты бы, Мавра, немного... того... язык прикусила... а то, видно, ему как нож возле глотки: как-никак: все же брат!..

— Ну к, что ж!..

— Вот женится... тогда дело другое!..

— Да на ком... покажи пальчиком... Полно рассусоливать зря: женится, женится, а кто за такого пойдет?.. Веряя с изгороды да и та надумается...

— Бог с тобой, Мавра: тебя не переговоришь... только видишь — на нем лица нету!..

— А уж у тебя больно круглое! вот кругло-то: кругол как поднос, один только нос!..

— Работа, Мавра... работенка!..

— То-то и я-то про то же про самое! — тихо и боязливо говорит Мавра, показывая Акиму на спящих на полу в повалку детей...

— Знаю, Мавра... вижу не хуже другого... как-нибудь...

— Задерешь вот каряжки: что с ними мне делать!..

Акиму ничего ей не ответил, повернулся к стене и захрапел...

\* \* \*

Мавра ткнулась было в передник, поплакала по бабьей привычке, потом поглядела на прожелтевшие офтоки Акима, из которых как палки из осохлого горошника смотрели Акимовы ноги, махнула рукой и стала стелить себе на полу рядом с ребятишками...

— Хоть все плачь!

Легла она на пол, положила под голову руки и тоже заснула...

Изба потонула в зеленом свете от луны, бьет она в окно и сыпит зайчиков по стенам, отражаясь на медном брюхе стоящего в углу самовара... Дужки в сторону, камфорка на бок, смотрит таким фертом на спящих хозяев.

За печкой чуть чиликнет сверчок, все тонет в заклипистом храпе... Трудно было бы спать мужику после тяжелой работы, если бы не дана была ему свыше эта богатырская повадка храпеть...

### Бобылья пустошь

Прошел Петр Кирилыч задами, боялся, чтоб кто-нибудь не увидел да перед дорогой не сглазил... дошел до сельской изгороди по огородам и долго простоял около нее. Прислонился Петр Кирилыч к изгородней верейке и низко на поворину опустил голову: куда теперь итти и за что теперь приниматься после того, что с ним произошло за прошлую ночь?..

— Небесная царица, что со мною творится!..

Вспомнил Петр Кирилыч последний Антютиков наказ постеречь на Дубне.

— Авось, на удачу опять выйдет купаться... тут тогда...—но что тогда будет тут—едва ли сам Петр Кирилыч решил хорошо...

— Самое главное—в рот ворон не ловить!..

Было все вокруг Петра Кирилыча по-вечернему тихо, с Дубны, покачиваясь и клубясь, нехотя на тихом ветру опять плыли завернутые с головою туманы, и за чертухинским лесом на Красном лежала низко заря, как кумачевый платок на голове у Феклуши...

Все притихло и затаилось, словно спряталось с глаз, должно быть, к утру ударит последний холодок на сорокового мученика, только недалеко на поляне, расправивши хвост, похожий на лиру, на которой играл царь Давид до той поры, когда еще не умел слагать псалмов и поститься, на одном месте кружился черныш и чувывкал.

— Чфу...жой!.. чфу...жой!..—выговаривал черныш, а Петр Кирилыч отвечал ему:

— Свой!.. свой... болбонь себе... на здоровье!

Потом черныш вдруг привскочил над землей, расправил к земле крылья, зачертил ими сердито и на всю округу заболбонил, бул-бул-бул-бул-бул, словно из большой бутылки вода полилась, и за ним на многие версты забормотала сквозь сон сырая весенняя даль...

Заслушался Петр Кирилыч птицу...

Только когда все село потемнело и за плечами завернулось в туман, он осмотрелся вокруг и увидел, что стоит на братнином огороде, где он в прошлом году с Пронькой чучело ставил, чтоб пугало воробьев от гороха... Чучело широко расставило балахонные руки, хочет в темноте поймать Петра Кирилыча, да, видно, со-слепа никак не поймают.

Тыркнул его ногой Петр Кирилыч и перескочил через забор...

\* \* \*

Заторопился Петр Кирилыч, зашпешил, словно боялся куда опоздать... За небольшой луговиной, где полднюет сельское стадо, шли пустоша, за пустошами боровая дорога!.. Почему-то свернул на них Петр Кирилыч, должно быть, опять побоялся кого-нибудь встретить и навести на ненужные пересуды и толки...

...Редко бывает и в наши дни человечья нога на этом месте, не смотри, что совсем возле села... Спокон века растет на нем чахлая ивушка небольшими кустами, издали кусты, словно в бабьих юбках, раздутых ветром по подолу,—по-нашему деревенскому: болотный бредник!

Шумят они, словно бредят, как в беспокойный сон больной человек: никогда-то им нету покою!..

И словно на этот докучливый шум прибегли из леса похиленные на бок убогие елочки, с большими горбами на спине и с загнутыми в сторону ветра вершинками, с ручками, расставленными далеко вперед, ощупью идут по болоту... но не найти им дороги назад к большому матерому лесу, так и будут всю жизнь расти в боковую ветку с покорным поклоном суровому зимнему ветру, завязивши в топкой земле корявые лапти, только и дожидаясь поры, когда их подрубит под голень тупой топор бобылихи...

Оттого это место и прозывалось: Бобылья пустошь!..

Бобыли из Чертухина рубили на ней безо всякой дележки...

Только мало было охотников, рубили, что поближе к дороге, а подальше—такие места: не вытянешь ноги... кочки так и запихают в разные стороны, растут они в этом месте с сотворения мира и к нашей поре были по самый пуп человеку!..

Не любили мужики этого места!..

\* \* \*

В эту-то пустошь и вломился Петр Кирилыч, не захотевши итти по дороге...

Так и шумит со всех сторон на него прошлогодняя осока, словно грозит, выставила она с коч колючие усы, и чудится Петру Кирилычу, что у каждой кочки на осочной плечи сидит, завившись кольчиком, змея-медяница и вместе с осокой шипит на него и тянет к нему желтое жало...

Почти на самой середине пустоши Петр Кирилыч остановился и перевел дух... Ощупал он ногой высокую кочку, нет ли змеи, присел на нее и стал с лица и шеи вытирать пот полою рубахи... рукой подать, кажется, до матерого леса, а еще итти: конца края не будет болоту, и кусты дальше грудятся и сбиваются в кучи и словно кого подолами прикрывают—распушились ветками книзу...

— Ну и место... чортово тесто!..

Только это Петр Кирилыч сказал или подумал, как опять, как и тогда под окном у Ульяны, крепко кто-то сзади его обхватил и не успел Петр Кирилыч назад обернуться и ахнуть, как почувствовал у себя на щеке знойную щеку и у губ рот, тухлый, как куриный болтун...

— Князь мой ненаглядный!.. Петр мой Кирилыч!..

У Петра Кирилыча мураши по коже побежали:

— Тетка Ульяна? Откуда ее?..

Со всех сил рванулся Петр Кирилыч в сторону и повалился меж коч... видит из-за кочки: Ульяна стоит как ни в чем не бывало и чуть заметно улыбается на него...

— Ты долго будешь... шутить, тетка Ульяна?—тихо спросил Петр Кирилыч, приподнявшись с земли...

— Окстись, Петр Кирилыч... мне не до шуток... вот ведь где встретиться довелось!.. Ну да я-то и рада...

— Зато мне радости мало...

— Чтой-то, Петр мой Кирилыч... с чего же?..

— Эй, Ульяна... не будет добра!..

Петр Кирилыч присел на кочку против Ульяны, Ульяна положила возле себя на кочку беремя и к Петру Кирилычу подвинулась ближе.

— От добра, Петр мой Кирилыч, добра не ищут... как уж там хочешь, а свое я возьму... потому распалилась!..

— У... погань!..

— Не погань, Петр мой Кирилыч... кабы лопать самому не пришлось, лучше меня ведь все равно на всем свете не сыщешь!..

— Это тебе, дуре, кажется с тюри!..

— То-то и дело-то, что тюрю в глаза не вижу... не гляди, что бобылка: я такая стряпуха!..

— Была бы курочка, сварит и дурочка!..

— Вот уж не так, так не этак... ты вот из житной муки ситный сиеки!..

— Спечешь оклякыш, поешь—заплакашь!..

— Да уж знаю: балакирь!.. Оттого и глаза на тебя повесила... давай, Петр мой Кирилыч, решать дело по-хорошему!..

— Я от хороштва, тетка Ульяна, не прочь... отстань от мене и только делов: ты в гости, а я—домой!..

— Мой, Петр мой Кирилыч, мой!.. Всю жизнь будешь есть один только ситник... знаешь ситник кто ест?..

— Нет, уж не знаю, а врать не хочу...

— Ангелы божьи на небе да бары!..

— Ну и пускай их жрут на здоровье... намажь ты себя, проклятая, медом и то... Ульяна: разве, что... с пьяна!..

— Пожди... пожди!..

— У-у я у-у-х... проклятущая!..

— Прощай, балакирь... помни про ситник и тетку Ульяну!..

\* \* \*

Заколыхалась осока перед Петром Кирилычем и самого его понесло поверх ее колючих усов, вот уже настороженно выстроился за пустошью лес, темный он и торжественно-строгий, как столоверский поп с дарами в руках... на еловых макушках четко обозначились крестики и над каждым крестом горит большая звезда..

Петр Кирилыч вытер пот полою рубахи и, перекрестившись, вошел в темный, пахнущий еловыми шишками ельник..

*(Продолжение следует)*

—



## Стихи о стихах

ПАВЕЛ ДРУЖИНИН

По-былому еще, по-бывалому,  
На деревне кричат петухи,  
Только мне, несуразному малому,  
Заменяли деревню стихи.

Только я, голова непутевая,  
Растрянжиря всю радость не в прок,  
Разменялся на строчки дешевые  
За насыщенный и горький кусок.

И, мечтая мечтами вчерашними,  
О которых давно позабыл,  
Я в кухмистерских щами домашними  
Разжигаю лирический пыл.

Бредит дух мой избой да буранами  
На Тверской в сумасшедших гудках,  
И хрустят под гармонь сарафанами  
Молодицы в веселых платках.

Льется пестрой горячей приманкою  
Из витрин кумачевый мой Май,  
Оттого-то звенящей тальянкою  
Мне и кажется бойкий трамвай.

Оттого-то бродяге таковскому,  
Не глядящему больше назад,  
Показались бульвары московские  
За отцовский запущенный сад.

И стихи мои — думы сермяжные —  
Не с простецкого ли ума  
Упираются в многоэтажные,  
Как в родимые избы, дома?

Потому-то ведь за разговорами  
О сохе ли там, о бороне,  
И крестьянская смесь с переборами  
Разгорается пуще во мне.

Но, большее склоняясь к городу,  
Уж не раз с беспричинной тоски  
Мужикам я подклеивал бороду  
Лишь затем, что они мужики;

Лишь ватем, что за лучшее лучшего  
Не дала мне злодейка-судьба,  
Я тащусь за тобою послушливо,  
Поэтическая голытьба.

И пою, как поют по-бывалому  
Все парнасские петухи,  
Оттого, что крестьянскому малому  
Заменили деревню стихи.

---

## Два стихотворения

НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ

\* \* \*

Ночные птицы пели в лесу  
На тяжелых, косматых ветках,  
Горели костры и роняли росу  
Сырые, упругие ветры.

На том берегу—гигантский костер,  
Москва потухающая догорала  
И, как оперение тучи, простер  
Восток над землею, окрашенный в алое.

И, словно качели, качнуло восток  
И выросло солнце, большое, багровое,  
Косые лучи легли на песок  
И стали забираться на Воробьевые.

Вода становилась желтей куполов,  
И синяя дымка над городом таяла,  
И на середине реки, под веслом,  
Ворчала вода, разговаривая.

Рассвет начался, становилось светло,  
Мы вышли с тобою на берег и—замерли.  
Мы поняли этот восход—и без слов  
С твоими глазами сплетались глаза мои.

О, мощная лирика. Ты подошла  
Вплотную к обоим, такая суровая—  
И мне ль позабыть перелеты весла,  
Глаза, голоса, да леса Воробьевые?

\* \* \*

Помнишь—блеск веселых глаз,  
Над полями тишина,  
Старый шаткий тарантас  
И весна, весна, весна?

Чуть дыша, мелел закат  
И огромная черта—  
Красной жидкостью река  
За края перелита.

Захлебнувшимся мостом  
Мы ее пересекли.  
Помнишь тихий темный дом,  
Показавшийся вдали?

... А потом рассвет. Пешком  
По ромашкам и овсам  
Из шиповников венком  
Ты закрыла мне глаза.

У березовой черты  
Мрак, трава, шиповник, ров,  
Земляника и цветы,  
Гомон птиц и стон жуков.

О, как сладко я дышал.  
Я не думал никогда,  
Что бывает хороша  
Жизнь не только в городах;

Что в подобной тишине  
Под березовым шатром  
Хорошо тебе и мне  
Мерить дни наедине  
Земляничкою и сном.



# Из молодых лет Максима Горького<sup>1)</sup>

(По новым материалам)

АЛ. БЕЛОЗЕРОВ

## 5. „Бунт против верховной власти“

В начале 1901 года возникает новое «дело, № 116—291, об Алексее Пешкове, Степане Петрове, Вере Кольберг и др.», в связи с которым привлекалось до 15 лиц, в том числе А. В. Яровицкий-Корнев, студенты и курсистки, высланные за беспорядки из Москвы. Дело начинается шифрованной телеграммой директора деп. полиции Зволянского из Петербурга на имя нач. ниж. жандармского управления, от 13 марта 1901 г., № 26136:

«Известный вам Алексей Пешков, он же Горький, и нижегородский житель, сотрудник журнала «Жизнь», приятель Горького, некий Петров, приобрели здесь мимеограф для печатания воззваний к сормовским рабочим. Мимеограф отправлен 10-го марта через транспортную контору в Н.-Новгород, в адрес печерской аптеки Кольберга—Вере Николаевне (Кольберг). Благоволите установить за получением этого мимеографа тщательное секретное наблюдение и отнюдь его не арестовывать, выяснить осторожно: куда будет отвезен и поставить на место наблюдение. Дальнейшие указания почтой».

Действительно, через день по почте поступила «совершенно секретно» бумага за № 809, датированная еще 12 марта, со следующими указаниями:

«По выяснении места, куда будет отвезен мимеограф, надлежит поставить там самое осторожное секретное наблюдение и выждать для производства обысков и арестов удобного момента. Желательнее всего было бы взять мимеограф вместе с лицами в самый момент воспроизведения ими предположенных воззваний к сормовским рабочим; если бы осуществление этого плана почему-либо оказалось неудобноисполнимым, то надлежит произвести ликвидацию прикосновенной к этому делу группы тотчас же по появлении первого воззвания, при чем желательно включить в оную, *но исключительно на основании данных наружного наблюдения* (Курсив мой. А. Б.) Алексея Пешкова и Степана Петрова, которые в настоящее время пока еще находятся в Петербурге. Сведения о мимеографе получены из совершенно секретного агентурного источника, а потому с ними надлежит обращаться с особой осторожностью и в предстоящей ликвидации поставить дело так, как будто оно возникло исключительно на основании местных данных, а не указаний из Петербурга».

<sup>1)</sup> Окончание. См. № 3-й «Нового Мира».

Не довольствуясь этим и не выждав результата наблюдений за мимеографом, департамент полиции 15-го апреля, через день, шлет новую шифрованную телеграмму:

«При ликвидации обыщите и арестуйте Алексея Пешкова и Степана Григорьева (Гаврилова?) Петрова *обязательно*»<sup>1)</sup>.

Во исполнение этого категорического приказа, жанд. управление, несмотря на то, что у него *не было решительно никаких фактических данных* против Горького и Скитальца, начало, однако, свои действия. 16-го апреля оно прежде всего сообщило прокурору окружного суда, что

«проживающие в Н.-Новгороде писатели А. М. Пешков и С. Г. Петров в целях преступной пропаганды приобрели мимеограф и что при участии вышеназванных лиц в настоящее время в квартире Зиновия Свердлова производится изготовление воззваний или друг. произведений, долженствующих возбудить сормовских рабочих к майским беспорядкам», а потому просило «назначить чинов прокурорского надзора для намеченного в ночь на 17 апреля обыска у Пешкова, Петрова, Кольберг и Свердлова».

В ночь на 17 апреля обыски были произведены; при чем у М. Горького в качестве вещественных доказательств его преступности было отобрано: 1) обширная переписка, заключающаяся в письмах и литературных набросках; 2) стихотворение, озаглавленное «На мотив Марсельезы»; 3) воззвание под заголовком «Опровержение правительственного сообщения»; 4) написанное карандашом на листе почтовой бумаги стихотворение, начинавшееся словами «Сейте студентов по стогнам земли»; 5) написанный чернилами на листе писчей бумаги конспект обстоятельств, касающихся содержания под стражей студ. Германа Ливен и его смерти, начинавшийся словами: «Был взят и содержался в предварительном заключении 14 февраля 1899 г.», и 6) написанное частью чернилами, частью карандашом на листе линованной бумаги прошение родителей студ. Герм. Ливен к прокурору московской судебной палаты. Между прочим, во время обыска у А. М. Пешкова находился самарский нотариус А. А. Смирнов.

Вместе с этим оба писателя были арестованы и препровождены в первый корпус нижегородской тюрьмы<sup>2)</sup>, а жандармское управление обогатилось новым «делом». По соглашению с прокурором нижегородского окружного суда Утиным, оно в отношении М. Горького постановило:

<sup>1)</sup> Эта спешность и настойчивость об аресте М. Горького кажется особенно странной. Не имело ли все это связь с предстоявшим избранием М. Горького в почетные члены Академии Наук, против чего особенно восставала придворная камарилья, добившаяся в конце концов его неутверждения в этом звании. Может быть, надо было создать прецедент для неутверждения?—А. Б.

<sup>2)</sup> А. М. Пешков, очевидно, был помещен в каменную круглую башню № 4, на стенах которой и на маленьком окне, на высоте одной сажени от пола, пишущий эти строки, будучи в 1904 г. посажен туда же, видел надписи «М. Горький» и «Здесь был заключен М. Горький».—А. Б.

«Приступить по содержанию приведенных данных (результат обыска) к производству формального дознания по признакам преступления, предусмотренного 250 ст. ул. о нак.», при чем нач. жанд. управления «нашел, что писатель Ст. Петров, дочь статск. советника Вера Кольберг и Зиновий Свердлов в достаточной мере изобличаются в принадлежности к революционному сообществу, поставившему себе целью противоправительственную пропаганду среди рабочих сормовских заводов, при чем преступная деятельность их выразилась в изготовлении воззваний, а в отношении Петрова и Кольберг, сверх того, в приобретении для этой цели мимеографа, а потому постановил: привлечь их к настоящему дознанию в качестве обвиняемых по 250 ст. ул. о нак.».

К ним же была причислена и привлечена к этому делу гимназистка 7 кл., Лидия Ив. Соколова, только потому, что жила в кв. Свердлова. Кстати, ни у Свердлова, ни у Кольберг, ни у Соколовой мимеографа не было найдено, а также и отпечатанных на нем «воззваний преступного характера», кроме нескольких лоскутков каких-то обгоревших прокламаций. Между тем этот мимеограф составлял для жандармов и прокурорской власти главную основу для обвинения писателей по 250 ст. ул. о нак. («бунт против верховной власти») и к их аресту. Насколько все это было неосновательно, говорить нечего. В данном деле на опросном листе жандармами была сделана отметка, гласившая: «Основания привлечения к настоящему делу—агентурные сведения, имеющиеся в нижег. жанд. управлении». Вот и все.

А Петербург, особенно почему-то заинтересованный этим делом, нервничал и слал жанд. упр. одну телеграмму за другой. 18 апреля 1901 г. уже петербургское охранное отделение, в лице полковника Пирамидова, телеграфировало шифром:

«Прошу обыскать, арестовать охране (в порядке охраны. А. Б.) литератора Степана Григорьева (?) Петрова, результатах сообщить отделению».

Оно опоздало. В тот же день ему было отвечено, что «в ночь на 17 апреля оба литератора Петров и Пешков арестованы и привлечены по 1035 ст.» (Указанн. статья дает право начать формальное дознание. А. Б.). Вместе с литераторами были арестованы Зин. Свердлов и Лид. Соколова, кроме Веры Кольберг, которая почему-то составила в этом случае исключение (очевидно, как дочь статск. советника) и по отношению к которой жандармы ограничились «отдачей под особый надзор полиции». В тот же день, 18 апреля, департамент полиции также шифрованной экстренной телеграммой требовал «немедленно телеграфировать результат ликвидации группы, в том числе результат обыска у Горького и Петрова». Ниж. жанд. управление с сожалением телеграфировало, что «при обыске явно преступного не обнаружено, обширная переписка просматривается». Вместе с этим почтой дополнительно было сообщено, что «получение мимеографа, адресованного В. Н. Кольберг, наблюдением не установлено». Действительно, жандармская агентура в течение нескольких дней цупала все жел.-дорожные посылки, но ничего подходящего не нашла.

Тем не менее, оба писателя «благополучно» сидели в тюрьме. Как только они были арестованы, жандармское управление по согласию

с департ. полиции сделало распоряжение в почт.-тел. контору «об изъятии всей корреспонденции, поступавшей на имя Пешкова, Петрова и Кольберг и доставлении таковой в жандармское управление». Корреспонденция или задерживалась совсем в жанд. управл. или по просмотре передавалась в распечатанном виде и под расписку. По этому поводу М. Горький злобно писал жанд. управлению:

«Уж если это безобразие—перехватывание писем и телеграмм—необходимо и оправдывается законом, нельзя ли, по крайней мере, телеграммы-то не задерживать? А. Пешков».

Тюремное заключение, несомненно, усугубило болезненное состояние М. Горького. По распоряжению департамента полиции, основанному, как можно предполагать из переписки, на требования жены М. Горького—Екат. Павл. Пешковой, 2 мая его в тюрьме освидетельствовали казенные врачи: Доморадский—тюремный врач и Покровский—городовой врач, которые, к удивлению других, признали чуть ли не «благотворное влияние тюрьмы» на туберкулезного писателя. Между тем Горький в течение уже 4-х лет поддерживал свое здоровье (развитие туберкулеза) поездками на юг и в Крым, где его постоянно лечили ялтинские врачи А. Н. Алексин, А. В. Средин, А. П. Чехов и почетн. лейб-медик Тихонов. Правда, к данному моменту изнурительные поты у него как будто прекратились, но старое кровохаркание с весны возобновилось.

5 мая Е. П. Пешкова просила прокурора назначить переосвидетельствование её мужа при участии местных врачей Грацианова, Золотницкого и Долгополова. Одновременно аналогичное ходатайство было послано в департ. полиции, который, наконец, согласился на это и написал жанд. управлению, «смотря по обстоятельствам освидетельствования, обсудить вопрос о замене тюрьмы домашним арестом». Врачебное переосвидетельствование состоялось 16 мая в присутствии нач. жанд. управления ген. Шеманина и прокурора Утина, которые упомянутым врачам, как лицам либерального образа мыслей и лично знакомым Горькому, не доверяли. Врачи признали:

«Пешков страдает хроническим туберкулезом обеих легочных верхушек. В виду того, что болезнь требует климатического лечения и что со 2 мая в его здоровья наступило резкое ухудшение, врачи пришли к единодушному заключению, что дальнейшее пребывание его в тюрьме губительно повлияет не только на его здоровье, но и на жизнь».

8 мая М. Горькому был сделан первый допрос, который [по существу дела ничего жандармам не дал, а 17 мая, ровно через месяц тюремного заключения, он был освобожден «с заменой этой меры пресечения домашним арестом». (Жил тогда А. М. Пешков на Канатной ул., в д. Лемке, где когда-то жил и В. Г. Короленко.) В тот же день, 17-го мая, жанд. управление писало департаменту полиции:

«1) что замена тюрьмы домашним арестом в отношении Пешкова желательна самая кратковременная, а именно: впредь до ожидаемого в близком будущем разрешения от бремена жены его, с тем, чтобы после родов последней он немедленно был бы удален из пределов Нижегородской губ.; 2) что по об-



стоятельствам дела возможно ограничиться менее строгою, чем содержание в тюрьме, мерой и в отношении Петрова (Скитальца), с отдачей его, если не встретится препятствий со стороны департа. полиции, под особый надзор полиции, но при условии удаления также и его из Нижегородской губ.; и 3) в интересах дела, необходимо приобщить к оному всех имеющихся в распоряжении департамента полиции данных, в том числе и агентурных сведений (у жанд. управл. данных почти не было. А. Б.), касающихся характеристики преступной деятельности Пешкова и Петрова».

24 мая <sup>1)</sup> департа. полиции ответил, что

«против освобождения из-под стражи А. М. Пешкова (он уже был к этому времени освобожден. А. Б.) и С. Г. Петрова препятствий не встречается. К удалению же Пешкова из Н.-Новгорода оснований не представляется, т. к. он приписан к Н.-Новгороду и там будет больше находиться на виду, нежели в другой местности».

29 мая тот же департамент запрашивал, нет ли в делах арестованной группы М. Горького каких-либо данных относительно воззвания «Опровержение правительственного сообщения», которым оно было заинтересовано. Жандармам пришлось ответить департаменту, что

«в числе рукописей, отобранных у разных лиц, имеется несколько произведений, *аналогичных* по содержанию с упомянутым воззванием, но *значительно отличающихся* от него редакцией и подробностями изложения различных фактов».

Благодаря хлопотам Екат. Павл. и друзей М. Горького, 3 июня департаментом полиции домашний арест с М. Горького был снят, однако с отдачей его под особый надзор полиции <sup>2)</sup>). Хотя дело Горького еще не закончилось, но он почувствовал себя свободнее и возобновил вынужденно прекращенную переписку со своими друзьями. Однако эта переписка все-таки попадала прежде всего... в жандармское управление, передавалась ему уже в просмотренном виде, за исключением компрометирующей, которая оставалась в жанд. управлении и подкладывалась «к делу Горького». Так, 15 июня на его имя поступило письмо из Берлина от некоего И. Роде с предложением издать там все его сочинения, воспрещенные русской цензурой. Это письмо жандармы оставили у себя и М. Горький едва ли его видел до сих пор.

Точно также было задержано интересное письмо американского писателя Германа Розенталя из Нью-Йорка. В этом письме, между прочим, говорилось, что «повесть «Фома Гордеев» и друг. изданы в Америке на английском языке и что американцы вообще начинают печатать и малые очерки Горького». Розенталь писал дальше:

«Что вы, сударь, опять на свободе—это прекрасно. Если бы бюрократы были умнее, они поняли бы, что такие тюрьмы не в состоянии сократить силу идеала. Тот, кто родился свободным, всегда останется свободным, если только пожелает... Я сам достаточно дрался против мрака в старом и новом свете.

---

<sup>1)</sup> Этого числа была освобождена из тюрьмы арестованная по делу Горького гимн. Лидия Соколова, с отдачей под надзор полиции.

<sup>2)</sup> Этого же числа освобожден был арестованный по делу М. Горького Зинн. Свердлов и также с отдачей под особый надзор полиции. А. Б.

Но теперь пришел и заключение, что такие поэты, как вы и я, одним махом пера иногда больше добра сделают, чем всякой практической агитацией. Я довольно близко знаком с положением в России и могу предвидеть прекрасную будущность для нее, когда массы начнут сознавать свои права... На-днях я читал лекцию в американском обществе и предсказывал вам великую будущность. Старайтесь оправдать мое предсказание... Я должен писать на различных языках, а поэтому простите угловатость моего слога... Советую вам изучить хотя один иностранный язык, скажем—немецкий. Крепко жму вашу руку. Герман Розенталь».

Заметим кстати, что письмо американца в данный момент любопытно в двух отношениях. С одной стороны, он как будто отрицательно смотрел на «всякую практическую агитацию», а с другой «предвидел прекрасную будущность России, когда массы начнут сознавать свои права». Здесь несомненное логическое разноречие: «рабочие массы сознали свои права» может быть очень давно, но «прекрасную будущность» России завоевали именно «практической агитацией» и *практическими действиями* только частью в 1905 г., больше—в феврале 1917 г. и окончательно—с 25-го октября 1917 г. Во всяком случае, предсказание знаменитой будущности М. Горькому—весьма знаменательно.

20 июня литератор П. Сергеенко письмом от имени петербургского издателя А. Ф. Маркса предложил М. Горькому издать его сочинения в названном издательстве, но это письмо также не дошло до Горького: оно нашло себе покой, как и многие другие, в клоаке жандармского управления. Прямо поразительно, с какой бесцеремонностью обращались эти слуги мрака и насилия с частной корреспонденцией, даже ничего общего не имеющей с политикой. Несколько позднее Горький узнал, конечно, об этом предложении, но на издание Марксом своих сочинений не согласился, т. к. был заинтересован издательством «Знание».

Дело М. Горького тянулось, переписка не останавливалась. 2 августа деп. полиции опять запрашивал жанд. управление:

«Производится им в порядке охраны самостоятельно возбужденная 17 апреля переписка об А. Пешкове, С. Петрове и других или таковая прекращена в виду возбужденного о названных лицах формального дознания?».

Жанд. управление ответило, что

«переписка в порядке охраны одновременно с привлечением их к формальному дознанию производилась самостоятельно в виду тесной связи этих обвиняемых с деятельностью прочих, привлеченных к переписке, лиц. Переписка заключена, но еще в установленном порядке не направлена».

На другой запрос жанд. управление 9 августа сообщало деп. полиции, что

«допрошенный вторично в качестве обвиняемого по содержанию воззвания «Опровержение правительственного сообщения» и стихов «На мотив Марсельезы» А. М. Пешков не признал себя виновным в составлении, а равно и в участии в составлении этих произведений, при чем об'яснил, что первое ему знакомо по содержанию, т. к. приблизительно на Пасхе этого года один экземпляр этого воззвания был прислан ему неизвестным лицом по почте в Н.-Новгород. Откуда было послано это воззвание, Пешков не знает, т. к. не обратил внимания

на почтовый штемпель конверта. По прочтении воззвания он будто бы его сжег. Что касается стихов «На мотив Марсельезы», то, по его объяснению, он никогда не читал и не видел их и авторы этих произведений ему неизвестны».

25 августа ротмистр Осипов препроводил переписку о М. Горьком и Скитальце своему начальнику, об'ясняя, что она затянулась в ожидании разрешения вопроса—подлежит ли Пешков допросу в качестве обвиняемого по содержанию стихов «На мотив Марсельезы» и воззвания «Опровержение правит. сообщения» или нет, т.-е. к охранной переписке или же к формальному дознанию. Только 30 июля после раз'яснения на этот счет деп. полиции и кончившегося по этому вопросу пререкания с прокурорским надзором (какое пререкание—неизвестно, но, судя по заключению Осипова, прокурор был против привлечения Горького к формальн. дознанию. А. Б.),—8 августа был произведен вторичный допрос Пешкова в порядке уже 1035 ст. уст. уг. суд.

В июле М. Горькому было разрешено временно переселиться на дачу «Моховые Горы» (левый берег Волги, несколько ниже Н.-Новгорода), а 30 августа семеновский уездный исправник уже доносил по начальству, что «особый надзор полиции за литератором Алексеем Максимовичем Пешковым, прибывшим на «Моховую Гору» (?) около 20 июля, учрежден».

Ему не давали покоя даже на даче. Нач. жанд. управления, ген. Шеманин, усиленно добивался высылки Горького из пределов Нижегородской губ. В его «постановлении о М. Горьком и Скитальце» от 10 сентября 1901 г., между прочим, говорится

«Что касается Алексея Пешкова, Степана Петрова, Зиновия Свердлова и Лидии Соколовой, то в отношении их полагал бы более целесообразным рассмотреть данные, имеющиеся в настоящей переписке, совместно с производящимся дознанием по обвинению их в преступлении, предусмотренном ст. 250 ул. о нак. <sup>1)</sup>, при чем в отношении первого из названных лиц (А. М. Пешкова) представлялось бы во всяком случае *безусловно необходимым воспрепятствие ему проживания в пределах Нижегородской губ.*, как районе фабричном и заводском, где влияние его среди рабочих легко вообще может выражаться в форме весьма нежелательной для общественной безопасности и порядка».

В тот же день пришла бумага из департ. полиции, датированная 7 сент. № 12459, которая отчасти удовлетворила желание Шеманина. Департамент писал:

«По рассмотрении в особом совещании обстоятельств дела о литераторе, нижегородском цеховом А. М. Пешкове, обвиняемом в политической неблагонадежности, г. министр внутренних дел постановил: впредь до окончательного разрешения производящегося при нижегородск. губ. жанд. управлении в порядке 1035 ст. уст. уг. суд., дознания о Пешкове, *водворить его под гласный надзор полиции в Нижегородской губ., вне Н.-Новгорода*, в местности по усмотрению нижегородского губернатора» <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> До этого места постановление было проектировано жанд. ротмистром Осиповым, ведшим дело Горького, а дальнейший текст добавлен собственноручно ген. Шеманиным.—А. Б.

<sup>2)</sup> В это же время пришел ответ деп. полиции на ходатайство Зин Свердлова о назначении ему местожительства в г. Екатеринославе; департамент признал это нежелательным, оставив Свердлова, как и Горького, в пределах Нижегородской г.—А. Б.

После краткого дачного «отдыха», в течение которого здоровье писателя, благодаря нервному состоянию, вызываемому постоянным полицейским надзором,—не только не улучшилось, но еще более расшаталось, нижегородский губернатор назначил Горькому местожительство в уездном городе Арзамасе и, вместе с этим, впредь до выздоровления, разрешил остаться в Н.-Новгороде. Легочная болезнь тем не менее прогрессировала и требовала серьезного южного лечения. Это было связано с новым ходатайством пред департ. полиции, который 16 октября, приняв во внимание серьезную болезнь А. М. Пешкова, «милостиво» разрешил ему «переехать на жительство по 15-е апреля 1902 г. на южный берег Крыма, кроме Ялты».

Того же 16 октября ротмистр Осипов «закончил производством дело по обвинению Пешкова, Петрова и др.» и представил нач-ку жанд. управл., а последний 20 октября направил его в следующую инстанцию—прокурору Московской судебной палаты.

Вечером 7 ноября с почтовым поездом М. Горький выехал через Москву в Крым, в Ялтинский уезд, имея в кармане «проходное свидетельство за № 872» или, как его принято называть—«волчий билет», выданный ниж. полицмейстером. В связи с этим отъездом, друзьями и почитателями писателя 7 ноября ему были устроены торжественные проводы, принявшие характер открытой уличной демонстрации, что дало жандармам повод создать новое политическое дело <sup>1)</sup>.

На проводы собралась преимущественно молодежь—студенты, курсистки, гимназисты и реалисты. Было несколько человек из местной партийной интеллигенции. В общем собралось до 100 чел. <sup>2)</sup>. Шли толпой по улице, окружив высокую, оригинальную фигуру М. Горького. Дорогой пели революционные песни и бросали прокламации. Но главное действие проводов было на Моск.-Нижегор. вокзале. Жандармы описывали тогда эти проводы достаточно верно:

«Собравшись в зале I кл. (вокзала), толпа пела револ. песни: «Нагаечку», «Русская Свобода», «Дубинушку», «Выдь на Волгу» и т. п., при этом разбрасывались листки, а когда Пешков пошел к вагону, толпа двинулась на платформу, где продолжала петь и бросать листки. Когда же Пешков вошел в вагон, то из толпы раздались крики: «Да здравствует Максим Горький!», а Свердлов (Яков) добавил: «Да здравствует свобода!». Пешков неоднократно выходил из вагона и просил толпу прекратить волнение, но она не успокаивалась. По отходе поезда толпа направилась в город, при чем продолжала петь и разбрасывать прокламации. Дойдя до здания театра, она остановилась, при чем из нее один выделился, встал на сани извозчика и, махая флагом или белым платком, произнес: «Да здравствует свобода!» после чего начали расходиться».

9 ноября, во время спектакля в городском театре, при полной темноте, с галерки амфитеатра Як. М. Свердлов, плотно окруженный молодежью, в том числе был и пишущий эти строки, произнес краткую

<sup>1)</sup> Дело № 117—292 «о демонстрации 7-го ноября 1901 г.».

<sup>2)</sup> Во главе демонстрации были студенты: бр. Вл. Вл. и Бор. Вл. Морковины, Серг. Моисеев, Серг. Корсак, В. Лубоцкий, Затенщиков, Як. М. и Зин. М. Свердловы и др. Эти фамилии я воспроизвожу по памяти, как участник этих проводов. А. Б.

речь о насилии самодержавия над русскими писателями, в том числе над М. Горьким, который выслан из Н.-Новгорода без суда. Кстати сказать, эти проводы Я. М. Свердлову даром не прошли: его привлекли к ответственности и 3 дек. арестовали, но через два дня выпустили.

12 ноября Горький прибыл в Ялтинский уезд, а 23 апреля 1902 г. выехал оттуда обратно. 26 апреля он снова был в Н.-Новгороде, куда вернулась также и бывшая в Ялте В. Н. Кольберг. В виду того, что квартира его в Н.-Новгороде была ликвидирована, он до 5 мая прожил в гостинице «Россия» и в этот памятный день—майской политической демонстрации <sup>1)</sup>—совместно с З. М. Свердловым <sup>2)</sup> и В. Н. Кольберг, которая значилась «бонной» при его сыне, выехал на жительство, согласно админ. назначения, в г. Арзамас. В другом жандармском документе говорится, что они выехали в Арзамас 12 мая, но возможно, что это была повторная поездка. С прибытием в Арзамас, по распоряжению жанд. управления, арзамасским исправником за всей группой был учрежден особый надзор.

По поводу изгнания Горького из Н.-Новгорода, с.-д. организацией, помнится, была издана специальная прокламация. М. Горький тогда имел к с.-д. партии весьма близкое отношение: помогал ей идейно и материально—книгами и деньгами, даже достал где-то, как тогда передавали, небольшую типографию для нелегальной, подпольной работы нашей партии. Через близко стоявших к Горькому студ. Б. В. Морковина и покойного Н. М. Свердлова пишущий эти строки знал, что М. Горький не раз писал и партийные прокламации. Значит, он был связан с соц.-дем. партией активно.

В виду того, что Горький был слишком ярким пятном на сером фоне Арзамаса, покоя ему там не было; к тому же морально угнетающе действовал этот «особый» шпионский надзор, и он на лето арендовал вне города небольшую дачу, где и провел все лето в кругу своих друзей-единомышленников. В августе к нему приезжал Скиталец.

29 июля 1902 г. департамент полиции писал ниж. жанд. управлению, что дело А. Пешкова, С. Петрова и др., по соглашению мин. внутр. дел и юстиции, производством прекращено. Это извещение жанд. управлением было

---

<sup>1)</sup> Первая открытая политическая демонстрация в Н.-Новгороде состоялась именно 5 мая 1902 г. Вначале она была назначена на 1-е мая, но, в виду буднего дня, партия перенесла «маевку» на воскресенье. В Сормове первая открытая маевка состоялась 1-го мая 1902 г. Один из участников этой маевки рабочий Петр Заломов послужил М. Горькому героем для романа «Мать». Судьба демонстрантов сормовских и городских была одинакова. Почти все демонстранты были арестованы, судимы и потом сосланы в Сибирь и северные губернии. Тогда был слух, что через М. Горького какой-то либеральный купец (называли Сав. Морозова и Мешкова) пожертвовал в пользу ссыльных 1.000 руб. А. Б.

<sup>2)</sup> М. Горький сошелся близко с Зин. Свердловым потому, что признавал в нем драмат. талант и хлопотал через Ф. И. Шаляпина об устройстве его в Московскую филармонию, но т. к., в виду его еврейского происхождения, дорога туда была закрыта, то Горький согласился «окрестить» его и стал «отцом-крестным». Поэтому Зин. Свердлов с 1902 г. и стал именоваться Пешковым. А. Б.

получено 2 августа, но почему-то поднадзорным не об'являлось. Последние продолжали писать прошения о необходимости разных поездок, а жанд. управление писало соответствующие резолюции. Так, 3 августа он «милостиво разрешил» В. Н. Кольберг выехать из Арзамаса на несколько дней в Н.-Новгород, тогда как следовало бы об'явить ей о прекращении дела и свободном проезде и местожительстве. 10 августа о прекращении дела подтвердил официально и прокурор Московской палаты. И только 13 августа жанд. управление заблагорассудило написать бумажки по местному полицейскому начальству и опять-таки почему-то только об отмене особого надзора, а не о полном прекращении дела, как бы следовало, при чем лукаво добавляло, что «по вопросу же о гласном надзоре по отношению к Горькому надлежит ожидать дальнейших указаний от губернатора».

Здесь мы имеем налицо несомненное «личное усмотрение» начальника жанд. управления Шеманина, который систематически старался устроить М. Горькому гадость и всеми силами стремился выжить его из Н.-Новгорода. Он же, очевидно, и хлопотал перед губернатором о «гласном надзоре», речи о котором не было на протяжении всей многотомной следственной переписки. В самом деле, для чего было возбуждать вопрос о гласном надзоре, когда два министерства определенно постановили:

«Дознание о цеховом Алексее Пешкове и других в числе четырех лиц (Скиталец, Кольберг, Свердлов и Соколова) производством прекратить», а прокурор моск. суд. палаты в силу этого предложил: «Учрежденный за названными лицами особый надзор полиции отменить и об'явить о прекращении дела».

Но так бывало: центральная власть—одно, а головотяпская власть на местах—другое. И от этой власти Горький пережил немало сугубо тяжелых дней. Постановление о прекращении дела ему и Скитальцу было об'явлено только 16 августа, Свердлову и Соколовой—17-го, а Кольберг—25 августа, т.е. через две недели по получении постановления из центра, а в отношении Кольберг даже через три недели. Но этим дело не кончилось. Полиция, очевидно, по распоряжению жандармов, и после отмены «особого надзора» продолжала сообщать о каждом шаге Горького и Скитальца, а губернатор 17 августа «разрешил» Горькому приехать на 7 дней в Н.-Новгород. Таким образом, вопреки постановлению министра вн. дел и юстиции и предписанию прокурора палаты, за Горьким и Скитальцем вместо отмененного одного было учреждено два новых надзора—гласный и негласный.

В сентябре 1902 г. М. Горький со своими друзьями вернулся в Н.-Новгород и поселился в новой квартире—по Мартыновской ул., в д. Киржбаума, наверху, где у него опять начала собираться студенческая и партийная молодежь, многочисленные знакомые и друзья, в том числе Скиталец и Чириков; часто навещал Ф. И. Шаляпин, певший здесь свои знаменитые песенки («Блоха», «Семинарист»). В Н.-Новгороде Горький оставался почти до 1905 г., в котором за политические выступления уже в Петербурге—его снова начали сильно преследовать. Характерно для того времени, как зарубежный отклик, письмо чешского

профессора Массарика, напечатанное в заграничном «Листке Освобождения» П. Струве от 10 февраля (28 янв.) № 25 за 1905 г. В нем говорилось:

«Собрание чешских прогрессивных людей в Праге 30 января проявляет свои сердечные симпатии с рабочими и интеллигентами, борющимися и терпящими за свободу России; нечеловеческое избиение и убийство спокойных граждан мы осуждаем. Да живет М. Горький! Долой царизм!—31 января 1905 г. проф. Ф. Г. Массарик».

После наступившей за короткими «днями свободы» кровавой реакции М. Горький надолго покинул Россию, поселившись в Италии, на о. Капри. В 1912 г. на короткое время он приезжал в Петербург. Кстати сказать, в связи с этим приездом, на его старом паспорте «императорским российским консулом в Неаполе» была сделана любопытная надпись:

«Настоящая ладпись учинена с приложен. казенной печати на предмет пропуска в пределы Империи пред'явителя сего документа и ходатайствовавшего об удостоверении его личности на в'езд в Россию, и не может быть возобновлен в заграничных установлениях мин. иностр. дел».

Не курьезно ли? Писатель, известный Европе, для в'езда в свою Россию должен был хлопотать «об удостоверении его личности». Таковы были порядки невежественной чиновной бюрократии. Заметим, что среди неэ невежеством особенно отличались в Н.-Новгороде хвостовские чиновники (губернатора А. Н. Хвостова, впоследствии председателя сов. министров). На предложение в том же году прокурора полицмейстеру Ушакову—правая рука Хвостова—«сообщить в ремесленную управу к сведению о том, что А. М. Пешков состоит под следствием по политическому делу» (по какому—не указано), полицмейстер запросил ремесленную управу прежде всего указать: «кто такой Пешков и где проживает». Простой писец ремесленной управы в виде официальной справки написал хвостовскому полицмейстеру буквально следующее: «А. П. Пешков—известный русский писатель, пишущий под псевдонимом Максим Горький,—живет он в Италии, на о. Капри, где его и можно получить»(!).

### 6. С. Г. Петров-Скиталец в деле М. Горького.

Жандармская переписка о Скитальце в деле М. Горького так переплелась с последним, что при чтении целиком всего дела утрачивается, разбивается целостность впечатления о каждом из них в отдельности, а потому я и счел за лучшее выбрать некоторые данные о С. Г. Петрове и изложить особо. В русской литературе фигура Скитальца занимает видное место, а в общественности—можно судить по следующим данным.

29 мая департ. полиции сообщал ниж. жанд. управлению «секретно», что

«по имеющимся в департаменте совершенно секретным сведениям, известный литератор Степан Григорьев (?) Петров (Департамент по невежеству своему не знал, что известный литератор по отчеству не «Григорьевич», а Гаврилович. А. Б.) во время пребывания в Петербурге зимой прошлого года (1900 г.) вместе с приятелем своим Алексеем Максимовым Пешковым враждался в оппозицион-

ной группе радикальных писателей и принимал участие в агитации и возбуждении общества по поводу демонстрации 4 марта т. г. на площади, у Казанского собора».

За Скитальцем так же, как и за Горьким, был учрежден негласный надзор.

Как уже было упомянуто, в ночь на 17 апреля 1901 г. у Скитальца, в связи с предполагаемой покупкой мимеографа «для преступной цели», был произведен обыск и его арест. При обыске у него были обнаружены документы, свидетельствующие о его близком отношении к студенческой демонстрации. В числе других, между прочим, были отобраны: 1) гектографированная рукопись, озаглавленная: «Письмо из Союза Писателей по поводу событий 4 марта в Петербурге»; 2) два рукописных стихотворения, озаглавленные одно—«Расстрел» и другое, которое начиналось словами: «Она на постели лежала больная» и кончалось: «сам ротмистр жандармский ворвался»; 3) гектографированная рукопись на 1/2 листе писчей бумаги на имя мин. внутр. дел с многочисленными подписями и по содержанию касавшаяся петербургских событий 4 марта.

Вместе с этим жандармское управление занесло в «опросный лист» следующие биографические данные о Скитальце:

«Степан Гаврилович Петров (Скиталец) родился в 1868 г. (как и Горький). Происходит из крестьян села Новые-Костычи, Самарского уезда, той же губернии. Временно проживает в Н.-Новгороде. Отца в живых нет; мать живет в дер. Бестужевке, Самарской губ.; при ней две дочери—Клавдия и Евгения. Братья Скитальца—Валериан 25-ти лет и Гаврил—народные учителя в с. Царевщине, третий брат—Аркадий и третья сестра Александра—неизвестно где находятся».

Скиталец был посажен в одиночную камеру первого корпуса Нижегородской тюрьмы, из которой он 21 апреля обратился к прокурору окружного суда с письменной просьбой «прислать (ему) в тюрьму черновую рукопись литературного произведения, под названием «Сквозь строй» (по зачеркнутому «Гусяры»), написанную в переплетенной тетради. Начало белой рукописи мною получено.—Степан Петров». Таким образом, мы узнаем, что замечательная повесть «Сквозь строй» обрабатывалась на-чисто в нижегородской тюрьме. Прокурор послал эту рукопись Скитальцу, но жанд. управление ее задержало. С той же просьбой он обращался 1 мая в жандармское управление. Рукопись была ему, наконец, переслана целиком.

Того же мая 1901 г. Скиталец послал заявление нижегородскому губернатору, в котором, указав, что

«после безрезультатного обыска в ночь на 17-е апреля он арестован и находится в одиночном заключении и что при допросе его ротмистром Осиповым и тов. прокурора фон-Брюн (очевидно, допрос был сделан в апреле. А. Б.) никаких данных к обвинению и арестованию его ему не пред'явлено,—просил побудить прокурорский надзор и жандармское управление к скорейшему разрешению его дела и освободить из-под стражи».

Губернатор ограничился простой отпиской и Скиталец продолжал «сидеть».



24-го мая департамент полиции сообщил жанд. управлению, что «против освобождения из тюрьмы С. Г. Петрова препятствий не встречается, при чем он подлежит водворению под особый надзор полиции в месте своей родины—с. Новых-Костычах, Самарского уезда».

Жандармы 1 июня сообщили об этом Скитальцу в тюрьму, который написал им, что местом жительства с. Костычи он избрать не может, т. к. там нельзя рассчитывать найти средства к существованию: там нет у него ни имущества и ни родственников, и просил выслать его в Самару, Саратов или Харьков, как известные ему города.—«В противном случае предпочитаю оставаться в тюрьме до окончания дела»,—писал он.

Жандармы «уважили» его просьбу, и Скиталец остался в тюрьме. Но тюрьма—квартира не важная и через месяц после этого она наскучила Скитальцу до того, что 9 июля он принужден был дать письменное согласие «на жительство в с. Костычах, где я буду ожидать,—писал он,—результата на мою просьбу о местожительстве в Самаре или друг. городах».

14 июля он был, наконец, освобожден из тюрьмы с отдачей под особый надзор полиции в Новых-Костычах, куда и выехал вынужденно 26 июля 1901 г., при чем департамент полиции не преминул приказать жанд. управлениям—нижегородскому и самарскому

«не разрешать Степану Петрову никаких отлучек из назначенного ему места без предварительных сношений с департаментом».

21 августа департамент, сообщив, что «прошение С. Г. Петрова о разрешении жительства в городах Самаре, Саратове или Харькове оставлено без последствий», еще раз напоминал, что проживание ему разрешено только в с. Костычах «безо всяких отлучек». Словом, департамент остроумно заменил одну тюрьму на другую, зная, что для общественика, привыкшего жить в шумных городах, глухие Костычи—еще более крепкая тюрьма... Понимал и чувствовал это и Скиталец, а потому туда и не ехал... Самарский уездный исправник сообщил в начале сентября нижегород. полицмейстеру, что

«состоящий под особым надзором полиции С. Г. Петров в с. Новые-Костычи не прибыл, а проживает в г. Самаре, на Сокольничьей ул., в д. № 144».

Тогда нач. нижегородского жанд. управления написал нач-ку самарского жанд. управления категорическое требование «водворить Скитальца в назначенное ему место», но 11 сентября опять получил ответ, что «С. Г. Петров, проживая в Самаре, уклоняется от выбытия в Нов.-Костычи, впредь до об'яснения с губернатором». А дальше из бумаг видно, что Скиталец совсем куда-то скрылся из поля жандармского зрения. Пробовали искать, но безрезультатно.

Неподчинение Скитальца распоряжению жанд. управления сильно задело «амбицию» последнего и оно, в виде мести, 25 сентября сделало постановление об изменении по отношению к нему меры пресечения:

«Отменить особый надзор и заменить его заключением под стражу».

Жительство Скитальца, однако, не было известно, и постановление привести в исполнение не удавалось около полумесяца. Он появился в Самаре только 10 октября и в этот день был арестован и вторично посажен в тюрьму, но на этот раз «в свою родную»... самарскую.

Во время тюремного заключения дело Скитальца жандармами было закончено и отослано на распоряжение прокурора московской судебной палаты.

Скиталец просидел в самарской тюрьме около месяца, после чего, на основании предписания прокурора моск. суд. палаты (бумага от 30 октября) был освобожден, а 7 ноября жандармы отобрали от него подписку с обязательством жить в Костычах. Жил ли он там,—из переписки не видно, но есть документы, которые говорят, что в марте мес. 1902 г. ему была разрешена двух-месячная лечебная поездка в Крым, с оговоркой, «кроме Ялты», куда он и *выехал 27 марта из с. Обшаровки*. В Крыму в это время уже были на излечении Л. Н. Толстой и М. Горький.

Будучи в Ялтинском у. в дер. Мисхор, Скиталец хлопотал о разрешении приехать после Ялты на жительство в г. Арзамас (к Горькому). Разрешение пришло в Ялту 10 июля, когда он уже вернулся в Самарскую губ. и снова «был водворен в дер. Обшаровку». Об этом же 19 июля он пишет из Обшаровки, мотивируя свою просьбу необходимостью «личных переговоров с главным издателем и пайщиком книгоиздательства «Знание» А. М. Пешковым по поводу второго издания книги «Рассказы и песни Скитальца», которая первым изданием разошлась». К концу июля разрешение департамента дошло до Самарской губ. и 30 июля Скиталец выехал на семь дней (официальный срок) в Арзамас. 3 августа он был уже там, а 12 числа обратился к губернатору с просьбой разрешить приехать на 10 дней в Н.-Новгород. К этому времени его дело вместе с Горьким, Кольбергом, Свердловым и Соколовой департаментом полиции было прекращено и особый надзор отменен, но жандармы почему-то это скрывали. Выезд был «разрешен».

Официальное извещение о прекращении дела и отмене особого надзора Скитальцу было объявлено только 16 августа 1902 г. Это официальная сторона, а неофициально тайный надзор полиции за ним продолжался. Так, 20 сентября того же года полицмейстер бар. Таубе доносил жанд. управлению, что «литератор, крестьянин Ст. Гавр. Петров прибыл в Н.-Новгород и проживает по Мартыновской ул., в д. Кирж-баум». Это была квартира А. М. Пешкова.

# Страдальная частушка советской деревни

А. СМОРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ

*Наука страсти нежной*, казалось бы, тема из мира старины глубокой. Не то это любовное томление средневекового миннезанга, не то манерная любовная лирика маркиз восемнадцатого века, не то романтическая, вернее сентиментальная, мечтательность русских барышень, в роде Татьяны и их спутников, Ленских—Онегиных. Да, все это было и былшем поросло. И однако поставленная тема самая современная. Любовным страданьем насыщен господствующий сейчас литературный народный жанр—частушка. По местам она так и называется—«страдальная» или «страдания» (см. Д. К. Зеленин, Южно-великорусские «страдания», Этнограф. Обзорение 1906 г. № 1—2. То же открывают и современные записи). Это название взято от повторения слова «страдать», как синонима «любить», что Зеленин толкует, как подчеркивание горечи в любви по народному представлению.

Страдатель мой, страдай со мной,  
Тяжка, горько страдать одной...

Я страдала, страдать буду,  
Тебя, милый, не забуду...

Или в несколько юмористическом духе:

Я страдала, страданула,  
В речку с моста сиганула,  
Чрез тебя, чрез дьявола,  
Целый час проплавала...

Частушек с любовным содержанием бесчисленное множество, не менее 75% общего количества. И в качественном отношении они имеют много характерных, интересных особенностей. По отраженным в них культурным данным, как явление современного деревенского быта, как своеобразное выражение и стадия народной психологии и фольклора, тема эта заслуживает широкого общественного внимания.

## Девичий мир

Знаем ли мы девичий мир? Может, самый вопрос покажется странным. Педология и педагогика изучают разнообразно и широко детский возраст—ребенка и ученика; имеются обследования молодежи по отдель-

ным вопросам; психотехника интересуется профессиональной пригодностью молодежи; рабфактовка уходит в мир комсомольства, общественной и учебной работы. А девичий мир—мир не одной сотни тысяч девушек-подростков, особенно деревенских, в пору самого важного момента их жизни—молодости, физического расцвета и созревания—известен ли, обследован ли сколько-нибудь? Тот же ли он, как 50—70 лет назад, когда так много собиралось народных песен, вскрывших тогда так богато первые женскую личность. И та же ли эта девушка, которая плакалась когда-то на свою судьбу:

Ах, веде тоска неусыпная,  
Везде невзгодушка неминуемая...

Чем она живет? О чем думает? Что переживает?

Сейчас идет широкая волна культурного возрождения женщины. Соки революции, перебродившие в годы потрясений, начинают органически всасываться в толщу народной массы. Глубокие перемены происходят и на женской половине. На знамени советов один из ярких лозунгов—раскрепощение женщины. Международный день женщины-работницы, раскрепощение женщины Востока, все большее осознание своего правового положения русской женщины, упрочивающееся ее участие в советах, новые факты быта из охраны материнства и семейных отношений, женотделы и пр.,—все это такие яркие, осязательные, положительные факты.

Нынче годы новой моды:  
От мужей жены бегут...

Женский фронт—один из передовых наших фронтов, пожалуй, выше просвещенского. Им захвачена вся передовая часть женщин—та, что ушла на рабфаки, в школы фабричной молодежи, в комсомольские кружки. Но в массах, которые можно насчитывать тысячами, мир девушек-подростков разве косвенно является затронутым. А, между тем, этот период жизни девочки-подростка—самая важная для нее пора, время расцвета и формирования личности и единственных, можно сказать, счастливых дней. До этого—полусознательная пора детства, впереди—раннее замужество, за которым наступает обезличенная жизнь молодухи, затем бабы, словом, всего каких-нибудь три-четыре года «вольной волюшки».

Неудивительно, что они переживаются особенно напряженно. Выбором «милого» ей приходится решать свою судьбу при единственном инстинктивном руководстве чувства. Какой сложный переживается психологический процесс, какая идет большая внутренняя работа—перерождение ребенка в женщину. Любовное чувство играет здесь первую роль. Ему отдает девушка всю страсть, все творчество. Частушка в этом процессе является той школой, в которой на разные лады проходит эта наука страсти нежной. В ней, как в зеркале, во всей непосредственности отражаются всевозможные переливы любовных настроений. Изображая блуждания девицы с завязанными Эросом глазами в лабиринте любовных странствований, частушка во многих отношениях является действительно «страдальной».

### Первые очарования

Прислушаемся к преобладающему содержанию женской частушки— это мир эротики. Недолгий срок любовных чар переливается радугой чувств всяких оттенков в разных условиях места и времени. Частушки— сплошная любовная драма от первых движений чувства до развязки, нередко трагической. Старая песня жила однообразным мотивом и бедным трафаретным содержанием контраста девичьей воли и чуждадельней стороны. Революционная эпоха потрясла старые устои. Осложненная жизнь волною новых воздействий и впечатлений глубоко всколыхнула женскую психику. Частушка, своим быстротекучим четверостишием словно вырвавшись на свободу, дала простор выражению любовных чувств во всем их индивидуальном своеобразии. И замечательно, вскрылись новые черты простой деревенской девушки, в большинстве неграмотной, но творчески-интуитивно тонко выражающей свой внутренний мир.

Послушайте, как зарождается любовь:

Белу кофточку кроила,  
Полы укоротила;  
Полюбила я мальчишку,  
*Сердце озаботила...*

Как прекрасно звучит эта первая тревога души—«Сердце озаботила». При самой примитивности жизни девица понимает, что случилось что-то серьезное:

Золото мое колечко,  
Сысподу луженое;  
Ретивое мое сердце,  
*Милым зараженое...* (Костр. г.).

Такая привороженность требует обоснований, оправданий. Почему? Как и старая песня, частушка выдвигает массу внешних признаков. На первом плане, конечно, красота:

Не до песен, не до басен:  
На уме красивый Вася...

Далее, разумеется, завлекательные глазки.

*Завлекательные* глазки  
Завлекли от самой пасхи.

*Заразительные* очи  
Заразили с темной ночи...

И разные причуды по пословице: не по любви мил, а по милу хороши, в роде:

Эка ивова корзиночка,  
Дубовый полозок;  
Я за то люблю миленочка—  
Прищуриват глазок... (Вятск. г.).

Однако центр тяжести теперь перенесен на внутренние мотивы:

Ветер веточки ломает,  
До сырой земельки гнет,  
Милый письма присылает,  
Не читавши *сердце мре...*

Но главное, чего не знала старая песня, выдвигаются мотивы психологические, вводится принцип моральной оценки личности и любви. Пока это переживается бессознательно:

Болят рученька в кисти,	На окошке два цветочка*
Завяжите пальчик,	Голубой да аленький;
Что хотите, говорите,	<i>По характеру</i> мальчишка,
<i>По душе</i> мне мальчик...	Только росту маленький... (Новг. г.).

Но часто и дифференцируется:

За тальянку, за игру	До смеретушки люблю
Тебя, миленький, люблю...	<i>Солдатика в шинели...</i>
<i>За твои за разговоры</i>	
Хоть сейчас замуж пойду... (Новг. г.).	Лучше нету Пети в свети— <i>Уважительный</i> такой... (Новг. г.).

*Образованные* люди  
Знают, как поговорить.

Светит, светит, светится  
Половина месяца;  
Нашим девушкам не спится:  
*Коммунисты грезятся...* (Яросл. г.).

Все полно восторга, какой-то приподнятости души в чарах охватившего эроса. Откуда берется страсть, нежность, интимность чувств, проникающих самые мимолетные движения.

Сошью кофту под атлас,  
Полюблю который пас...  
*Развеселой, жизнь моя,*  
Пастушкой буду я... (Яросл. г.).

Ну, не верх ли блаженства?

— Вася, Вася, *Васючек*,  
Взгляни, который часичек.  
— Милая Анюточка,  
Первая минуточка...

— *Дорогой*, куда идешь?  
— *Дорогая*, по воду...  
Дорогой, не простудись  
По такому холоду...

Мой *забавочка* маляр,  
Я его малялочка...

Антиресоет мальчишка  
Никогда так не пройдет:  
Либо *губки на улыбке*,  
Либо *глазиком мигнет...*

Одна частушка дает интересную сравнительную оценку переживаемого настроения:

Экий срам—табак курить,  
Эка горечь—вино пить,  
Вот так сладость—сахар есть,  
Нету лучше—с милым сесть.

Вся сила личности ушла в любовь, все растворилось в чувстве

Меня бьют, а мне не больно,  
И бранят—не слышу я:  
Расхорошенький мальчишка  
Сушит девушку, меня..:

Стоит оценить это богатство чувства девушки:

Милому письмо писала,  
Сургучем печатала,  
Подруженька на почту клала,  
*Я улыбно плакала...* (Новг. г.).

Со *слезам* письмо писала,  
Со *слезам* печатала,  
Подружка в кружку опускала,  
Я стояла—*плакала...* (Яросл. г.).

Или:

Мы с девочкой стояли,  
Снег растаял до земли,  
Раза два поцеловались,  
*Все цветочки расцвели...*

Любви все возрасты покорны. Ее порывы благотворны. Благотворность сказывается и здесь—ростом личности, расширенностью внутреннего сознания.

Шла я по дороженьке,  
Косил цветок по ноженьке;  
Бог помочь, мой *родненький*,  
*Высокий, благородненький...* (Новг. г.).

Ярче всего это выступает в повышенности чувства эстетизма. Особенно изящны порой бывают обращения. В них дышит вся свежесть и нежность первого очарования любви:

Милый мой, *душистый ландыш...* (Моск. г.).

Лучше нет такого времечка,  
Когда вишня цветут;  
*Лучше нет того имечка,*  
*Как Ванюшкой зовут...*

Ты, милашка, лебедь бела, -  
*Лебединочка моя.*

Пойду в сад *под алы розы*  
Письмо ягодке писать... (Новг. г.).

Неудивительно, что частушка, в противоположность другим песням, изощряется в изобретательности всяких названий, обращений, в роде: забавочка, прияточка, дроздочка, жадобиночка, почетничек, розюрочка.

Хочется и для других сделать милого предметом любования:

Говорили про милого,  
Худенький да маленький,  
Посмотрела в воскресенье,  
Как цветочек аленький... (Костр. г.).

Что эта за гулинька  
В лужице купается?  
Что это за миленький  
Со всеми занимается?.. (Тверск. г.).

Все получает характер поэтических грез. Представьте себе реально эту мечту героини:

Проведу я ленту алу  
 К петербургскому вогзалу,  
 А другую, голубую,  
 К жадобинке в мастерскую... (Новг. г.).

Или полюбуйтесь на эту пару:

Машина с Питера приходит,  
 Все свисточки подает,  
 Мил с вагончика выходит,  
 Праву ручку подает... (Новг. г.).

Как у истинно влюбленных все полно наивной непосредственности. Обмен незначущими словами, простота обращения, полная взаимной доверчивости игра сияющих улыбок. Даже грубоватость шуток смягчается этой простотой и непринужденностью отношений.

Не кокетство ли это:

Сиротиночка Надиночка  
 Кричала почетку:  
 «Перекинь, милый, жердиночку,  
 К тебе перебегу»... (Яросл. г.)

А это шутики:

За рекой огонь горит,  
 Милашка кашицу варит,  
 А я думал, что пожар,  
 Взял тальянку, побежал... (Костр. г.).

Старый дроля хуже лошади, Куда его девать?..	Только стоило бы милому По харе надавать:
Завтра ярмарка в Данилове, Поеду продавать... (Яросл. г.).	Проводил меня до дому— Не умел поцеловать... (Яросл. г.).

Таких милых шуток без конца по частушкам. Непринужденность личных отношений, согретых доверчивостью, создает обращение, разрушающее все преграды отчужденности. В лучшем случае это идиллия:

Сидела с Фединькой под кедрочкой  
 У самой у реки,  
 Давал мне Фединька да кедрочки,  
 Сказал—побереги... (Яросл. г.).

Говорила я милому:  
 «Мил, черемухи не ешь».  
 Посмотрела в воскресенье—  
 На черемуху залез... (Яросл. г.).

А то шалят, как дети:

Сядет милый со мной рядом,  
 Говорит, люблю тебя.  
 Отвернется, засмеется,  
 Точно глупенькая я... (Костром. г.).

А про себя такая мысль:

Сосью кофточку по моде,  
 На груди со стрелочкой,  
 Пускай милый за мной ходит,  
 Как лиса за белочкой... (Яросл. г.).



И можно поверить и такому признанию:

С гор катились, с гор катились  
Яблочки анисовы...  
Что мы с милым говорили,  
Все слова записаны... (Яросл. г.),

потому что любовь—девичья школа, где чувство и воображение доминируют над мыслью, где вся личность формируется движениями сердца.

### Тернии любви

Но под луной ничто не вечно. В венок любви, оказывается, вплетен терний. Ревность, измена, разочарование, сомнения, отношение к сопернице, к окружающим—целая гамма жгучих настроений переливаются в частушках. Они изобилуют в частушечной поэзии, выдавая тайную драму, без которой не обходится ни одна любовь. Первые очарования—кратковременны и мимолетны, почти грезы. Наступают будни жизни, обнажающие реальную правду, подчас горькую. Частушка, при этом, оказывается весьма чувствительной пластинкой. Она подметит самое незначущее движение, все учтет.

Пришел прияточка в беседу,  
Прям на девушку взглянул...  
Я другим была занята,—  
Тяжелехонько вдохнул... (Новг. г.).

Вот и все. И кончено. И уже недалеко от драмы. Достаточно этого горчичного зерна сомнения; оно прорастет, и жизнь сделает свое дело. Драма переживается глубоко.

Раскудрявая береза, ветра нет,  
А ты шумишь;  
Ретивое мое сердце, боли нет,  
А ты болишь... (Яросл. г.).

Отоприте мою думушку  
Двенадцати ключам:  
Не дает мне эта думушка  
Покою по ночам... (Яросл. г.).

Почернело мое сердце,  
Чернее черного чела:  
Не видала свою милого  
Ни нонче, ни вчера...

Страданице, страданице,  
Кому милой достанетца?

Этих частушек, рисующих мрачное настроение, боль тоскующего сердца, граничащих с отчаянием, особенно много. Может быть, это реакция обманутых очарований. Трудно перечислить все извивы чувств и все сердца скорбного заметы, которые звучат в этих пессимистических аккордах частушки.

Происходит об'яснение... Оно трогательно. Когда-то заочно оно было холодно:

Я сидела на лужку,  
Писала тайности дружку,  
Я писала тайности  
Про любовны крайности...

А теперь, лицом к лицу, с глазу на глаз, оно полно глубокого звучанья:

Посмотри, милый, на небо:  
Всю любовь нашу видеть.  
Со мной сидишь, другую любишь—  
Я могу свободу дать... (Яросл. г.).

Или не менее чувствительно:

Миленький, не подходи  
Ко мне, печальной девушке:  
Твои хорошие слова  
Находятся в изменушке.

Хорошо, если все эти жалобы, подозрения, сомнения встретят тактичный отклик:

Полно, милая, сердиться,  
Полно губки надувать,  
Лучше выйди на крылечко  
Слово ласково сказать...

Чаще об'яснение сложнее, противоречиво-запутаннее. Следующая частушка—целая маленькая драма: так все в ней дрожит возбужденным чувством, выдавая с головой героиню:

Ты с другою задаешься,  
Думаешь, не видно,  
Интересно и смешно,  
Только не обидно... (Яросл. г.).

Можно бы попытать старого средства—заворожить:

Заварю я мятных капель,  
*Дам я милому попить,*  
Вот не будет ли, не станет  
Мил по-прежнему любить.

Но часто наша героиня теряет самообладание. Палка перегибается в другую сторону: слишком высоко звучали струны—неудивительна реакция мстительных чувств. Когда-то песня отделявала свах. Сейчас попадает всем: и милому, и супостатке, и родителям, и всем.

Погасите нову лампу,  
Понапрасну свет горит;  
Рассадите эту пару,  
Лучше сердце не болит...

А про себя готова выбрать:

Сошью платьице себе  
Белое на лето;  
Милый ходит за другой,  
Сукин сын за это...

Или поступить еще энергичнее:

Мой-от милый любит трех,  
А меня четверту.  
Наотрез ему сказала:  
— «Убирайся к чорту»...

Мой-от милый окосел:  
Не на те колени сел.  
Я недолго думала,  
Взяла, в рожу плюнула.

Это не то же, что когда-то была кокетливая игра:

Голова моя кружится,  
Пойду к доктору лечиться.  
Доктор скажет: «чем больна»?  
— «Четверых люблю одна».

Теперь другое:

Утром рано выходила  
На парадное крыльцо,  
Своею горькою влеваю  
Умывала я лицо.

Или:

У меня горя—полны горы,  
Слез—горючая река...

Трезвое размышление, конечно, заставит признать неизбежность развязки:

Не поймаешь в поле зайца,  
Коли быстро он бежит;  
Не полюбит милый снова,  
Коли сердце не лежит... (Яросл. г.).

Все кончено. Но кончена ли любовь на самом деле? Начинается томительная история любовного страдания с бессонными ночами, невольными подглядываниями:

Не спала я, так лежала  
На подушке перьяной.  
Я успела, доглядела,  
С кем гуляет милой мой... (Костр. г.).

С жалобами на соперницу:

Лягу милому на плечико,  
Здохну я чижало:  
Интересную девчонку  
Оставил на кого?.. (Костр. г.).

С мечтами о прошлом:

Сколько раз, сколько раз  
Слезы проливаю;  
Я об миленьком дружке  
Часто вспоминаю... (Вятск. г.).

Частушка индивидуальна. Она улавливает самые мимолетные настроения, и этих переливов чувств, когда уступающая любовь хватается за соломинку, без конца по частушкам. Случайный факт, первый понав-

шийся образ дает возможность найти выход едва скользнувшему чувству. Изучить отражения его во всех деталях сложнее, чем пройти онегинскую науку страсти нежной. Для психолога и психиатра это любопытная картина эмоциональной жизни в атмосфере эротики, поглощающей весь мир женщины.

Но этого мало. Личные отношения, и без того хрупкие, осложняются еще новыми обстоятельствами. Оказывается, чары Эроса не на луне, а в условиях земной действительности, среди всяких коварств жизни. Со всех сторон косые взгляды и сплетни, любопытство и подозрения, расчеты и критика,—все это отягощает любовь. Не всегда есть сочувствие родителей:

Меня мамка-то жалеет,  
Папа больше бережет;  
Каждый вечер у калиточки  
С поленом стережет... (Яросл. г.).

Не понимают они молодости:

Как у нашей матки  
Дома непорядки:  
С вечеринки увела,  
Целоваться не дала...

Разумеется,—бунт, бурный протест:

Тятка, мамка больно ловки:  
Меня держат на веревке,  
На веревке, на гужу,  
Перекушу и убежу...

Или:

Меня маменька за Коленку  
Веревкой хочет бить,  
А я маменьке сказала:  
«Хоть убей—буду любить»...

Вывод нередко звучит, как итог драмы:

До чего любовь доводит:  
С отцом—с матерью разводит!..

Со стороны чужих еще больше:

Бабы дуры, бабы дуры,  
Бабы бешеный народ,  
Что сказали про девчонку,  
Что стояла у ворот...

Это уже заступничество подруг за излишне участливое отношение. В этом направлении частушка имеет много бытовых подробностей.

Новые тернии в романтику любви вплетает экономика. Извечная слезливая драма—богатство, ставшее поперек любви.

Милый в Питере нажился,  
Антиресный мальчик стал...

Чего же бы лучше?..

Но вывод старый:

Раньше я с ним не сидела,  
А теперь он сам не стал...

Припевов на этот счет, с критикой социального неравенства, много в частушках.

Не заносися, цвет опалый,  
Не богачее вы нас...  
Не ходи, милый, по тесу,  
Ходи по тесиночке;  
Не люби, милый, богачку,  
Люби сиротиночку...

Экономические противоречия обостряют отношения, выбивают из колеи, подтачивают, как червь, лилейный цветок любви.

У Сережи на груди  
Серебряна цепочка;  
Его любит, абажает  
*Старостина дочка...*  
Щеки клюквою намажу,  
Богачихе не уважу,  
Брови углем подведу,  
С богачам гулять пойду... (Яросл. г.).

А в конце концов, раздраженное чувство, угнетенное вмешательством корыстных интересов, бросает злобный приговор:

Кто неправдою живет,  
Разорви тому живот...

Есть еще один мотив, который вводит новую струю в поток любовных частушек,—это текущий политический момент—«коммуния». Частушки выражают двоякое отношение в данном вопросе, хорошо подчеркнутое следующей частушкой:

Коммунистов не любила,  
Все коммунию кляла,  
А сама себе милого  
Коммуниста завела.

С первым связаны разные житейские затруднения на почве бытового уклада и традиций.

Коммуниста любить  
Надо примениться:  
Крест на шее не носить,  
Богу не молиться...

Сначала как-то страшно, непривычно, так много отпугивающего в разных деревенских разговорах:

Коммуниста любить  
Надо сображенье,  
Болят сердце, болят грудь,  
В голове круженье...

Но жизнь берет свои права. Следующая частушка говорит о совершенно ином настроении, любовь в которой питают новые впечатления жизни.

Вьется голубь над водой,  
Сизенький утеночек;  
*Я слма советской власти,  
Коммунист миленочек...* (Яросл. г.).

Куда и кружение голо́вы пропало!

В последнее время любовная частушка играет с комсомольцем. Вот он—новый герой, около которого уже плетутся тонкие сети. Стоит прислушаться к этой кокетливой игре:

На большой дороге грязно,  
В белых туфлях не пройти.  
Ты не смейся, комсомолец,  
*Не пришлось бы подойти...*  
На большой дороге липа,  
Серебристый липы лист.  
Комсомолец, не сердись,  
*По старой памяти садись...*

И он, конечно, сядет. Так течет жизнь, сменяя грусть новыми очарованиями, с вполне вероятной возможностью новых драматичных осложнений.

Подведем итоги. В конечном результате, пожалуй, больше минусов, чем плюсов, и любовная частушка справедливо названа *страдальной*. Такова действительность. Она должна заинтересовать социолога и психолога, как серьезная общественная проблема. Замужество обрывает любовную историю. О нем частушки молчат. Лишь изредка они обмолвятся пессимистическим приговором:

Девушки, красуйтесь,	Не ходите, девки замуж:
В бабую жизнь не суйтесь...	Замужем плохая жизнь...

Страдальная драма продолжается, но, повидимому, уже в другом роде.



# Памяти Фурманова

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

## I

Он вошел в литературу неторопливо и как бы неожиданно, но продвигался вперед без остановки. Фурманов не привлек внимания своими первыми вещами; его дарование расцветало медленно. А. С. Серафимович, сам чуткий мастер слова, правильно замечает, что автор «Чапаева» не принадлежал к художникам, вспыхивающим, подобно бенгальскому огню, но столь же быстро погасающим: его огонь, незаметный вначале, разгорался все более ярко—и только смерть остановила его дальнейший рост.

Начал Фурманов писать еще до гражданской войны. Но первые вещи его были важны, неуверенны, не обнаруживали в авторе той сдержанной силы, которая отличала его позднейшие произведения. Его талант был разбужен гражданской войной: Фурманов, как писатель, всем обязан революции. Он кружил с отрядами Чапаева по Уралу, водружал знамя пролетарской революции в далеком Семиречьи, многократно глядел в глаза смерти, выпил из чаши жизни много испытаний такой исключительной силы, которая сваливала не одного комиссара. Фурманов уцелел. Он вернулся из боя закаленным, еще более крепким, чем прежде, разве лишь взгляд его стал упорней, и какой-то внутренний блеск, светившийся в его зрачках, сделался ярче и настойчивей. Столь же молчаливый, как прежде, казавшийся скрытным, скромный и тихий на редкость—он принес с собой огромный запас впечатлений. Вот эти-то впечатления, кровавый опыт жизни, подаренный ему революцией, преобразили его творчество: он нашел свой материал.

Верил ли Фурманов в свои силы, как художника? В последний год жизни—да. В эпоху своих первых писательских опытов, даже во время написания «Красного десанта»—нет. Его самого поразили успех, выпавший на долю «Чапаева». Он казался ему незаслуженным, случайным. Но успех был прочный и долгий. Писательский путь Фурманова был определен.

Друзья Фурманова, лучше, чем я, его знавшие, нарисуют нам его фигуру. Мне, в продолжение двух лет сталкивавшегося с ним в совмест-

ной работе, хочется отметить лишь одну черту, отличавшую этого человека: то была скромность. Фурманов был «красный герой», кавалер ордена Красного Знамени, но не кичился этим; «Чапаев» прославил его имя—но это на Фурманове нисколько не отразилось: ни тени самодовольства, ни малейшего налета пошлости, который всегда густо покрывает лица любимцев славы. Вокруг него кипела борьба уязвленных самолюбий, — он был спокоен, ровен и интересы литературы волновали его больше, чем его собственные интересы. Маленькие дарования с большими претензиями заносчиво и шумливо забирались на «командные высоты» — Фурманов, большой талант, уступал место, ибо знал хорошо, что пузырь, даже очень большой, лопнет рано или поздно. Но если он брался защищать какое-нибудь дело, то дрался крепко, стиснув зубы, не щадя ни друзей, ни врагов; был он человек большой воли и настоящей большевистской выучки. Годы гражданской войны оказались для него великой школой.

## II

Сам Фурманов «Чапаева» назвал «очерком». «На признание художественности отделки не претендую»,—добавлял он несколькими строками ниже. И говорил это не из скромности, но убежденный, что «Чапаев» и в самом деле вещь не ахти какая, сставленная «по материалам записной книжки и некоторым личным воспоминаниям». Но едва начинаешь читать этот непритязательный очерк—перед глазами оживленные возникают картины гражданской войны, и бескрайные уральские степи, и военные эпизоды, заставляющие быстрее бежать кровь, и многое множество людей, живых, разных, запоминающихся, и среди них центральная фигура Чапаева, лихого партизана, революционера, вождя, сделанного мастерски, до мельчайших черт, освещенного с разных сторон, не по методу суздальской иконописи, с одних лишь казовых сторон,—но приемами настоящего художника, бросающего на портрет свет и тени, чтобы подчеркнуть, выпуклить, приблизить к зрителю человеческое лицо, не сочиненное, но живое, со всеми характерными чертами, дурными и хорошими.

Фурманов не только вспоминал, не только рассказывал—но *образил*, лепил фигуру за фигурой, набрасывал одну сцену за другой, *картину* за картиной,—оттого-то «Чапаев» оставляет в читателе яркое представление о боевой страде, о величественном и низком, прекрасном и безобразном. Отдельные черты Чапаева разбросаны по всей книге. Не упущены ни яркие, бросающиеся в глаза, ни интимные, едва заметные, которые делались явными лишь при близком знакомстве. Фурманов характеризует Чапаева в мирное время и в бою, за дружеской беседой и в момент ссоры, в минуты высокого революционного под'ема, и в минуты слабости, когда на лице героя проступали черты самодовольного, падкого до похвалы человека, снедаемого честолюбием. Эта нерасторжимая связь великого и малого, из чего состоит живой человеческий лик, когда он получает художественное воплощение—все под-



метил и показал в Чапаеве Фурманов вплоть до ревнивых опасений, как бы не затерли его «штабные» стервецы.

Чапаев—центральная фигура. Его именем названа вся эпопея. Но разве можно проглядеть, что Чапаев—лишь один из множества, каких выдвинула народная масса. Чапаев—герой, но его черты повторяет рядовой партизан и красноармеец. Не потому ли Чапаев и оказался героем этой массы—что был, в сущности, лишь самым ярким, самым толковым, самым образцовым ее представителем. Чапаев—вождь множества. Но и самое «множество» также схвачено Фурмановым.

Подобно Чапаеву, красноармейская масса показана Фурмановым в бою, идущая на смерть, и после боя, погрязшая в «малых» делах. Фурманов не умалчивает о том, как в моменты передышек место героического бойца занимал иной раз человек с сумбуром в голове и темными инстинктами. Он показывает нам передовых представителей красноармейской массы и ее самые отсталые образцы. В «Чапаеве» они показаны в моменты героических боев. В «Мятеже» мы видим массу в период после-боевого разложения. Но в обеих вещах толпа живет, дышит,—многоглазая, нестройная, устремленная к одной большой цели—в «Чапаеве», разбредаящаяся в стороны, легковерно идущая на провокацию, задорная и хмельная от власти—в «Мятеже». И в «Чапаеве», и в «Мятеже» мы видим в авторе художника, который показывает нам сложнейшее и многообразное явление, но показывает с простотой, без ухищрений и натяжек, не боясь взглянуть правде в глаза, не отвращая от нее взора. Если в «Чапаеве» центром внимания была фигура вождя, а масса играла роль фона, то в «Мятеже» мы видим обратное: центр внимания заняла масса—и пусть кто еще из современных прославленных наших беллетристов попытается так, как это сделал Фурманов, изобразить медленное нарастание взрыва, постепенное распространение в массе недовольства, неуклонное и неизбежное назревание восстания. Набрасывая картину за картиной, выводя на сцену одного участника мятежа за другим, одну толпу за другой—Фурманов создает огромное полотно, большую повесть о восстании, которая—свыше четырехсот страниц!—читается с интересом неослабевающим и врежется в память надолго.

### III

Многие из тех, что требуют от искусства беспристрастия, замечают, что так называемого «объективизма» у Фурманова нет. С первых же страниц видно, на чьей стороне симпатии автора. В этом видят критики большой грех, преступление против художественности. Ну, что ж, примем этот упрек. Да, Фурманов не беспристрастен. Но Фурманов—художник революции, а кто сказал, что революционер, когда берется за кисть, должен превратиться в беспристрастные (или бесстрастные?) глаза и уши? Да и пусть укажут нам беспристрастного художника вообще? Может быть таким мастером был Достоевский? Но кому же неизвестно, что страсть водила его кистью? Или это был Лев Толстой, когда писал «Анну Каренину»?

Но и Толстой не был беспристрастным воплощением своих творческих видений. Слова о так называемом «беспристрастии», об об'ективизме художника — оказываются *словами* в буквальном смысле. Не обстоит ли дело как раз наоборот? Не отсутствует ли у большинства наших художников именно страсть, заставляющая одно ненавидеть, другое — любить, одно отвергать, другое восхвалять всемерно. Художник, каким бы об'ективным он ни казался, никогда не видит мир таким, каков он есть, а всегда видит его «своими» глазами — в этом отличие воззрения художественного от научного, которое может вплотную подойти к об'ективному познанию и пониманию мира. Все дело в том, чтобы своеобразие художнического пристрастного зрения не искажало картины настолько, чтобы она теряла убедительность! Духовное зрение Фурманова — и это мы ставим ему в заслугу — было зрением большевика, партийца, революционера, и как можно требовать, чтоб это свое зрение он прикрыл стеклами так называемого художественного об'ективизма? О, я превосходно понимаю, что многим и многим из его критиков хотелось бы, чтобы эти особенности Фурманова, как художника, не были заметны, исчезли бы так, чтобы он нивелировался в общей массе «попугачиков», которые все — о-очень об'ективны! Но ведь это требование также далеко от об'ективности. Поэтому примиримся с тем, что Фурманов был художником страстным и пристрастным, что он любил революцию и ненавидел ее врагов, что в произведениях своих этого не скрывал, и в «Чапаеве», и в «Мятеже» с первых же страниц видно, что автор — одна из сторон в картине, им изображаемой.

Ах, друзья мои, как было бы хорошо для нашей литературы, для нашего искусства — если бы у вас в жилах текла кровь погорячей, если бы у вас поменьше было беспристрастия, этой маски, за которой скрывается холодное или хлосдеющее сердце!

#### IV

Мы не хотим преувеличивать художественную законченность картин, созданных Фурмановым. Их эскизность сознавал он сам едва ли не более, чем его критик\*. Не случайно же перед смертью он занимался отделкой, шлифовкой своих вещей, переделывая целые главы, перестраивая фразы, изменяя конструкцию. Фурманов художественно отделывал свои вещи потому, что, по его мнению, они не были отделаны художественно. Это были наброски, этюды, черновые полотна к какой-то огромной картине, которую он — в этом мы ни на мгновение не сомневаемся — призван был написать, если бы смерть не остановила работу его мозга.

Возвратившись с фронта, он спешил оформить на бумаге теснившие сознание картины, размышления, наблюдения. Он не заботился об отделке — а хотел лишь освободиться от груза: оттого так стремительно, вслед за «Чапаевым», появился «Мятеж» — самое крупное из произведений, посвященных гражданской войне. Но и в «Чапаеве», и в «Мятеже», в которых виден большой живописец, Фурманов не задавался целью дать

законченные вещи. По этим могучим наброскам можно сулить, какого выдающегося художника, еще не развернувшегося, лишь начинавшего овладевать мастерством, потеряла революция.

## V

Упрекали еще Фурманова в том, что его произведения не соответствуют установившимся законченным и законным формам искусства. Повести ли писал он? Или рассказы? Романы? Но ни одним из этих обозначений нельзя определить его произведений. Повествование прерывается в них воспоминаниями, документами, приказами, заметками из записной книжки—полное нарушение канонизированных литературных форм!

Да, Фурманов нарушал формальные традиции. Но он и не называл свои произведения ни одним из установленных законных наименований. «Чапаева» определил он в предисловии как «очерк», а «Мятеж» не обозначил никак. И делал это Фурманов неспроста.

Я не могу утверждать, что он сознательно *ломал* старую форму повествования. Но что он *ломал* ее — в этом сомнений нет. Быть может он делал это, повинувшись материалу, которым располагал. В результате—«Чапаев», как и «Мятеж», являются как бы предвестниками какой-то необычайной, еще не ставшей законной, но имеющей право на существование, новой формы повествования. Гражданская война, с ее неисчерпаемым многообразием событий, полная динамики, насыщенная действием масс и вместе деятельностью отдельных лиц, учреждений, организаций, связанная нитями революционной воли от московского Кремля до крайней периферии, — грандиозная картина эта не может вписаться в традиционные формы литературы, и в произведениях Фурманова, торпливых, неотделанных, богатых сырым материалом, она вылезала, выпирала из этих форм; не справляясь с повествованием, но повинувшись внутренней целесообразности, Фурманов вводил в изложение документы, записную книжку, мемуары, дневники, приказы. Поскольку делалось это просто потому, что не находились классические формы для выражения материала—это было случайно. Не случайным было лишь то, что из нестройного, на первый взгляд, потока материала возникало представление о какой-то новой форме, столь же полихромной и полиморфной, как сама революция. Мне представляется, что это большое полотно, которое отразит нашу исключительную эпоху, в формальном смысле не будет походить на стройно организованные произведения классической литературы. Оно будет включать в себя не только широкой кистью схваченные картины массовых движений, не только изображения индивидуальных судеб, но и целиком выхваченные документы, и отрывки мемуаров, переписку отдельных лиц, и даже статистические таблицы. Многообразие материала продиктует потребность в многообразной форме. Это будет не роман и не повесть, и не рассказ, и не мемуары, и не историческое исследование с привлечением цифрового и иного материала. Но это будет некое художествен-

ное целое, которое органически вместит в себя и в некоем единстве об'единит, организует все эти элементы.

Форма произведений Фурманова, который сам не нашел им определения, и была попыткой нащупать какой-то новый путь оформления материала, не вмещавшегося в традиционные рамки.

## VI

Как художник, Фурманов лишь начинался. «Чапэев», который останется в истории нашей литературы, был лишь пробой пера. «Мятеж» — полотно с широким охватом — был лишь первоначальным вариантом картины. И когда пристрастные критики говорят о том, что в этих произведениях мало искусства, хочется сказать, что это *больше*, чем искусство, ибо это живые куски жизни, закрепленные в литературе, вырванные из потока прошлого. Но чтобы сделать это — разве не надо искусства?

В лице Фурманова ушел художник большого размаха и большого таланта. Эта потеря вдвойне печальна: она наносит удар литературе, потерявшей художника революции, и революции, потерявшей своего выразителя в литературе.

---

# Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА.

1. Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ: Новые вещи Горького; 2. Я. ТУГЕНДХОЛЬД: Дела художественные; 3. Е. БРАУДО: Художественная проблема радио; 4. С. БУГОСЛАВСКИЙ: Музыкальная жизнь Москвы; 5. А. ЛИТВИНОВА: Два английских писателя; 6. А. ЯКОВЛЕВ: Деревенские очерки.

## 1. НОВЫЕ ВЕЩИ ГОРЬКОГО 1)

Л. Войтоловский

Эти вещи замечательной стройности и силы. Чудесный, свежий язык. Великолепное построение. Четкие и законченные характеры. Много ярких афоризмов и счастливых словечек. Все поражает богатством, широтой и завершенностью мощного таланта. Но есть один неустранимый болезненный изъян в этой книге: печать тоски и бессонницы; печаль человека, оторванного от родины.

«Прелесть весны,—писал Г. Гейне,— познается только зимою, и лучшие майские песни сочиняются около теплой печки. Любовь к свободе—темничный цветок, и только в тюрьме чувствуешь цену свободы. Так и любовь к отечеству начинается только по ту сторону границы. Подобно тому, как иной не знает из физиологии о колоссальном значении крови, а пусти ему ее, он грохнется в обморок, так точно совсем не надо быть ярым патриотом, чтобы, очутившись на чужбине, почувствовать, как сильно мы любим свою страну».

Этой тоской одиночества и оторванности сейчас, как-будто, отравлено творчество Горького. Щемящая оторванность дает себя чувствовать в каждом рассказе этой книги. Чувствуется, что Горький-писатель изнемогает без родных пейзажей, без русских людей и русского говора кругом и живет в мире далеких воспоминаний, погруженный в глубокую задумчивость. Оттого и герои

его последних рассказов так мучительно предаются воспоминаниям у чужого окна и в этой тоскливой позе проводят большую часть бытия, дарованного им автором.

«Константин Миронов, сидя у окна, смотрел на улицу, пытаюсь не думать» («Голубая жизнь», стр. 219).

«Быков садился у окна в кресло и смотрел на улицу, на дома, разделенные густыми садами» («Анекдот», стр. 169).

«Торсуев пристально смотрел в окно и продолжал тихо сыпать сухую пыль слов, помогая осени творить на земле уныние и печаль» («Рассказ о безответной любви», стр. 43).

Если не все персонажи этой книги проводят весь век свой в мечтаниях о прошлом у полутемного окна, то почти все они какие-то старомодные, опоздавшие родиться; странные люди, отшельники, чудаки, с корнем вырванные из жизни. Все они жалко отсиживаются у чужого окна, трусливо прячутся от жизни за стенами тягучих воспоминаний. Их дни бессмысленны и бесцельны, и живут они только страхом: «страхом нищеты, голода, уничтожения, страхом смерти...» (стр. 102). Вне этих страхов мир превращается для них в азартную игру пустячков, где доускаются самые жульнические подвохи и бесстыднейший иезуитизм. Вместо принципов, верований и убеждений в душе их воцаряется бесплотная и безвольная мысль, мысль, «сама по себе не оплодотворенная чувством; мысль, играющая с человеком, как проститутка,

1) М. Горький, Рассказы 1922—1924 г.г. Изд. «Книга». Берлин 1925. Стр. 308.

но совершенно неспособная изменить что-либо в человеке» (стр. 157).

Этот тип безвольного и душевно измощенного игрока, «увлеченного игрою до самозабвения, играющего уже только ради процесса игры», беспрестанно появляется на страницах этой книги в самых различных одеяниях; то под видом рабочего-provокатора Каразина («Карамора»), то в костюме начальника охранного отделения Симонина, то в образе тусклого и жестокого Макарова, гнетущего, грубого и тяжелого Навака, циничного комика Брагина, то в лице пошловатых рыцарей пера и сцены, выведенных автором в очерках «Репетиция» и «Рассказ об одном романе», где нет и следа волевого человека, а действуют одни теоретики, критики, писатели и актеры, не знающие ничего, кроме шаткой игры воображения, кроме неустойчивых призраков, выдумок и абстракций. Особенно четко и саркастически сделана фигура беллетриста Фомина («Рассказ об одном романе») или его двойника—драматурга Павла Федоровича Креаторова («Репетиция»), вечно запятых и опьяненных «неразумной игрою своего воображения,—игрою многих в себе одном» (стр. 146). В сборном лице этих двух писателей Горький как бы набрасывает символической образ тех общественных групп, мысль которых, не согретая эмоциональным порывом, тщетно извивается в акробатических корчах, бесцельно подбирает и перемешивает случайные факты и равнодушно «играет с человеком, как проститутка». Вот как характеризует Фомина одна из преданных ему женщин:

«Это—человек, которого, в сущности, нет; хотя физиологически он существует, но того основного, что можно было бы назвать его душой, душой Фомина, окрашенной хотя бы и пестро, радужно, а все-таки в какие-то «свои цвета», такой души у этого человека, видимо, нет. Это—не человек, а передвижной театр, в котором и режиссер и все артисты воплощены в одном лице: очень интересно, а ненадежно, непрочное» (стр. 108).

Собственно, и интересность не ахти какая. Так себе «серый слой житейских

мелочей» (по выражению другой женщины, близкой драматургу Креаторову); обыкновенная житейская муть, облеченная в кудреватые фразы.

Помимо шаткости, переметчивости и трусости, увязывающих в общую психологическую группу и хозяина мыловаренного завода Торцева, и рабочего Каразина, и писателя Фомина, и начальника охранного отделения Симонина, и комика Брагина, у них имеется еще общая социальная база: все они порождения той гнусной эпохи, у которой «лучшие зубы революции были выбиты» и под влиянием которой люди расплодили злые, хитрые мысли и выпустили их по всей земле, как стадо бешеных собак». Другими словами, дело происходит после разгрома революции 1905 года. Вот что говорит об этом времени Горький:

«К восьмому году лучшие зубы революции были выбиты. Множество рабочих пошло па каторгу, многие, струсив, нарядились в бараньи шкуры обывателей,—потом эти шкуры приросли к их коже. Некоторые, захотев пожить в свое удовольствие, стали бандитами,—«жизнь в свое удовольствие» всегда, прямо или косвенно, соприскасается с бандитизмом. Особенно быстро и ловко ускользнули от расправы победителей товарищи-интеллигенты. Гнусное было время. Даже люди, доказавшие способность к подвигам, делали подлости» (стр. 141).

Огромное общественное значение этой книги заключается в том, что Горький с величайшей наглядностью показал на своих героях, как люди, пристрастившиеся к игре воображения и памяти и ставшие игралищем собственной мысли, неминуемо обращались в мелких прихвостней революции, в хлюпиков, полных трусости, колебаний, измен и угодничества. Ибо, по справедливому утверждению Горького, «только те мысли живучи и действительны, которые заряжены чувством, и оплодотворенные этим чувством, как пальцы, хватают, подбирают и перемешают факты, лепят и строят и, в свою очередь, рожают новые чувства» (стр. 157).

В стороне от психологии предательства стоят два очерка: «Отшельник»,

которым открывается эта книга, и «Рассказ о несбыкловенном», которым заканчивается том. Герой первого очерка, Савёл Пильщик,—мужик, вычеркнувший себя из жизни и ставший отшельником. Герой второго очерка—мужик, утверждающий новую жизнь, большевик Яков Зыков, солдат японской и империалистической войны. Несмотря на несходство положений, в большевике Якове и в отшельнике Савэле много сходственных черт. Оба они резко действенные натуры и, как взрывчатой силой, начинены глубокой эмоциональностью и любовью к жизни. В лице этих двух героев старая до-октябрьская мужицкая Россия как бы протягивает руку, через головы нытиков и хлюпиков, новой революционной деревне. По красоте сюжетного построения, отчетливой вычерченности деталей и лингвистическому богатству эти рассказы не знают себе равных в нашей новейшей литературе и редкой силой художественного обаяния с первых строк подчиняют себе читателя. Вообще, это—рассказы огромной социально-психологической емкости. Новая (для Горького) тема этих рассказов (отрицатель-отшельник и разрушитель-большевик, утверждающие по-своему новую жизнь на земле), надо думать, надолго займет внимание наших критических журналов. Выписаны новые образы с удивительной тщательностью, но с излишним, совершенно не свойственным Горькому сентиментальным лиризмом. Думается, это об'ясняется

тем, что новая Россия видится сейчас Горькому сквозь эгогическую дымку разлуки. В той самой статье, где Гейне говорит о патриотической скорби эмигрантов, немецкий поэт признается, что мысли об эмигрантском патриотизме павелыны ему были видом маленькой немецкой девочки в национальном платьице из полосатой фланели, с печальным личиком, которая грустно смотрела вдаль и задумчиво напевала старую сентиментальную песенку:

Через сушу, через море  
Пусть к тебе летит мой голос...  
На родной границе руку  
Наполняем мы землю,  
И целуем эту землю,  
Как признательность тебе,  
О, отчизна дорогая,  
За любовь, за хлеб и соль...

Отшельника Савёла тоже окружали девочки и бабы с чахоточными лицами и печально-задумчивыми глазами. Сквозь их тоскливые жалобы о безрадостной жизни и безответной любви, и еще сильнее сквозь примесь меланхолических воспоминаний других героев и образов мне почему-то слышатся слова хроменькой девушки («Вспомнил хроменькую, пестро одетую девушку с печальными глазами, и вся жизнь представилась мне в образе этой девушки», стр. 29), которые нераздельно слились с жалобами немецкой песенки:

О, отчизна дорогая...

## II. ДЕЛА ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

### Я. Тугендхольд

Еще сравнительно недавно изобразительное искусство и в особенности живопись находились у нас в заго-не. Целый ряд причин привел к этому состоянию. Прежде всего сама Октябрьская революция, побудившая одних художников эмигрировать (и притом как раз художников крупного калибра, как Билибин, Григорьев, Малявин, Рерих), в то же время отвлекла других (и как раз наиболее чутких и молодых)

от их прямого призвания в сторону общест-венности: обслуживания революции, художественного администрирования и т. п. Разумеется, революция знала что делала: эта смычка художников с жизнью, при всем своем «ударном» порядке, в конце концов пошла искусству на пользу. Но факт остается фактом: на время мы отучились от живописи и—без того небогатые художественными традициями—вернулись к почти пер-

вобитному состоянию, при котором приходится многое начинать сначала. Второй причиной отлива интереса к живописи явилось теоретическое сомнение самой молодежи в праве на существование художественной «изобразительности», как якобы пережитка буржуазной культуры. Из совершенно правильной предпосылки, внушенной революцией трудящихся, о том, что искусство есть так же трудовой и производственный процесс и что, следовательно, оно должно углублять свое профессиональное мастерство, был сделан неправильный вывод. Искусство было приравнено к производству, художник к сапожнику, столяру и портному, «картина» уступила место «вещи». Изобразительность и эмоциональность стали признаками дурного вкуса, показателями художественной неблагонадежности. Наша молодежь ушла в лабораторию чисто аналитических опытов, в кухню чисто «фактурного» изобретательства. Наконец, третьей причиной, мешавшей нашему искусству выйти на большую дорогу, явилась крайняя материальная его проблематичность. Частный любитель-покупатель был упразднен, а новый коллективный заказчик—тот, которого революция рано или поздно создаст, другими словами, покупатель-государство, покупатель-профсоюзы и организации—экономически еще недостаточно для этого созрел. Изводить холст и краски стало делом убыточным и подвижническим,—тем более, что нашими журналами и журналчиками, весьма нетребовательными по части художественного «качества», был открыт клапан громадного спроса на иллюстрацию...

Таковы были основные тормозы, вызвавшие недавнюю заминку в нашем живописном росте и почти угрожавшие нам художественным «обескультурением».

В настоящий момент эти отрицательные факторы уже отходят в прошлое. Революция настолько окрепла, что может позволить себе роскошь не «отвлекать» художников от их ремесла, и если некоторая часть нашего старшего художественного поколения, повидимому, прочно осела в «свободной» Европе, то зато у нас зеленеют новые всходы,

первые послереволюционные выпуски художественных вузов. С другой стороны, теория ненужности станковой живописи для пролетариата в громадной степени уже опровергнута самой жизнью. Как бы ни американизировалась Россия,—ей еще очень и очень нужна великая эмоциональная сила живописной «иллюзии». Пусть интеллигенция пресытилась живописью, но широкие массы России не только не переросли живопись, как некий пережиток, но, наоборот, только теперь начинают дорастать и дотягиваться до нее. Пробуждение почти стихийного интереса к искусству блестяще подтверждается громадными цифрами посещаемости Третьяковской галереи и других музеев, и, наоборот,—не отсутствием ли подлинной живописи в наших клубах, столь перегруженных сухими фотомонтажами и диаграммами, об'ясняется некоторый отлив интереса к ним, как к очагам отдыха, со стороны рабочей молодежи? Как раз недавно Главнаукой произведен был интереснейший опыт—устройство госуд. передвижной выставки картин по городам Поволжья (Саратов, Сталинград, Нижний, Казань, Самара). Выставку эту посетило свыше 20.000 человек: пионеры, комсомольцы, студенты, учителя, рабочие, крестьяне, служащие, а анкета, произведенная среди посетителей (хотя и не научно поставленная), дала результаты, далеко небезытересные.

Что касается, наконец, материально-го базиса нашего искусства, то хотя радикального улучшения в этом смысле не может быть, пока не улучшилось общее экономическое положение СССР, но все же само государство уже начинает оказывать активное содействие искусству. С этого года при Главнауке образован фонд для государственных закупок произведений изобразительно-го искусства, и учреждена особая авторитетная комиссия по закупкам. Эта государственная закупочная деятельность, которая в руках иностранной бюрократии могла бы послужить опасным орудием официального давления на искусство (кто не знает прелестей официального протекционизма и кумовских покупок во Франции!), у нас—



надо надеяться—в подобное орудие не превратится. В основу деятельности указанной комиссии Наркомпросом совершенно правильно положен принцип равного внимания *ко всем течениям* нашего искусства. Кроме того, Главнаука постановила притти на помощь искусству и устройством государственных выставок. Их задачей является сделать доступными широким массам достижения современного искусства и способствовать поднятию самого художественного мастерства. При этом решено устраивать как ежегодную государственную показательную выставку-салон для всех направлений, так и отдельные — эпизодические, групповые и персональные—выставки. Таким образом и здесь, как и в области закупочной политики, наша государственность желает утвердить мудрый принцип художественной терпимости (гораздо большей, конечно, нежели пресловутая «свобода» западно-европейской художественной политики, благодетельной лишь для светско-академических художников).

Иначе и не может быть: социальный заказ, который ставит наша эпоха перед искусством, уже ни в коем случае не должен пониматься в смысле задания для «немедленного исполнения». Наоборот, следует с удовлетворением констатировать, что мы начинаем изживать эпоху халтуры и вступать в период подлинного, искреннего, изнутри идущего, поворота нашего искусства лицом к *современности*, к *современному жанру*. Форсирование этого процесса с помощью каких-либо официальных мер в пользу количества за счет качества может лишь оказать искусству медвежью услугу.

\* \* \*

В том, что этот процесс оздоровления нашего искусства совершается, сомневаться не приходится. Об этом свидетельствует происшедшая перегруппировка наших художественных сил. Она выразилась, с одной стороны, в отмирании идеологически устаревших групп («Мир искусства», «Союз русских художников», «Передвижники» и т. д.), а с другой стороны, в рождении и бо-

лее того—об'единении новых групп («Бытие», «Общество станковистов», «АХРР», вобравшее в себя «Московских живописцев»). Если еще вчера на фронте нашего искусства шла ожесточенная борьба между «правыми» и «левыми», то теперь острые углы сглаживаются и мы приходим все более и более к какому-то почти единому, художественному фронту. Это выпрямление его совершается по линии все большей и большей установки нашего художества на реализм, как на некую общую и твердую платформу. Так, с одной стороны, мы видим, что левая художественная молодежь изживает свой уклон в сторону беспредметничества и формализма, переходя к ясной конкретности и революционной содержательности («ОСТ»), а с другой, даже в стане наиболее «правых» АХРР'овцев наблюдается стремление поднять качество своей продукции, опереться на квалифицированное мастерство. Все эти наблюдения подтверждают и открывшийся художественный сезон, по обилию выставок не уступающий довоенному времени. Выставки «Маковец», «Бытие», Ватагина, Юона, Кончаловского, а впереди АХРР, об-ва скульпторов, «ОСТ» и «4-х искусств» — урожай немалый!

Несколько особняком,—на переломе—стоит группа «Маковец», возникшая три года назад и являющаяся собою некую переходную ступень от недавнего напряженнейшего и полуфантастического существования нашего к современному «мирному строительству». «Маковец» родился под сильнейшим воздействием—я бы сказал, под падающей звездой художника Чекрыгина, юноши почти гениального, погибшего безвременно в 1922 г. Промелькнувший, как метеор, талант Чекрыгина был родственен Врубелю; в нем было что-то трагическое. В композициях Чекрыгина воплотился динамизм, катастрофичность и мучительность наших недавних тяжелых лет. Вот эта-то надрывная и полумистическая нота и звучала в выступлениях художников «Маковца», художников по преимуществу лирического склада (Жегин, Рындин, Синеубов, Пестель и др.) Теперь мистический туман рассеивается: «Маковец» оседает

на землю, и тонус его мироощущения становится здоровее. Это показала и текущая выставка, на которой был целый ряд холстов почти реалистического типа, как, например, «Крестьяне» Герасимова, рабочие мотивы Шевченко и т. д. Большим плюсом «Маковца» является его художественная культурность: забота о культуре формы здесь на первом плане. Члены этой группы—пожалуй, наиболее образованные художники среди нашей молодежи. В творчестве «Маковца» скрещиваются самые разнообразныя влияния и традиции—итальянизм и иконописность (Чернышев), японизм (Бруни), романтизм Гюиса и фантастика Гойи (Рындин и др.), русский лубок и французский кубизм (Шевченко). Но именно в этой чрезмерной сложности «Маковца» источник его слабости. Переизбыток культурных воспоминаний тяготеет над ним непосильным грузом, сообщая его творчеству печать некоторой усталости, вялости, изнеженности. Таковы, например, «Крестьяне» Герасимова—с отличным выразительным и синтетическим рисунком и, в то же время, с несколько слащавым колоритом, или пейзажи с фигурами Шевченко, при всех своих живописных достоинствах, не лишены ватности; таковы же и «Пионерки» Чернышева, задуманные не без пафоса, как проекты монументальных фресок, но обесиленные чересчур стилизованной (Византия? Греко?) хрупкой худобой фигур.

\* \* \*

Если таков эклектический и слишком интеллигентски-изысканный лик «Маковца», то, наоборот, на широком и румяном лице «Бытия»—все ясно, как на ладони. Это молодежь, всего лишь несколько лет кончившая Вхутемас, точнее—прошедшая через выучку мастеров б. «Бубнового вала» (двое из которых, Кончаловский и Осмеркин, как некие патриархи, фигурируют тут же среди молодежи). В противоположность сдержанному, по существу скорей графическому, нежели живописному, «Маковцу»—здесь сплошная красочная ярь, сплошное и откровенное упование материальностью, сочной кровью и плотью вещей. Зеленъ, небо, земля, ро-

зовое тело, разноцветные одежды—без всяких философических идей—прекрасное вещество, как таковое! Живопись, как таковая! После красочного голода—сладоэрастная радость погружения в жирную красочную гущу! И поскольку «Бытие» является реакцией против нашего недавнего чертежного беспредметничества и квази-научного мудрствования, поскольку «Бытие» утверждает жизнерадостное восприятие мира.—это симптом, несомненно, здоровый. В эпохи кризиса возврат к природе всегда укрепляет искусство, как прикосновение к матери-земле легендарного Антея. Школа пейзажа—санатория для живописи.

Среди художников «Бытия» есть обещающе даровитые люди: Новожилов, Богданов, Земенков, Глушкин, Мухин, Перуцкий, Ражин, Стеншинский, Шабль. Однако и в полномковном «Бытии» не все благополучно. Здесь больше заботы о количестве краски, нежели о качестве ее; здесь больше сырой тюбиковой краски вообще, нежели художественно звучащего *цвета*. При виде этой рыхлой и жирной манеры живописи, и расточительной кладки краски, художникам из «Бытия» хочется сказать словами рабочего из упомянутой мною волжской анкеты: «Товарищи, холст и краски стоят денег, не надо бесхозяйственности!» И если «Маковец» страдает излишним психологизмом, то здесь обратный грех—однообразная и равнодушная материализация всего окружающего, самодовлеющая красочность. Художникам из «Бытия», в сущности, все равно, что писать: пейзаж, наготу, комсомолку или крестьянина; все воспринимается одинаково поверхностно и одинаково статично. Только в крестьянских образах Глушкина и Перуцкого, да в городских мотивах Земенкова есть какая-то экспрессия, но она происхождения отраженного: у первых двух от старых «мужичьих» художников Голландии, а у последнего от сатириков современной болезненно мрачной Германии. Что же касается других живописцев «Бытия», то если их и можно похвалить за попытки создания картины и при том современной жанровой картины (как, наприм., Осмеркина «Подмосковный трактор», Богданова «Порт-

нихи», Сретенского «Маруся» и т. д.), то, с другой стороны, приходится сказать, что попытки эти еще довольно вялы. Художники из «Бытия» еще не умеют компановать картины, строить и организовывать ее, как некое крепкое и выразительное целое. Их несомненная темпераментность выражается лишь в физическом напоре, в силе удара в кисти, но не в воле к выбору, не в силе концентрации элементов картины. Не они владеют реальностью, но реальность еще владеет ими, и за их маслянистой красочностью исчезают костяк и мускулатура формы, равно как и само разнообразие поверхности объектов (телесной, древесной и т. д.).

Но не будем слишком строги: молодод—зелено, болезнь роста, в основе своей адрового... Вот перед нами другая выставка—пионера и уже зрелого мастера этого русского сезанизма, П. П. К он ч а л о в с к о г о. Еще не столь давно и он не был чужд этой же озорной ярости краски, этого же буйно-размашистого ловкачества. Теперь эта буйность вошла в берега. Кончаловский овладел своей кистью, быть может даже слишком уж виртуозно и «мастито»! Кончаловский сам по себе—явление радующее. Есть в нем, в его творчестве, как и во всем его физическом облике, нечто целостное, органическое. Не даром де-Монзи, в своем предисловии к каталогу выставки Кончаловского в Париже, усмотрел в нем символическую, чуть ли не богатырскую фигуру несокрушимого духа СССР. Основа творчества Кончаловского — грубовато-русская, плодородная, московская. Он неистово влюблен в реальность, в «естество» мира. Вот почему его итальянские пейзажи последних лет, фигурирующие на выставке, куда слабее пейзажей новгородских. Если некогда Испания оставила в творчестве Кончаловского неизгладимый след именно потому, что ее суровое величие было как-то алэватно ему, то Италия Венеции и Сорренто, сияющая и ласковая, не дошла до него. Несмотря на внешнее сходство некоторых пейзажей Кончаловского с итальянскими работами Александра Иванова («Вечер в Сорренто», «Лимоны», «Виноград»), в них нет именно того

поэтического заражения итальянской природой, которая была у его великого предшественника. То, что есть в Италии мягкого, нежного, тающего, выходит у Кончаловского поверхностно и слащаво, почти олеографично, и, наоборот, по свойству его натуры, ему больше удаются как раз те куски Италии, в которых есть материальная четкость, массивность, густота («Дом Тинторетто», «Грот Нимфы Эгерии» и лучшее из всего итальянского цикла:—«Оливковые деревья»).

Слабость итальянского цикла в значительной мере возмещается успехом другого цикла—видами новгородских кремлей, церквей и окрестностей. Здесь Кончаловский в родной ему стихии. Древняя новгородская архитектура именно потому и влечет к себе Кончаловского, что в ней есть архаическое, суровое величие, какая-то истинная кубистическая простота и ясность каменных масс. В пейзажах Новгорода (Кремль, Детинец, Софийский Собор, Нередица) Кончаловский обнаруживает подлинное ощущение нашего севера, его крепящего холодка. Вечная синева неба, белизна каменных масс, сочная зелень травы... В то же время в подходе Кончаловского к новгородским пейзажам сказывается и отзвук живописи барбизонцев (выставка которых была устроена в 1920 г.)—Коро и Руссо. Оставаясь по существу тем же «русским сезанистом», Кончаловский воспринял от барбизонцев какую-то новую умиротворяющую ноту. Его колорит, еще недавно резкий до лубочности, стал сдержанней, тише, подернулся серебристо-воздушной дымкой; его манера, прежде ударно-размашистая, упорядочилась, стала легче, невесомее и, наконец, самое построение его композиций стало гармоничнее, монументальнее. Эта монументальность пейзажа, сказавшаяся еще в пейзажах Абрамцевских дубов, особенно хороша в новгородских «Ветлах» с превосходно уравновешенными массами деревьев.

Указанные черты проявляются и в фигурных работах Кончаловского—автопортрете, портретах дочерей, «Новгородцах». Раньше художник воспринимал человеческую фигуру чисто деко-

ративно, как плоскостной образ, как красочное пятно или, наоборот, как объемную схему. Теперешняя концепция человека у Кончаловского проще, мягче: художник берет человека в воздушной среде. Таковы профильный портрет его дочери с грустными глазами (в котором есть нечто от Сурикова), или автопортрет бреющегося и улыбающегося художника. Здесь сквозит какая-то умудренность и успокоенность мастера, прежнего бунтаря. Однако скажем откровенно: это — признаки зрелости и завершенности, но отнюдь не исходные точки какого-то нового подъема. Кончаловский созвучен нашей эпохе своим природным, неистощимым оптимизмом, но все же он больше подитоживает какое-то прошлое, нежели прорубает окно в будущее. Он настолько олимпийски здоров, что война и революция для него — как с гуся вода. Точно их и не было! Его итальянские и новгородские пейзажи могли бы быть написаны и десять, и двадцать лет назад. А между тем «пассеистская» Италия изменяется, индустриализируется, а рядом с древним Новгородом вырастает новый Волховстрой. Этого нового в Италии и в России художник не видит. Кончаловский хочет стать новым Репиным (портрет дочери в розовом платье), а в других картинах — новым голландцем (портрет с женой, автопортрет и т. д.). Все это — почтенные намерения, нам не худо было бы сейчас иметь нечто, приближающееся к классическим старикам. *Но искусство современности должно быть современным*; каждая эпоха должна иметь свое искусство, свое мировосприятие, свою композицию. Против этих трюизмов не попрешь!

\* \* \*

И эта современность уже властно стучится в двери искусства и зовет его к себе.

В этом отношении весьма характерна уже упомянутая мною анкета среди поволжского низового зрителя. Почти все посетители передвижной выставки в один голос зывают к художникам: *изобразите наш быт!* Рабочий удивляется, отчего художники проходят мимо труда, производства, фабрики. Крестья-

нин просит: «почаще бы рисовали деревню, крестьянство». Пионер и комсомолец задорно протестуют против равнодушия к быту молодняка, и т. д. и т. д. И в этом наивном и вместе с тем трогательном взывании к искусству — «и нас!», «и нас!», «и нас!» — есть какая-то большая и глубокая правда. Тут уже дело идет не о халтурном или демагогическом потрафлении какой-то «политике», а о чем-то гораздо более серьезном. Это нарождается новый потребитель искусства, новая публика, новый класс, и искусство не может бежать от них в тишину Венеции или древнего Новгорода.

И оно уже начинает считаться с этим новым «спросом». Количество жанровых и бытовых произведений растет на наших выставках. Но к проблеме быта художники подходят еще со старыми глазами. Во-первых, — в смысле тематическом. Нельзя же сводить новый быт к «Лущеню семечек» (Глускин), «Подмосковному трактору» (Осмеркин) или даже «Трактору новгородскому» (Кончаловский). И, во-вторых, — в смысле формально-техническом. Реализм наших дней не может быть простым бытовизмом, возвратом к какому-нибудь Богданову-Бельскому. Он должен быть вооруженным всеми профессиональными достижениями современного мастерства и, наконец, он должен заключать в себе, помимо реальности, и еще *нечто*.

Прочитую еще одно место из анкеты. «Понравилась мне, — пишет казанский зритель, заводской практикант, — картина «Комсомолка» тем, что правдиво, реально, а не идеализируя, изображает девушку-пролетарку, *закаленную* в гражданской войне. Дальше особенно понравилась мне картина, изображающая работу у раскаленного железа. Это по-моему великое создание, это великое изображение *величавого* Труда. Эти багровые лица, эти *мощные* руки, сжимающие клещи...» и т. д.

Любопытные строки — с кажущимся противоречием. Автор хочет от искусства «правдивого, реального, без идеализации, отображения жизни», а в своих комментариях утверждает *самую* подлинную патетику, *самую* подлинную романтику («закаленная» в гра-

жданской войне) и даже пишет слово «Труд» с большой буквы. И он прав. Слишком много мы пережили за это десятилетие, чтобы вернуться к реализму, ни теплomu, ни холодному, к реализму протокольному. Для этого у нас есть фоторепортаж. В эпоху напряженнейших усилий на всех фронтах жизни искусство не может не замешивать действительности дрожжами героини, хмелем активизма. Разумеется, романтизм романтизму рознь. Трагические видения Чекрыгина—романтика гибели, но вспомним французских романтиков—Делакруа, Домье, Жерико, Рюда—это уже романтика жизненных контрастов, движения, борьбы. Вот на что следовало бы «Маковцу» переключить свою романтическую тоску. Вот о чем следовало бы подумать и художникам из «Бытия», чтобы не зарыться в зеленом огороде мирного «жизня-бытья» и выйти из испарины тракторов.

Впрочем, был художник, который умел изображать и трактор синтетически. Кто не помнит «Тракторов» и «Чаепитий» покойного Сапунова (увы, также безвременно ушедшего). В них—подлинный символ дореволюционной русской жизни, обывательщины. Сапунов обладал даром глубочайшего гротеска, в его бытовых образах был не только реальный быт, но и какое-то ультра-реальное бытие (как и у французов—Тулуз-Лотрека, Дега, Ван Гога). Когда-то, вначале, и в «Бубновом валете» пробивалась эта струя острой бытовой выразительности (Наталья Гончарова, Ларионов, отчасти Лентулов)—к сожалению, она заглохла...

\* \* \*

В смысле бытописи интересна выставка К. Ф. Юона, устроенная Третьяковской галлереей, в ознаменование двадцатипятилетия его художественной деятельности. Здесь не место распространяться о заслугах этого художника—очень культурного, вдумчивого, прекрасного педагога и искреннего советского деятеля. Я хочу коснуться лишь некоторых черт его живописи. На выставке К. Юона были представлены его пейзажи, портреты, рисунки,

театральные работы, графика. Но наиболее «юоновское», личное и своеобразное—это его пейзажи. В плане пейзажной живописи Юону принадлежит собственное место. Он не похож на своих больших учителей, Левитана или Серова. Нет в нем ни интеллигентской грусти, ни шемящей горечи, которая была и считалась чуть ли не обязательной традицией русского пейзажа. Юоновское восприятие русской природы—бодрое и праздничное. Кончаловский ищет в русском пейзаже мощи, тяжести; Юон любит ее им скорее как ковром—с ясными, четкими, красочными арабесками. Есть в юоновской природе что-то очень декоративное, свежее, звонкое. Еще давно, тогда, когда другие художники уходили в прошлое, в XVIII век, в поэзию дворянских гнезд и ампириной России («Мир искусства»), Юон нашел другой путь—он возлюбил несправедливо забытую русскую провинцию, уездную, пригородную, средняцкую, мешанскую Русь. Юон ввел ее в искусство и в этом его заслуга. Своей палитрой и техникой художник немало обязан французскому импрессионизму, но он сумел претворить его по-своему, по-московски пестро и звонко. В пейзажах Юона нет эпически безлюдного холодка. Наоборот, Юон чувствует *бытовую* физиономию природы, ее связь с человеческим муравейником, который копошится среди нее. Юон—бытовой пейзажист (как были ими примитивы, Брегель и др.). Юон любит древне-русскую старину—крепости и соборы Новгорода, Пскова, Троицко-Сергиевой Лавры, Ростова Великого и т. д., но его образы этой старины—не музейно-археологические пейзажи. У подножия этих памятников чернеет или пестреет человеческая масса. Базары, ярмарки, пристани, гуляния, молебны и т. д.,—вот основной лейт-мотив юоновского творчества. И коллективное лицо этого «люда» художник чувствует гораздо лучше, нежели лицо отдельного человека в портрете. И здесь какой-то контакт Юона с нашей современностью.

Но старая Русь, изображаемая Юоном, Русь кремлей и церковей,—уже Россия уходящая, перешедшая на

изживание музейного отдела. Точно также затихает патриархальная суега и толчея юоновского люда, русского мещанства. Им на смену идет «Русь Советская». И сам Юон уже старается показать, как «с горы идет крестьянский комсомол и под гармонику, наяривая рьяно, поют агитки Бедного Демьяна, веселым криком оглашая дол»... (С. Есенин).

Но здесь-то мы и приходим к интересной проблеме, ставшей трагической для Есенина и волнующей многих и многих людей искусства. В новой Советской Руси, в будущей России, металлической, где над «красногривым жеребенком» восторжествует «стальная конница»,—будет ли место для той декоративности, яркости и праздничности, которая так свойственна народной России и которая отобразилась у Юона? Этот художник как будто не испытывает боязни перед индустриализмом, перед «скверным гостем», которой полны другие. И он прав. Индустриализация России вовсе не должна означать собою ее расхудожествления, к которому приводит стригущий все под одну гребенку западноевропейский капитализм. Здоровое декоративное начало никогда не исчезнет и не должно исчезнуть из русского быта—с той лишь разницей, что изменится его идеологическое наполнение. В. Вересаев, особенно горячо пропагандирующий идею художественного оформления нового быта, совершенно справедливо указывает на необходимость создания новой советской обрядности, как организующего и бодрящего

начала. Природа не терпит пустоты: на место старого фольклора должен быть поставлен новый. Знаменательно, что сам народ, в лице своих кустарных художников, именно это и делает, сочетая древнюю иконописную праздничность с новым общественным содержанием: я говорю о чудесной лаковой росписи палехских мастеров («Имба - читальня», «Сельсовет», «Пахарь» и т. д.). Утверждение этой декоративной стихии, выявление новых торжественных и положительных сторон быта—вот задача и нашего профессионального художества (от создания новых узоров для ситца и до монументальной живописи).

\* \* \*

Мы видим: попытки отображения новой России в живописи еще довольно слабы. Диагноз, который в заключение мы должны поставить, не очень утешителен. Однако места для скепсиса не должно быть. Не надо забывать, что эпохи революционного напряжения поглощают столько сил народа и нации, что искусство не может поспеть за ними. Оно расцветает скорее в предвидении революции или уже тогда, когда она выкристаллизовалась. Так было на Западе (где, впрочем, и сейчас после военного кровопускания, искусство находится скорее на ущербе, нежели в расцвете). И вот только теперь, после отдельных аналитических исканий, мы наконец начинаем вступать в период какого-то синтетического осознания всего происшедшего. Плоды этой работы еще впереди.

### III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА РАДИО

Евгений Браудо

1

**Р**адиолюбителям, слушающим ежедневно концерты и передачи из оперных театров, даже трудно представить себе, сколько технических усилий сделано и придется еще сделать для безупречной передачи поющего голоса и игры на инструменте. Перспективы, открываемые радио для музыки, без-

граничны. Последний статистический учет дал для Москвы 30.000 зарегистрированных любителей и, вероятно, не меньшее количество имеется радиозайцев. Со сказочной быстротой распространяется интерес к широковежанию среди трудящихся СССР. Около 300.000 рабочих и крестьян слушают ежедневно в клубах и избах-читальнях художественные передачи с мощных московских

радиостанций. Правда, только ничтожная часть из них слушала до сих пор ту музыку, которая теперь чуть ли не ежедневно воспринимается ими, и, вероятно, только небольшая часть из них разбирается в своих художественных впечатлениях. Но такой огромной аудитории русское музыкальное искусство не имело, и это накладывает известные обязательства на постоянный руководительский состав, эти передачи обслуживающий.

Систематичные художественные передачи—дело новое в СССР. После недолгого периода пестрых и случайно подобранных программ крупнейшие радиоорганизации Республики привлекли к своей работе специалистов-руководителей и постарались придать ей выдержанно организационный характер. С радиовещанием стали связывать большие ожидания в деле художественного просвещения масс.

Совершенно естественно, что для всякого любящего свое дело музыканта или чтеца возможность «говорить» с почти миллионной аудиторией на протяжении от Москвы до Иркутска и дальше—слишком заманчива, чтобы не вызвать его на ряд мыслей о новой постановке художественного исполнения в условиях радиопередачи. Но условия эти жестки и требуют длительного их изучения для получения благоприятных результатов. Не всякая музыка есть радиомызыка, и не всякий артист есть радиоартист. Радио необыкновенно строгий критик исполняемого. Из хорошего микрофон отбирает лучшее, совершенно отбрасывая средний по качеству материал, и нигде борьба за качество не принимает таких обостренных форм, как в условиях радиовещания.

К этому присоединяется еще и другое обстоятельство: в отношении художественного восприятия радиослушателей можно разделить на две категории: одних, у которых более развита слуховая способность, и других—с обостренным зрительным восприятием. Последним необходимо некоторое раздражение зрительных нервов и, конечно, они никогда не получают полного удовольствия от музыкальной или словесной

передачи. Широковещание обращается ко всем, и круг его слушателей охватывает представителей обеих категорий. Понятно, что обе будут относиться к художественным передачам по-разному.

Отсюда вытекает ряд следствий: во-первых, для полноты художественного впечатления необходима идеально чистая передача, не искажающая ни голосов, ни инструментов, ни человеческой речи, и улавливающая все их оттенки. Далее необходим исключительно удачный подбор исполнителей для получения подходящего звукового материала. Наконец, воспринимать передачу будет лучше радиолюбитель «слухового» типа, чем «зрительного».

Это одна сторона дела. Другая—в составе слушателей, вмещающем самые разнообразные музыкальные вкусы, с различной степенью художественного развития и с разными, зачастую, художественными интересами.

Общим для всех этих групп надо считать огромную жажду художественного просвещения, недоступного рабоче-крестьянской массе до Октября по бытовым условиям и остающегося таковым еще до настоящего времени. Здесь радиовещание дает безграничные возможности, сравнимые лишь со способами пропаганды через повседневную печать газеты, проникающей в самые отдаленные уголки. Но газеты требуют для своего усвоения хотя бы самой элементарной грамотности, процент же художественно развитых слушателей ничтожно мал. Его можно найти разве среди городского населения. Вся огромная масса радиослушателей в своем подавляющем большинстве до сих пор была совершенно чуждой к тому обилию художественных впечатлений, которые несут ему в настоящее время радиопередачи. Можно с уверенностью сказать, что он с интересом и любопытством ловит эти потоки звуков, даже не будучи в состоянии осознать и разобраться в них.

Из всех искусств звука радио больше всего дает музыку, как наиболее распространенный и любимый в массах вид. Однако при небывалом охвате слушателей возникают самые серьезные опасения, что исполняемые произведения со-

вершенно не окажутся подходящими для массового слушателя. Вся художественная музыка до сих пор предназначена для сравнительно малочисленной аудитории. Передаче крупных симфонических произведений препятствует несовершенство радиотелефонии. Микрофон не вмещает пока большого разнообразия звуков, и потому руководителям музыкальных передач приходится, по преимуществу, ограничиваться камерным репертуаром, предназначенным для небольшого состава исполнителей, и по существу рассчитанным на содержание культурно развитого слушателя.

Стотысячная аудитория радиоконцертов с огромным процентом рабочекрестьянской массы требует иного. Раньше всего музыкальные передачи для такой аудитории должны быть насыщены *песенностью*. Музыка, исполняемая на радио, должна быть очень доступна по своим мелодическим контурам, чуждаться всякой вычурности и давать простые, ясные эмоции.

## 2

Но откуда взять такую музыку и как передать ее по радио, подчеркивая именно эти ее качества? Здесь еще перед нами совершенно открытое поле. До сих пор радиопередачи велись либо совсем несистематично, либо систематика была направлена совсем не в ту сторону, куда надо. Конечно, трудности художественного широковещания в СССР никак нельзя сравнить с положением дела на Западе, где потребителями радиомузыки являются слушатели с определенными музыкальными вкусами, воспитанными преимущественно на легкой бытовой музыке. Наш революционный быт пока не выдвинул богатой музыкальной литературы, а вкусы городской пролетарской массы еще, к счастью, не отравлены теми сексуально-пошлыми мотивами, которые своими мутными волнами затопляют западные радиопередачи и составляют значительный их процент. Нам кажется вполне уместным предложить такой аудитории несложные классические произведения, основанные, главным образом, на ис-

пользовании простых народных и художественных мелодий (Гайдн, Моцарт, Шуберт, Глинка, Бородин). Такая музыка, как показывает опыт, имеет всегда большой успех в рабочих клубных аудиториях. Затем, конечно, крайне желательно сближение передач с бытом пролетарской массы, создание концертов улучшенного типа «Синей блузы», очищенной от музыкальной пошлости, которая, несмотря на все старания, пока еще сопутствует «синемлузным» выступлениям!

Аудитория *крестьянская* требует иного подхода, который, как мне кажется, удачно найден концертами со станции имени Коминтерна. В программах этих концертов преобладают как народные песни, игра на народных инструментах, так и самые простые образцы вокального и инструментального искусства Запада. Некоторое разнообразие могли бы внести концерты, приуроченные к отдельным бытовым моментам (сельско-хозяйственный труд), может и явлениям природы, то-есть тому основному, что находит свое отражение в органических элементах музыки (ритме, мелодии и т. д.).

Но этими двумя типами отнюдь не исчерпываются возможные типы радиоконцертов. Они обслуживают значительное количество трудовой интеллигенции, художественно подвинутой. Эта часть аудитории, а также рабочие, втянутые в музыкальные кружки, жаждут раньше всего художественного просвещения в доступной и неумтомительной форме. Здесь перед музыкальными руководителями радиопередач открываются новые возможности. Необходимо выработать легкий, «портативный» тип исторических концертов, который в пяти-шести вечерах давал бы обзор важнейших моментов музыкального развития. Такие концерты давали бы и вместе с тем возможность социологического обоснования музыкального творческого процесса во времени. Исторический порядок следовало бы перемешивать с концертами тематическими, то-есть установленными на определенном авторе, стиль, или форму (например, танец, романс, балладу и т. д.).



Все эти разделения не исчерпывают однако всех музыкальных возможностей радиопередач. В последнее время замечается сильное увлечение трансляциями из оперных академических театров и концертных зал. Говорят, не надо никаких специальных концертов, давайте отражать художественную жизнь, как она есть, и тем втягивать в нее широкие массы. Эта точка зрения с первого взгляда имеет некоторую убедительность. В самом деле, что можно возразить против лозунга служения радиопередачи жизни окружающей действительности?

Однако ж убедительность эта только кажущаяся, и возражений в области художественного радиовещания можно найти против нее много. Этот лозунг был бы раньше всего справедлив в том случае, если бы существующая музыкальная действительность в какой-либо мере соответствовала культурно-просветительным задачам художественного радиовещания и давала бы подходящий материал для огромного состава радиослушателей. К сожалению, это не так. Установка концертной продукции и оперных театров попрежнему далека еще от подлинных задач культурно-художественной пропаганды в массах. Концертная жизнь сейчас вообще переживает тяжелый кризис: нет старого слушателя, который раньше заполнял аудитории, и только верхи рабочей интеллигенции в небольшом количестве могут быть заинтересованы в современной концертной продукции. Развилась ногоня за ввозными артистическими силами. В концертной жизни господствует анархия, «от раза к разу», и опереться на нее для систематичной повседневной работы нет никакой возможности. Что же касается сборных халтурных и полухалтурных концертов с составом испол-

нителей пестрым и случайным (от Качалова до цыганской певицы Тамары Церетелли), в последнее время сильно развившихся в Москве, то транслировать их ни в коем случае без разбора нельзя и на это не пойдет ни одна уважающая себя организация, если она мало-мальски добросовестно относится к своим задачам. Дело в том, что на таких концертах один номер убивает буквально другой, сводя на-нет художественное впечатление предыдущего и совершенно расшатывая свежее восприятие слушателя от явленной дешевкой самого недоброкачественного свойства.

Что же касается оперных трансляций, то первоначальное увлечение начинает проходить. От слушателей часто получают письма о том, что трудно слушать оперную музыку два часа подряд при отсутствии зрительных впечатлений. Кроме того, репертуар двух Актеатров, БАТ и Экспериментального, слишком скуден и по большей части способствует развитию мешанских и буржуазных вкусов. При известном же отборе и опытном комментировании музруками эти трансляции все же могут принести известную пользу.

Следовательно, основным фондом радиопередачи должно быть радиоискусство. Подобно существующему зрительному, кинематографическому искусству, должно существовать звуковое искусство радио. Вот здесь-то многому можно поучиться нам у Запада! Возможно, что и нашим драматическим артистам и музыкантам придется отбросить старые навыки и играть, петь и декламировать так, как этого требует микрофон. Для нас не подлежит сомнению, что поэтому в ближайшем будущем пойдет организованная радиопередача.

#### IV. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ

Сергей Бугославский

Текущий музыкальный сезон в Москве принес большое увеличение и повышение качества как музыкально-творческой продукции, так и исполне-

ния, что вполне естественно в условиях быстрого роста производительных сил нашего Союза. Характерными чертами сезона 1925—1926 года являются: про-

летаризация различных областей музыки, даже самой отсталой—оперной—и установление контакта с музыкальным Западом как в смысле исполнения (появление на нашей эстраде западно-европейских артистов), так и в смысле знакомства с новейшей музыкальной литературой.

Прежде всего, нужно отметить усиленный рост музыкально-агитационной литературы, которая все теснее связывается с красным календарем, все глубже проникает в темы из области профессионального и семейного быта трудящихся. Попрежнему это в большинстве литература вокальная, преимущественно хоровая. Число композиторов, пишущих эту музыку, пополняется преимущественно молодежью из консерваторских композиторских классов, которая, вероятно, освежит и несколько застывшие и устаревшие элементы господствующего сейчас стиля музыкально-агитационной литературы и внесет в нее больше мастерства; композиторы старшего поколения также понемногу делают вклад в область революционной музыки.

А. Д. Кастальский, больше всех из старшего поколения поработавший в области музыкально-революционной литературы, был недавно представлен «Деревенской симфонией», исполненной оркестром Театра Революции. Это—попытка композитора стать лицом к деревне, изображая в музыке ясной и простой (в манере Глазунова и кучкистов) трудовые процессы крестьянства, используя при этом деревенские песни и в оркестровой разработке и в вокальных партиях (в симфонии участвуют два певца).

Композитор Гнесьин заканчивает большое симфоническое произведение, где будут использованы темы революционных песен; много вокальных вещей на революционные тексты написал Рославец.

Во всех сочинениях, предназначенных для рабочих клубов (нужно кстати заметить, что последнее время и профессиональные музыкальные школы стали исполнять музыкально-агитационную литературу), композиторы естественно должны были упрощать свое

письмо, отрешаться от романтического, выросшего в кабинетном уединении, слушателя—от индивидуализма. Эстетика «левого» и «правого» искусства, созданная в атмосфере буржуазной идеологии, естественно исчезает и намечаются грани, диктуемые новым потребителем музыки. Близится время, когда композитор будет стоять лицом к лицу с той группой слушателей, для которой он пишет то или иное произведение, и сможет сказать трезвыми словами Моцарта: «я знаю свою публику». Мало того, композитору придется, по видимому, скоро отзываться и на заказы музыки для определенной цели (праздник ли, инсценировка ли, живая ли газета и т. д.), на определенный сюжет и даже на данную мелодию бытовой песни. Ведь и это имело место в быту композиторов XVIII века, до эпохи отделения интеллигенции от масс, до формулы для творца-художника: «ты царь,—живи один». Словом, сдвиг в мирозерцании композиторов намечен ясно, и именно в последний год. Он сказывается и в области композиций для театра.

Московским композитором Ивановым-Борецким написана небольшая одноактная опера «Праздник электричества» (на тему об электрификации деревни). Стиль мастерски сделанной музыки близок к прозрачности и здоровому веселью немецких классиков. В Москве опера еще не шла.

Осуществившиеся постановки говорят о твердом курсе на революционизирование оперного либретто. Рассмотрим эти опыты.

Один из первых—постановка в Гос. Экспериментальном театре новой оперы Триодина «Степан Разин» (либретто композитора). Либретто заключает в себе достаточно выразительно выявленные элементы классовой борьбы и революционно-агитационной, а также движение крестьянских масс. Музыка написана с расчетом на массового слушателя: она доступна, не перегружена, однако необычайно ветха по стилю, довольно близко повторяющему общие места Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова. Даже в героические моменты действия звучит сладенький

полупатальянский минор. В опере нет ни музыкальных характеристик, ни колоритного оркестра. Недостигнутое композитором восполнено режиссером Диким, который оживил хор, сделал его динамичной, буйной массой.

Другая революционная опера «Декабристы» (Академический Большой театр) принадлежит перу опытного музыканта В. Золотарева (либретто Ясиновского). В тексте оперы индивидуальная лирика и трафаретные места оперного либретто заслоняют и героическое, что сейчас привлекает нашу мысль к декабристам, а классовые основы заговора и совсем не намечены.

Музыка оперы отнюдь не революционна ни по настроению, ни по стилю, ни по новизне звучаний. Она абстрактно-камерна, не следит за действием, за сценическими характерами. Все действующие лица поют однородные лирические мелодии. Вообще вся музыка оперы очень напоминает лирико-элегический стиль «Евгения Онегина», погружая слушателя не в мир протеста передовой дворянской интеллигенции, а в сентиментальный стиль дряхлеющего класса. Постановка оперы (режиссер А. Петровский) выполнена в массовых архитектурных сооружениях александровского «ампира», символически подчеркивающих железную руку самодержавной власти.

Из возобновленных старых опер нужно отметить блестящую постановку «Саломеи» Рих. Штрауса, с очень сильной певицей Павловской в роли Саломеи и балет «Эсмеральда» (на сюжет «Собора Парижской Богоматери» Гюго), который, после столетней паузы, показан в исключительной пышности, в новой оркестровке Глиэра и с попыткой внести революционные мотивы в сюжет. Гельцер-Эсмеральда не только виртуозно исполнила одну из труднейших балетных партий, но и создала яркий сценический образ «дочери народа».

Нельзя не отметить работу над «Сорочинской Ярмаркой» Мусоргского, продланной молодежью оперной студии им. Шалапина, работу, выполненную тщательно как со стороны актерской игры, так и со стороны музыкально-вокальной.

Попытки создать подвижную оперную труппу, обслуживающую рабочие районы Москвы, приведшие было в прошлом сезоне к каким-то достижениям, нашедшим живой отклик в рабочей аудитории (Каляевский, Замоскворецкий театры), в этом году, к сожалению, прекратились. Единственный «оперно-художественный» коллектив, организованный Посредрабисом, пока показал крайне небрежную, безрежиссерскую работу, доходящую до курьезов (наприм., повторение оркестрового отрывка, в виду запоздания выхода на сцену певца). А между тем оперные спектакли коллектива в театре «Аквариум» всегда переполнены пролетарской аудиторией.

Оркестровая эстрада необычайно разрослась. Одновременно работает несколько оркестровых составов: оркестр Театра Революции, оркестр Большого театра, Персимфанс (т.-е. первый симфонический ансамбль), оркестр без дирижера, оркестр, выступающий в концертах, организованных Домом Ученых, небольшие оркестровые составы, обслуживающие рабочие клубы.

Наиболее планомерно и систематически работает оркестр Театра Революции. В его еженедельных концертах прошли две серии программы: лучшие образцы мировой оркестровой литературы (популярные концерты), концерты современной русской музыки (исполнены сочинения Гедике, Василенко, Глиэра, Мясковского, сочинения молодых авторов, чаще всего в первый раз по рукописи).

Под руководством дирижеров Иполитова-Иванова, Сука, Василенко, Сараджева, Шейдлер, Небольсина оркестр непрерывно совершенствовался (достаточно сказать, что им исполнен Скрябинский цикл). Нельзя не отметить, что музыканты несли свой труд почти безвозмездно. Зато самый горячий прием постоянной аудитории, пролетарской более, чем во всех других концертах, был всегда наградой коллективу.

Великолепный (по отзывам мировых дирижеров, бывших в Москве) оркестр Большого театра выступает исключительно в концертах, организованных

Российской Филармонией (Росфил). Одна серия концертов—популярные концерты, построенные по исторической схеме и проводимые местными дирижерами. Эти концерты собирали преимущественно аудиторию из учащейся молодежи, совслужащих, работников умственного труда. Последний месяц, под напором второй боевой серии концертов с западными дирижерами, популярные концерты, к сожалению, прекратились. Росфил показал нам исполнение больших мастеров-дирижеров, а, вместе с тем, и новости западно-европейского музыкального творчества.

Пред москвичем прошли в последние месяцы значительные артистические фигуры дирижеров: огненно-страстного, экспрессивного Клемперера, эффектного и умного музыканта Оскара Фрида, исключительно-тонкого музыканта, достигающего наивысшего контакта с оркестром, парижского дирижера Пьера Монте.

Персимфанс удвоил свою работу, выступая в двух (с торжественными программами) абонементных концертах с твердым составом весьма многочисленной аудитории. Персимфанс преодолел и трудность бездирижерного исполнения «Девятой симфонии» Бетховена и «Свифской сюиты» Сергея Прокофьева, имя которого не сходит в последнее время с московских программ. Его бодрая, буйная музыка, знаменующая падение романтизма в музыке, возврат кое в чем к классицизму и простоте в плане нового обостренного звукозерцания, приковывает внимание и творческой и исполнительской молодежи. Из западно-европейских музыкантов приковало всеобщее внимание исполнение, под управлением Монте, сочинения французского композитора Оннегера, звукописующее динамику паровоза «Пацифик № 231». Это—вещь сильная своей разгадкой музыки шумов в плане симфонической, а не джазбандовой звучности и формы.

Оркестру Дома Ученых, под управлением Садовникова, мы обязаны четырехкратным корректным исполнением «Реквиема» Моцарта.

Сильно растет импорт иностранных солистов-виртуозов; не всегда

оправданный их художественной ценностью.

На смену всех пленившему пианисту Э. Петри явился блестящий техник Лев Сирота, вялый Г. Гальстон, салонно-эффектный Жиль-Марше, раскрывший перед нами довольно легковесный запас фортепианного творчества современной Франции; французская скрипачка Астриук блеснула силой звука и чистой техникой.

Сильно всколыхнулись и любители и музыканты после выступлений испанского гитариста-виртуоза Андре Сеговия (род. в 1896 г.). Он не только раскрыл дремлющие силы и неожиданное богатство колорита гитары, бросив мысль о напрасно забытых и презираемых в музшколах лютне, балалайке, гармонике, но и исполнением классиков XVIII века, свежих испанцев, творящих на основе своей народной песни, а также и модернистов Запада,—он показал образец камерного изысканного стиля в исполнении.

Гамбургский органист Альфред Ситтард доставил большое наслаждение виртуозным, чрезвычайно красочным и строгим исполнением старой и новой органной литературы.

Рояль не умолкает и под пальцами местных виртуозов. Знаменательно последнее выступление проф. Игумнова, давшего особенно яркого в своей строгой холодности и здравости С. Прокофьева. Концертировали тонкий индивидуально-яркий пианист Нейгауз и много работающей способной молодежи (Калобова, Гинзбург, Шацкес и др.).

На вокальной эстраде не все благополучно. Прежде всего, Малый зал Консерватории открыл свои двери и для ученических сырых сольных выступлений—и что много хуже,—и для исполнителей чрезвычайно «облегченного» эстрадного репертуара. Подмосткам Малого зала Консерватории следовало бы вернуть их почетную роль образцовой, показательной концертной эстрады.

Самоотверженно, с большим вкусом и чувством стиля, провел серию вокальных вечеров проф. Райский, с большим успехом выступает в последние

недели тонкая интимная певица Зоя Лодий. Мелькнул в одном концерте исключительный вокалист П. Словцов. Выступления вернувшегося с Запада Д. Смирнова ещё раз подтвердили силу хорошей школы, но разочаровали в художественной стороне исполнения.

Изредка выступали два состава квартета имени Московской Консерватории, крепкий молодой ансамбль и им. Страдивариуса. Оба ансамбля часто играют новинки квартетной литературы Запада.

Хоровое дело у нас в Москве развито мало: лишь дважды выступала гос. капелла, хор-виртуоз под управлением Чеснокова со «Всенощной» Рахманинова, по клубам часто выступает два крестьянских хора, один под управлением Пятницкого (хор работает уже 15 лет) и вновь сорганизованный при моск. губернском Доме Крестьянина—хор деревни «Сельцо» под управлением крестьянина Яркова. Оба хора берегут и хорошо исполняют старые крестьянские песни.

## У. ДВА АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЯ

### А. Литвинова

**Н**овое поколение дало Англии двух выдающихся писателей. Оба они имеют, казалось бы, все права на то, чтобы приобрести обще-европейское значение; и однако—ни тот, ни другой, по моему, этого не достигли, хотя наиболее плодовитый из них удостоился славы в Америке и переводов в России, а другой является автором самого содержательного и самого блестящего романа, какой только был написан в Англии за последние 15 лет.

Писатели, о которых я хочу говорить—Э. М. Ферстер и Д. Н. Лауренс.

Их следует считать писателями довоенного периода, так как, хотя каждому из них еще нет сорока лет—они успели дать совершенно законченные и зрелые произведения до 1914 года, и для них война была не трагическим пробуждением, как для писателей младшего поколения,—а неприятным и непрошенным перерывом.

За последнее время в витринах московских книжных магазинов появились переводные вещи Лауренса. К сожалению, выбор их неудачен. Не принято во внимание, что у Лауренса в его творчестве два, резко разграниченных периода. *Первый*: период утонченного стиля, период дерзко-эротический, полный пленительных описаний природы, детей и любовных об'ятий. К этому периоду относятся ранние поэмы Лауренса и роман: «Белый павлин». Появление этих вещей шума не наделало,

но для тонких знатоков и ценителей в них было несомненное обещание будущей мощи. Они отличались необыкновенной стилистической сверх-чувствительностью, исключительной способностью к воспроизведению характерных диалогов, и огромным ощущением важности половых отношений, но в них было мало истинного искусства *рассказа*. Под этим я подразумеваю не только рассказ о каких-либо событиях, по выявление социально-общественной атмосферы, которого мы в праве требовать от произведения, имеющего притязание называться романом.

Юным героям «Белого павлина» следовало бы быть принцами и принцессами из какой-нибудь волшебной сказки (такими они, вероятно, и представлялись юношескому и—в то время—романтическому воображению автора), а не типами XX века, — так трудно понять и распутать их взаимоотношения и социальное положение. Причина этого вполне понятна. Д. Н. Лауренс—сын шахтера, вышедший в школьные учителя. Скучность и тяжесть обстановки его раннего детства внушали ему отвращение. Голова его была набита поэзией и романтической литературой, и молодой писатель не сразу понял, что единственный путь выйти на свет из болота—лежит через это самое болото. Он с жадным отчаянием старался уловить и выхватить перья у тех пестроцветных птиц, что носились над его

головой... По выражению английского поэта, он «лежал в грязи и смотрел на звезды», и в результате получилось «звездное» творчество, красивенькое, но не удовлетворяющее.

Потом молодой писатель обратился к задаче, гораздо более достойной, трезвой, но и более трудной: описать ту жизнь, ту среду, которые создали его. И он написал замечательную вещь— «Сыновья и любовники». Вот книга, которую следовало бы перевести для русского читателя. В этой книге Лауренс писал исключительно о людях, об обстановке,—по-настоящему близких и знакомых ему. И не ослепительная, напыщенная «Радуга», и уж, конечно, не тот скучнейший «Жезл Аарона» с его дешевым шиком в описании богемы и с его псевдо-философией,—а именно «Сыновья и любовники» богаты интересом как общественным, так и эмоциональным. Тут мы имеем дело с редким явлением: верным описанием быта—и особенно занимательного для русского читателя быта английских шахтеров.

Добродушный пьяница-отец, понахватавшаяся образования мать, которая, в своем стремлении к «чему-то высшему», спасает сына от ада рудников, правда, затем, чтобы ввергнуть его во восторженный ад английской муниципальной школы.

Настоящей темой романа являются эмоциональные взаимоотношения между слишком обожающей матерью и сыном, и та фатальная роль, которую они играют в его тяготении к более свободной, более естественной любви. Книга эта вышла как раз в момент разгара в Англии лихорадочного интереса к психоанализу; весьма вероятно, что автор романа уже был тогда захвачен этой общей волной.

«Сыновья и любовники»—значительнейшее произведение Лауренса: лучше он ничего не написал, хотя впоследствии, много позже, он дал вещь, не уступающую по достоинству «Сыновьям и любовникам», хотя и в другом роде—«Заблудшая девушка».

Книги его вызвали в Англии бурю негодования именно из-за своей безнравственности, «насыщенности половым вопросом», «неприличной несдер-

жанности» и пр. и пр. «Радуга» была даже ни более ни менее как предана сожжению по приказу британского суда, прежде чем успела развратить непорочную британскую публику.

«Радуга»—вещь во многих отношениях очень сильная, насыщенная атмосферой английской деревни, но тень полузвания психоанализа витает и над ней, и она является предшественницей злополучного романа «Женщины и любовь», которому больше пошло бы название «Женщины в цветных чулках»—так подробно и тщательно отмечает автор цвет чулок каждой женщины, введенной в этой книге. Действие романа разворачивается, к большому ущербу для читателя, на самых вершинах буржуазной английской богемы, и тут (что не удивительно, так как более безвкусной и неувлекательной среды, чем описываемая Лауренсом, не найти во всей Европе),—тут окончательно исчезает небольшой запас юмора, имевшийся у автора. Он с глубочайшей серьезностью описывает кружок людей, продолжающих добросовестно пиливать на своих скрипочках, в то время как дым от пылающей Европы щекочет их чувствительное обоняние.

Он как бы чувствует свою принадлежность к этому утонченному обществу. Никто как-будто и не вспоминает, что он сын шахтера, бедный школьный учитель. Но даже и это лучше, чем страница «философских» рассуждений о Многих и Одном, об одноликости Многих и одноликости Одного, которые он выдает за критику Уота Уитмана.

Кроме романов у Лауренса есть еще путевые очерки: из них «Путешествие по Италии» следует перевести. Оно написано искренно, с тонким вниманием, с большой щедростью образов и правдивых наблюдений, в которых Лауренс выказывает себя настоящим мастером своего дела.

Есть у Лауренса несколько сборников превосходных по технике стихотворений, полных чувства и страсти, и, наконец,—короткие рассказы, ясно выражающие как сильную, так и слабую сторону автора: его дар—выявлять атмосферу, и его неспособность—четко развернуть свой сюжет.

Другой автор, о котором я собираюсь говорить, Э. М. Ферстер, принадлежит к совершенно другой категории писателей. Последняя его вещь, — «Поездка в Индию» — действительно интересна.

Ферстер настолько же типичный продукт литературы, насколько Лауренс — самородок из народа. У обоих писателей — несомненный литературный талант; оба склонны предаваться какому-то псевдо-мистицизму, который с эпидемическим постоянством всегда в большей или меньшей мере существует в Англии. Лауренсом иногда даже овладевает нечто в роде Уитмановского психоаналитического безумия, а Ферстер видел Пана косматого, с рожками, копытцами и тростниковой свирелью — в лесных чащах, где из дупла каждой серебристой березы выглядывает пугливая Дриада со смеющимися глазами.

Оба эти уклона нестерпимо скучны, но разница между ними очень знаменательна. Это — разница между человеком, воспитавшимся без культурных традиций, и человеком, вскормленным, подобно своим дедам и отцам, на классиках.

Конечно, первый из них легко становится добычей всякой формы популярной науки, — а второй никак не может выпутаться из тенет аттических воспоминаний. И каждый из них представляет из себя нечто в роде духовного банкрота.

Э. М. Ферстер творит скупо, тогда как Лауренс необычайно плодовит. В Англии Ферстер, при всем уважении к нему, не пользовался большим успехом до появления «Поездки в Индию», вызвавшей некоторое волнение. главным образом, вероятно, благодаря своей не «правверной» политической точке зрения.

Ферстер настолько же легок, насколько Лауренс торжественно-серьезен. У него сухой юмор, полный шаловливого резвого задора, но он всегда держит его в узде. Он бы не мог высокопарным слогом писать о «фаллических соснах», напряженно вздымающихся к небесам, или о молодых женщинах, предпочитающих беговых лошадей своим мужьям, как это делает Лауренс с почти библейской торжественностью. Ферстер не умеет быть торжественным.

После некоторых своих юношеских грешков с Сатирами и Дриадами он стал очень тщательно скрывать раздвоенное копыто мистицизма.

С первого взгляда он настолько объективен, насколько Лауренс наивно субъективен; настолько же тщательно старается уберечь все внутренние движения своей души от взгляда большинства, насколько Лауренс дерзко и вызывающе откровенен. Все свои падения Лауренс свершает на людях, и такая откровенность внушает к нему невольную симпатию даже тогда, когда он доходит до смешного.

Ферстер принимается за роман, пишет его, затем думает над ним лет пять, потом решает, что в нем есть какой-нибудь из 'ян, и начинает работать над новым романом, в котором, по крайней мере, *данного* из 'яна не будет.

«Поездка в Индию» есть не что иное, как простое описание поездки одной пожилой англичанки к сыну — государственному чиновнику, с его невестой. Это необычайно острая критика всей политики британского правительства в Индии, его отношения к поведению английских чиновников, и взаимоотношений с местным населением.

То обстоятельство, что источником иронии у Ферстера является не столько политическая, сколько эстетическая ненависть к буржуазии, — картины не меняет. В Англии артисты ненавидят буржуазию гораздо сильнее, чем тред-юнионисты. Это не значит, что я хоть на минуту собираюсь приписать Ферстеру ненависть к капитализму: он, наверное, сказал бы, что он искренний приверженец капитализма (особенно с тех пор, как его последняя книга стала приносить ему огромный авторский гонорар), но что все капиталисты и их прихлебатели — необыкновенно пошлые и скучные людишки.

Во всяком случае, те из русских читателей, которые хотели бы иметь сделанное рукой первоклассного мастера описание англо-индийской жизни в Индии, и которые желали бы подкрепить в себе с помощью авторитета британского писателя приятное сознание английской несправедливости, — кроме того все, кто способен получить ва-

слаждение от высоко-культурного ума, чеканного мастерского стиля и лукавого, но строго-дисциплинированного юмора, — должны были бы прочесть «Поездку в Индию».

По моему мнению, среди современных английских писателей нет более заслуживающих внимание русской читающей публики, чем Лауренс и Ферстер, — оба такие типичные англичане, и вместе

с тем такие не похожие на русское представление о типичных англичанах.

Вместе взятые, они открывают русскому читателю обширнейшее поле политических и общественных интересов, несмотря на то, что ни один из них не интересуется социальными проблемами, которые они, тем не менее, как истые художники — бессознательно выявляют.

## VI. ДЕРЕВЕНСКИЕ ОЧЕРКИ

### Заметки и наблюдения

Ал. Яковлев

#### Председатель

Еще света не было, а старуха приползла к председателевой избе, постучала палкой в окно:

— Где Трушка-то? Спит что ль? Трушка, чево вылеживаешься? Иди в совет.

Трушка — это председатель сельского совета.

Старухе нужно было какое-то обычное дело. Старухе не спится. Почему же не сделать дело тотчас, хотя на дворе еще и света нет? Она идет, зовет, требует:

— Не вылеживайся.

И это обычно.

— Хоть беги из дому. Ни минуты покоя, — жаловался председатель. — «Раз мы тебя, говорят, выбрали, работай без отказа». И приходится работать без отказа.

Кто он, председатель?

Здесьний, свой, крестьянин села Тамбовки. И старуха вправе звать его Трушкой, потому что он вот на ее глазах вырос, на ее глазах бегал здесь без штанов. Его выбирают с надеждой, что он *наши*, не подведет, зла напрасно не сделает.

Председатель села с населением в 5.000 человек, вот он:

В треухе, в валенках, в потертом пиджаке, ходит торопливо. Когда принимается читать бумаги, надевает очки, в которых одно стекло разбито и связано ниткой, чтобы не вывалилось.

Лошади не имеет. За время председательства лошадь пришлось продать, потому что некогда за ней ухаживать, и «лошадь много корму требует». Точнейше разбирается в законах, уставах. За три года (он ходит уже третьи выборы) научился разбираться в гряде декретов, касающихся деревни. А главное, умеет поговорить просто, по-настоящему с крестьянами.

Вот прибежал в сельсовет человек, до-нельзя взволнованный.

— Разводу требую! Не могу с женой жить! Помогай, Трофим Андрияныч!

Трофим Андрияныч по закону не спрашивает — «разводиться хочешь? разводись». А вот по-соседски спрашивает: «По какому же случаю ты, Тимофей Савелич, разводиться хочешь?»

И после, узнав обо всем, принимается улачивать:

— Разведешься ты, а ведь имущество твое придется делить, — половину жене.

— Как, жене? Да она и двух лет со мной не прожила.

— Все равно, так полагается, на ребенка надо ей. Ты подумай-ка, хорошо ли будет. В семье мало ли неприятностей? Иногда и потерпеть надо. Ты бы подумал. А развод, что же, мы тебя в пять минут разведем...

Молодой мужик, конечно, терпеть не согласен, а вот на счет имущества... это дело... подумать надо.

Проходит день, другой. Тот же мужик приходит:



— Трофим Андрияныч, я пока раздумал разводиться. Ты никому не говори про наш разговор.

Или: завелись в селе воры,—овец тащут, птиц тащут. Дознался председатель, кто тащит, арестовал. Под суд? Значит тюрьма, и вор тогда выйдет самый «настоящий»?

Так с глазу на глаз председатель и поговорил с воров:

— Выгодно ли воровать? Ты вот подумай, посчитай. Сейчас тебя в тюрьму, имуществу ущерб... ты верни украденное и больше не воруй. А мы пока дело прекратим.

Так увещевает, спорит, иногда ругает,—закон-то, конечно, законом, а вот еще свое, житейское, соседское, обычное,—чем крепка деревенская жизнь,—это дает новая выборная власть—председатель.

### Газета

В Тамбовке около 500 дворов. И 52 домохозяйина выписывают газеты,— всего больше «Крестьянскую Газету».

Это уже событие колоссальное, небывалое в истории русской деревни.

Через этих пятьдесят двух вся Тамбовка «знает, что делается на свете».

А главное,—новую законность деревня уразумела, а через эту законность подошла ближе к власти.

Разговоры в деревне с представителями власти теперь самые откровенные. Случается (и нередко), что на собраниях мужики ругают представителя власти самыми последними словами:

— Газеты вон что пишут, а ты вот что говоришь и делаешь. Как же так?.. Ты, товарищ, с тропы не сваливайся.

Обширной коллективной деревенской памятью помнят каждый декрет, каждое раз'яснение. Крепко за них держатся, особенно, если она «на пользу нам».

После декретов крестьянство усердно читает отдел агрономический. Каждый совет по сельскому хозяйству обсуждают целым собранием. Случается, что совет отвергают, осмеивают. И тогда что-то досадное появляется у му-

жиков, будто хороший приятель обманул:

— Да как же так? Этого не надо бы писать.

Разумеется, вести хозяйство, как рекомендуют газетные агрономы, крестьянам и в голову не приходит. Хозяйство ведут по-своему,—но, глядишь, лишний раз конюшню почистил, окно прорубил, кормушку поставил. Новое знание крупными входит в жизнь,—крупными самыми маленькими.

Политическая жизнь Запада интересует мало: «От нас далеко. Нас не касается». И политическая жизнь СССР мало интересует, если она не касается прямо деревни. Вот партийная дискуссия была (и остается пока) таким событием, которое сразу затмило все.

Читают газеты коллективно, 3—5 человек. В избе-читальне собирается много народа, особенно в дни почты.

Сельская учительница говорила мне:

— Прежде крестьяне очень дико об'ясняли газетные слова. Например, конъюнктура об'ясняли так: ссора, драка. Теперь привыкли. Но надо бы, чтобы писали еще проще...

### Без букваря

Здание школы в селе отличное,—двухэтажное, каменное, очень вместительное. В годы гражданской войны оно было полуразрушено. Теперь мало-помалу восстанавливается. Но, конечно, до полного восстановления еще далеко. Лучшие классы стоят пустые— в одном нет зимних рам, а в другом устроена сцена для спектаклей и собраний.

И учителей мало—только четыре. У нас еще ведь по старинке: расхождение на просвещение в самую последнюю очередь.

А потребность в хорошей школе небывалая.

Осенью 1925 года, например, школа испытала очень своеобразную катастрофу. в первую группу записалось больше 200 учеников.

В годы гражданской войны и голода школа почти пустовала, а после, когда население зажило спокойнее,—было недоверие к школе: «Закону божию не

**учат**, поют только песни да шляются из школы гурьбой то в сад, то на речку, что-то высматривают. Какая это учеба?»

И не отдавали детей учиться.

И только с осени 1923 года недоверие к школе чуть-чуть изжилось, ученики стали прибывать, и, наконец, вот эта «катастрофа».

Вся тяжесть предстоящей работы с этой двухсотней оравой свалилась на плечи учительницы, А. С. Парфеловой—заведующей школой. Она обратилась в Кантональный Отдел Народного Образования с просьбой:

— Прошу помощника. А если не можете дать помощника, разрешите половине учеников отказать в приеме.

Из Кантонального Отдела ответили:

— Помощника дать не можем. Отказа в приеме в советской школе быть не может. Разрешаем отсрочить на год прием восьмилетних.

После отбора восьмилетних, все-таки осталось 157 учеников. Вот с этой огромной группой учительница Парфелова и принуждена была заниматься.

Ученики сидят по пяти человек на парте, предназначенной для двоих. Помещение класса рассчитано на 50 человек, теперь в нем в три слишком раза больше народа. И к довершению бед—нет букварей. Ни родители учеников, ни сама школа дать букварь не может по бедности.

Как не смутиться перед такими трудностями?

И все-таки к началу января, то-есть к зимним каникулам, все ученики—все 157—умели читать, писать и считать. И инспектор Кантонального Отдела Народного Образования, ревизуя школу перед роспуском на зимние каникулы, констатировал, что успехи учеников не хуже, чем в школах с нормальным числом учащихся.

Как это было достигнуто?

А путем выдумки—путем особенных методов, придуманных самой учительницей Парфеловой. Голь, как говорится, на выдумки хитра.

Учительница заставила учеников принести в класс что-нибудь печатное,—книгу, обрывок газеты, вырванную страницу из кооперативных отчетов. Частенько это были замусленные

бумажки, отнятые у отцов-курильщиков. На доске учительница писала мелом печатную букву—а, о, у. И ребята в своих бумажках и старых книжонках отыскивали эту букву.

Затем эта буква вписывалась ребятами в свои тетради—в печатном виде.

Так была собрана группа букв, из которых можно было составить легкие слова.

Здесь встретилась первая серьезная трудность. Отыскивать общие слова в обрывках газет и случайных книжонках возможности не было. Учительница заставляла учеников вписывать слова с доски в тетради, и, таким образом, у каждого ученика стал собираться свой рукописный букварь.

Наряду с печатным начертанием ученики знакомились и с начертанием скорописным.

Постепенно прибавляя букву за буквой, учительница в два месяца прошла весь алфавит и научила учеников читать любое слово. К концу первого триместра у немногих учеников—детей самых зажиточных крестьян села,—появились буквари, на всю группу около 20-ти букварей. Буквари стали общим достоянием, они были распределены по партам—один букварь на одну, на две парты...

Путем умения заинтересовать ученика, умения поддержать дисциплину в такой невероятной группе и, применяя свой метод, учительница добилась нужных результатов: ученики читают, пишут, считают.

Посещаемость группы самая высокая. Меньше 140 учеников почти не бывает. Лишь в очень холодные дни спускается до 130, потому что не у всех учеников есть крепкая обувь и одежда.

Как же проходит урок в такой группе? Педагоги часто жалуются, что даже при 80 учениках половина времени уходит на поддержание дисциплины.

Ученики забираются в школу, как обычно в деревне, спозаранку. Шум, гвалт, драки,—это обычно. Ученический комитет пытается поддержать некоторый порядок, правда, не всегда удачно. Деревенская детвора мало признает дисциплину и уже совсем не признает авторитет своих товарищей,

хотя бы и выборных. Случается, что ученический комитет вступает в драку с наиболее беспокойными, чтобы восстановить порядок.

К приходу учительницы уже все на местах. Сидят настолько плотно, что трудно пошевелиться. Парты старые, крышки наполовину поломаны, изрезаны ножами двадцати поколений. Доска облупилась,—из черной сделалась серой, и трудно вато на ней писать. Каждая вещь говорит о крайней нищете школы.

Учительница пишет на доске, ученики в тетрадях. Обычно с половины урока внимание учеников притупляется. В разных углах начинается возня. И достаточно завозиться одним, тотчас возня разливается по всему классу. Призывы к порядку не помогают. Тогда, чтобы снова разбудить внимание, учительница переходит к чтению, к беседам, к счету. При чтении буквари передаются из рук в руки, с парты на парту. Только таким путем—сменой предметов—есть возможность удерживать внимание этой шумной беспокойной массы.

Самое ужасное—это воздух. К концу урока он становится невыносимым. На переменах даже в самые морозные дни приходится отворять дверь настежь. Ребята—кто одетые, кто раздетые—выбегают на площадь, что перед школой, глотнуть воздуха.

— Работать можно, хотя и бедны мы во всем,—говорит учительница,— вот только хоть бы по одному букварю на парту. А то иногда ребята спорят, когда передаем с парты на парту. А теперь, когда мы научились читать и писать, без книжек для чтения стало трудно. Уговаривают родителей, чтобы купили. Прошу у Отдела Народного Образования. Авось, добудем, выберемся.

— А есть ли у вас ученики неуспевающие?

— Как же, есть. Человек двадцать. С ними я занимаюсь час, полтора во вторую смену, подгоняю. Окончательно неуспевающих нет.

### Тракторомания

Казалось, это забава—трактор в русской деревне.

Новый Мир, № 4.

Где нам—при нашей крайней некультурности—сразу скакнуть так далеко? Мы даже до плуга, как следует, не доросли, матушкой-сошенькой и теперь еще земелюк ковыряем. За время войны и революции, когда были во всем нехватки-недостатки, наше сельское хозяйство спустилось еще на несколько ступенек вниз. В некоторых районах не было железа, чтобы починить плужные лемеха или сошники сохи. «Пахали» деревянными «сошниками»; или просто мотыгой вскапывали землю. Всяко бывало.

С 1921 года заговорили у нас о механической обработке земли. И даже опыты были произведены: под Москвой по полям пускали танки, захваченные в боях у белых. Этак пустят танк, а к нему цепями прицепят сразу множество плугов:

— Пашите.

Но вышел маленький конфуз: танк на своем пути так утрамбовывал почву, что после никакой плуг не мог поднять ее. Так пешком по поверхности и скакал, словно по каменной мостовой. Пробовали силой загонять плуг в почву, накладывали на него груз. Плуг ломался и все-таки не шел. Так и пришлось оставить эту затею.

Потом открылись границы, появились заморские товары и между ними уже самый настоящий трактор. Запыхтел, неумело пошел по нашим полям. Помню—в 1923 году под Саратовом поле, вспаханное трактором. Крестьяне, ехавшие в вагоне, помирали от смеха, глядя на это поле. Неизвестно, чего там было больше: огрехов или хорошо положенных борозд. Огрехи сверкали, как лысины между расчесанными жиденькими волосами...

Точно сорина в глазу—мешало наше неуменье.

И вот теперь—январь 1926 года.

Села за Волгой—в Республике Немецкого Поволжья,—бывший Новоузенский уезд Самарской губернии. Я видел эти села весной 1922 года,—тотчас после пережитой голодной зимы с повальными смертями и людоедством. Пустынно, черно, страшно. На гумнах не было даже десятилетней черной мякины, не только соломы. Ныне

гумна высятся точно золотые города—полные скирдов и ометов, огромных, ярких, перед которыми черные избы кажутся маленькими.

Еще в вагоне меня удивил разговор: два мужика, большие, как медведи, одетые в шкуры, точно первобытные люди, в нагольных тулупах, в меховых шапках, в валенках—заговорили о тракторе.

— Сколько керосину тратит? Откуда тракторист—свой или со стороны?

— Тракторист свой—Гринька Беспалов, керосину тратит немного. Постановили другой трактор купить. Еще одного парня послали в Покровск на курсы учиться.

— Мы тоже отправили, двоих.

И было так странно слушать их рассуждения о преимуществах трактора «Фордзон» перед трактором «Карликом», о деталях устройства трактора, о том, сколько трактор пожирает керосину,—слышать от этих людей, одетых в шкуры,—по одежде похожих на первобытных людей.

На мои расспросы они рассказали:

— Тракторы теперь почти в каждом селе. В Федоровском кантоне (объединившем прежние четыре волости Новоузенского уезда) работает уже 61 трактор. Население объединяется в группы, в артели,—и в первую голову берет трактор. О тракторе заговорили все: комитеты крестьянской помощи, кредитные товарищества, союзы семеноводов. Требование на тракторы растет непомерно. В Маркштаде (б. Баронск) устроен свой завод, на котором строятся тракторы-карлики.

— Все поняли: выгода явная. Прежде, чтобы поднять как следует землю, надо было целое стадо верблюдов, лошадей и быков. Корми их зиму, а работа—известно какая работа, самое большее—десятина на плуг от восхода до захода солнца. А трактор—зимой корму не просит, пашет 6—7 десятин в день, пашет глубоко, как никакой запряжке не по силам, после пашни на молотбе первый работник... Вся выгода на его стороне. Дайте только раз вернуться...

Все это меня очень удивило: за два года такие перемены. Мне еще памятен

был смех крестьян над саратовскими полями.

В селе Саловке я впервые познакомился с результатами работы тракторов. В селе 169 домохозяев, из них 42 безлошадных. Союз семеноводов и кредитное товарищество имеют три трактора. Вот уже два года все поля вспахиваются «под зябь»,—единственная рациональная вспашка в засушливом Поволжье.

— Беднякам тоже вспахивают поля тракторами,—рассказывали мне саловцы,—самые бедные семьи теперь имеют по три десятины посева. Все оправдилось.

Саловка—пока единственное село Федоровского кантона, где введено девятиполье. Раз в год—зимой—на общем собрании саловцы постановляют, где какой хлеб сеять. И поля у них уже не пестреют клиньями. Тракторы вспахивают поля сплошь. И летом нивы волнуются, как море...

А за саловцами тянутся и ближние и дальние села,—и трактор мало-помалу занял теперь огромное место в думах и разговорах крестьянства. О нем стали говорить больше, чем о лошади.

Но... трактор стоит самое меньшее 1.500 рублей, лошадь—в десять раз меньше. Три года тому назад земельное управление должно было *навязывать* крестьянам кредиты на покупку трактора,—обещало самую большую рассрочку. И все же немного нашлось желающих. Ныне—кредиты сравнительно сокращены,—крестьяне должны сами внести одну пятую часть стоимости трактора вперед,—остальные в рассрочку на 5 лет,—и тем не менее заявки на тракторы растут горами.

Разумеется, еще много нескладности. Еще нет опытных трактористов. Там трактор налетел на амбар и раздавил стену,—здесь упал под овраг, в третьем месте раздавил воз с арбузами (был такой смехотворный случай около с. Тамбовки). Но это лишь мелкие эпизоды, теперь уже никого не смущающие.

В глухом Заволжье трактор стал героем.

### Бедняки

Мы ходили из избы в избы,—двое, председатель сельского совета и я.

Мы были в избах у зажиточных. Даже у самого богатого мужика на селе. И тут я с особенной остротой понял поговорку: «Деревенское богатство с городской бедностью за одним столом сидят». Считали: три лошади по полтораста рублей, две коровы по шестидесяти, изба—семьсот, то-сё триста... За полторы тысячи самый богатый мужик. Средний месячный доход рублей пятьдесят. А работают летом по двадцати часов в сутки: «Только и поспишь, когда с одного загона на другой переезжаешь».

Но тут хоть видимость человеческого житья есть. Кровать одеялом застлана, и полы крашены, и шкаф с посудой, и у каждого из семейных крепкий овчинный полушубок есть, и валенки осенней валки, и по празникам даже мясо едят,—самый верный признак деревенского богатства.

А вот бедняки:

За улицей, совсем на задворках, беспорядочно стоят глиняные желтые избы с окошечками в ладонь. Возле избы ни кола, ни двора. Снег напал густо со всех сторон. К двери узенькая тропинка, и видать: не очень часто по ней ходили.

Низко нагибаясь, мы проходим в избы. Шесть шагов так, шесть этак,— вот вся изба. Уседистая печь выперла из угла до середины избы. Пол глиняный. Маленький стол, лавка, грубая некрашенная деревянная кровать, на которой, вместо постели, груды сена и старый, изодранный в клочья, пиджак. На лавке босой парень в коротких, почти детских штанах, спускающихся чуть ниже колен. Возле—девушка, тоже босая, в ситцевом платанном-переплатанном платье, и с нерасчесанной головой. Они—двое—с испугом и недоумением смотрят на нас.

С печки, вытягивая шеи, смотрят еще трое: здоровенный мужичина со вислокоченными черными с проседью волосами и буйной бородой и рядом два молодых безусых паренька.

У бородатого мужика глаза округлились от удивления: должно быть, не

часто заходят люди в эту избы. Мужик медленно лезет с печи. Смущенно закрывает спину, потому что там, на рубахе, большущая прореха. Мужик бос, в коротких штанах.

— Как живем? Да чего ж, вот оно— все наше житье тут. Смотрите. Наше богатство всё теперь здесь. Вот под кроватью наши запасы.

Он скрипуче, горько засмеялся и пальцем показал под кровать,—там, в уголке, приютилась сиротливо груды картошек и тощей сухой ржи.

— Вот это наша еда, а вот и пошло.

Он показал на ведро, что стояло в углу. В непокрытом ведре темнела вода, и на краю висел ржавый железный ковшик.

— Вот с'едим эту картошку и рожь, а там ложись и помирай. Только до великого поста хватит. Вот они едочки-то: три сына, дочь, нас двое. Четвертого сына в Красную армию взяли. Младшему четырнадцать годов. Все работники, все здоровые, а сидим— на всю семью одни валенки и те худые. Вот ушла жена на село, а мы и не выйди. Ни одежи, ни обушки. Прежде как жили? Не хуже других. Пожалуй, получше. Две лошади были, да какие. Убей и уезжай, и никто не догонит. Коровы, овцы, хлеб в амбаре. Что ж, приехал Белоус, все под чистую отобрал, оставил нас голыми с пятерыми детьми, а тут еще голод,—ну и сидим вот, смерти ждем.

Лицо у него передернулось судорогой и в горле клокотнуло.

— Неужто нам помощи не будет? Неужто так и дадут умереть с голоду?

Он цепко смотрел в наши лица и в круглых, широко открытых глазах у него был ужас.

— Что ж, я-то хоть сейчас помирать. Мне уже 57 лет. Пожил, будя. А вот ребята-то. Им-то как? Работать? Где ж ее, работу, достать? В город—одежду, обужу надо. Да ныне и в городе работу не сыщешь. А здесь наши мужики совсем не берут:—возьмешь работника, ан са'мого-то в кулаки запишут. Всяк опасается. Вот и сидим. Другим беднякам кредитное товарищество помогает. А нам нет. Нас и из членов выкинули,

потому что надо два рубля платить взносу, а мы не внесли.

Это бедняк от несчастья. Он, конечно, выберется... если не успеет до лета умереть. Три парня, сам он, дочь — все в самой рабочей поре.

Они—это семейство,—самый яркий пример, как осторожно надо обращаться с крестьянским хозяйством: сдвинута держава («приехал Белоус, все отобрал»),—и все пошло прахом. «С'едем картошку и умрем».

...Ещё изба—меньше первой. Даже потолка нет. Прямо крыша, на крыше сверху толстый слой земли, снизу густой слой глины.

Но в простенке между окнами на глиняной стене синей краской нарисовано дерево в банке. Хозяйка—веселая черноглазая женщина,—сидит на лавке, шьет. Она смеется, зубы блестят,—это она, вероятно, нарисовала дерево в простенке.

Муж — здоровый, веселый мужик, бритый, усы двумя сосульками.

— На железной дороге в сторожах служил. Уволили по сокращению. Теперь вот здесь, дома живу. Ничего, как-нибудь проживем.

Во всем этакий легкий дух, беззаботность.

После, когда мы уходили, председатель говорит:

— И муж и жена гуляют. Выпьют на двугривенный и богаче богатого. И уволили-то его за пьянство.

Что ж, очень хорошо:

Бедняк гол, как сокол,  
Всегда песни поет.

Но есть здесь царапинка:

Эта веселая улыбающаяся женщина время от времени—и довольно часто—является в сельский совет и требует, например, топлива.

— Вы обязаны помогать беднякам!—кричит она председателю.—У кулаков вон сколько всего, и скотина, и хлеб, и хорошие избы, а у нас нет ничего.

— Но топлива ты могла бы собрать сама.

— Да как же я соберу, ежели у меня валенок нет?

— Осенью можно было запасти... Вот тетка Наталья совсем старуха,

а запасла топлива на всю зиму. Что ж, у вас с мужем силы меньше?

— Давайте топлива.

И председатель «выскивает». В конце концов тетка идет к какому-нибудь из «закиточных» и тащит от него охапку бурьяна себе на топливо.

Тут недовольно всё село:

— Баба все лето пролежала в холдке, а теперь ей позволяют грабить нас. Раззор! Какая это крестьянская власть? Эта власть только лентяев защищает.

...Еще—третья изба. Вот это бедность! Куда дальше? Мы шагаем через порог, как в яму. Старая солома постлана по всей избе. Острый самогонный дух ударил в нос. Умильная старуха встречает нас поклонами. Она явно смущена.

— Опять самогон варила, бабка?—спрашивает председатель.

— Что ты, батюшка? С тех пор, как ты запретил, я не варю вовсе.

Она суетится, хочет усадить нас обоих, но у ней одна табуретка, маленький столик и больше ничего. Даже кровати нет. В углу в соломе желтеют тыквы.

Старуха пытливо, мельком смотрит на меня, говорит:

— Не варю самогона, не варю, батюшка.

Наверное, она принимает меня за «самогонного начальника» (есть такие теперь в деревне—«агенты по борьбе с самогоном»).

Председатель объясняет мне:

— Вот этот подтопок сделан специально для самогонного аппарата. Сюда вмазывается котел, из котла трубка,—и дело готово.

А старуха спешит оправдываться:

— Сама не варю. Уж ежели добрые люди попросят сварить. Как откажешь? Сваришь,—дадут фунтов пять муки,—тем только и жива была. А ныне и это запретили. Господи, да куда же мне деваться? По миру итти, никто не подаст. Умирать, что ли, мне?

Бабка села на табуретку и прерывисто причитала:

— Что ж это?.. жисть-то какая... голову не знаешь куда преклонить, где путей-дорог найти. Вот варили само-

гон, мне-то хоть на печке тепло было. А запретили, стала я ровно собака на холоду, на голоду.

Когда мы уходили, она вышла проводить нас к двери. И два раза спросила меня:

— Можно, что ли, мне самогон гнать? Ведь бедность, не с чего взяться.

Мы ушли от нее молча.

### Бродячий поэт

В сельский совет пришел человек в тепле, в высоких серых валенках, в теплой куртке, туго подпоясанной ремнем.

Борода подстрижена острым клинушком, лицо тонкое, глаза живые, руки с тонкими длинными пальцами.

— Разрешите поставить вечер моих произведений. Я крестьянский поэт Николаев. Вот заглавия моих стихов и краткое содержание. Ничего политического я не касаюсь. Только местные сюжеты.

Председатель совета направил его в культкомиссию.

— Сговоритесь там. С моей стороны препятствий нет.

Сначала в культкомиссии, потом в сельском совете Николаев прочел несколько стихотворений,—и всем понравился. Вечер разрешили.

Публики набилось много, хотя плата была назначена довольно высокая по деревне—от 5 до 20 копеек за место.

Поэт вышел на сцену во френче, подпоясанном ремнем. В левом грудном кармане у него торчал пузырек, заткнутый газетной бумагой. В пузырьке нюхательный табак. Перед чтением каждого стихотворения поэт насыпал табачку на ладонь, заряжал по очереди обе ноздри и начинал читать.

Он читал с глубоким пафосом, с этими широкими жестами. И, право, это были не плохие стихи в смысле формы. Умело прочитанные, они понравились публике.

Их достоинство—они все были сюжетны, при чем сюжеты самые, можно сказать, местные.

— В калужском кредитном товариществе член правления проворовался.

— В селе Пензенке трактор в'ехал в амбар, проломив стену.

— Гуляла Дуня с Ваней всю весну, а потом Дуня пошла к бабке Вавилихе за помощью. Вавилиха так помогла, что через неделю Дуня лежала в земле, а Ваня и Вавилиха попали в тюрьму...

Наряду со своими стихами он читал стихи Кольцова, Некрасова, Никитина.

Некоторые стихи поэт пел.

Публика яростно аплодировала.

Это был настоящий успех.

Когда, прочитав последнее стихотворение, поэт пошел с шапкой по рядам,—ему не мало клали трудовых пятаков.

— Меня далеко в округе знают,—с гордостью говорил он мне,—меня любят. Нынче я здесь выступаю, а завтра за 25 верст уйду.

— Так пешком и ходите?

— А что ж? Двадцать пять верст—не большой путь. Дело привычное.

— Где же нынче ночуете?

— Зачем ночевать? Сейчас кончу выступление и пойду домой,—я недалеко живу, восемнадцать верст отсюда.

Вечер кончился поздно.

Он, в самом деле, ушел домой,—открыленный успехом, с тремя рублями «гонорара». А дороги-то там пустые, и ночь была темная, ветренная, и шел снег.

## ОТЗЫВЫ О КНИГАХ

**Александр Малышкин.**—«Падение Даира». Рассказы. Из-во «Круг». Москва—Ленинград. Стр. 150. Цена 1 р. 25 к.

Книжка Александра Малышкина по многим причинам заслуживает самого пристального внимания.

Мы говорим не о формальных достижениях ее или недостатках, не об отдельных удачных или неудачных местах. Об'ективная ценность собранных в книжке рассказов различна: «Падение Даира», например, вещь, в свое время вызвавшая радужный, кой-где восторженный прием, остается в дальнейшем непревзойденной, хотя следует отметить, что язык последних вещей значительно проще и ровнее. Но крупным достоинством Малышкина, редким для большинства теперешних сборников, является подбор рассказов, при котором они как бы вытекают один из другого, соединяя книжку в одно неразрывное по замыслу целое. Целое это блестяще возражает тем писателям, что недостаточно ценят и чувствуют наш сегодняшний день, горестно вздыхая о романтических годах гражданской войны.

Малышкин показывает читателю смысл и содержание этой романтики, и от рассказов, относящихся к периоду гражданских боев, проводит читателя через голодный 1921 год к самому последнему времени, к 1925-му году.

«... шли горбатые от сумок, там и сям попыхивая огоньками цыгарок. Земля гудела от шагов, от гнета обозов; роптал и мычал невидимый скот. В избах набились вповалку, до смрада... Между изб пылали костры... и вдоль улиц еще

и еще горели костры... Это было ставное орд, идущих завоевывать прекрасные века».

Не просто Крым, а чудесные грядущие века—вот цель. И потому «армия, занесенная для удара ста тысячами тел», мечтает не о Крыме просто, а о чудесной, неземной стране Даир. «Боже ж, какая есть сторона!»—говорит, грезит один из красноармейцев, греющихся у костра. Командарм, сидящий рядом, слышит неправдоподобные красноармейские разговоры и не отвечает на вопросы, никого не разубеждает, потому что знает, что «над этой ночью будет еще горящая и невозможная; в огненной слепоте рождается мир из смрадных кочевий, из построений на крови эпох».

И вот—множества врываются в Даир:

«... три армии бежали на перегон в островную даль. Ближе и ближе чудились брошенные богатства городов; золотом крыш горело из сказок... С пересохшими ртами бежали кочевья потных иструженных, ведомых снами...»

Пусть конкретно сны выражаются «богатствами» и богатствами «элементов» в енотовых шубах, которые «бородки конусами»: дух стремления к прекрасным будущим векам крепок у потных, с пересохшими ртами. Малышкин умеет убедить читателя в этом, он убеждает, что это—сны множеств.

Вообще же, люди Малышкина совсем не мечтатели. В рассказе «Ночь под Кривым Рогом» мы видим истую подоплеку их, видим, что именно лежит в основе: страстная, необузданная любовь к жизни,



к бытию, когда все вокруг—и ночь, и вагон, и печка—мы.

«... это мы, полусдохшие от стужи, вшей и голода—и все-таки окоченелыми руками, со злобным веселием, прокапывающиеся сквозь сугробы и пургу к жизни».

То же слепое, страстное, непреодолимое стремление сквозь стужу и жестокость, сквозь небывалый риск и преступление сохранить самое драгоценное свое—жизнь—пропитывает насквозь все остальные вещи Малышкина. В этом свете рассказ «Поезд на Юг» приобретает и особую силу заключительного аккорда: им автор рассказывает, как едет он в Крым на курорт—по тем самым местам, где еще недавно проходили «кочевья», где были убиты тысячи людей, где до сих пор обрывки ржавой проволоки обвивают тлеющие столбы.

«Яковлев! Кто из нас не знал о Яковлеве, о легендарном пешеходе через зимний хребет Яйлы, по ледяным тропинкам, ведомым лишь зверям?»

Яковлев, щуплый паренек, недавний вождь зеленой, партизанской армии—теперь начальник милиции в Купянском уезде и тоже едет в Крым, а вместе с ним едет жена и двое детей... И туда же едет краском Григорий Иванович с облупленным деревенским лицом—«он готовился в академию, но срезался по общеобразовательным». Яковлев на каждой станции бегаёт за кипятком и едой, его жена—«она, знаете, нервная, на подпольной работе измоталась»—кормит грудью ребенка, занимает чужую полку и затевает по этому поводу перебранку. Григорий Иванович нерешительно ухаживает за какой-то маменькиной дочкой Женичкой... Где же былая «романтика»?

Поезд несется мимо станций и деревень, здесь когда-то грохотали эшелоны, когда-то шел Деникин, Мамонов:

«... показалось невероятным, что когда-то существовала Березноватка и дело 6-го полка и рассвет над дымящимся Перекопом: заглянуть в них было страшно, как в кощунственно разрытую могилу. И поезда кощун-

ственно мчались за счастьем над темными их полями...

Ведь и я, и я мог там лежать безыменно!».

Романтика наших дней именно в том, что мы умеем «кощунствовать»—умеем кощунственно мчаться за счастьем и над останками погибших тысяч радостно и полно ощущать жизнь: иначе не нужно было бы тысячам гибнуть. В нашей общей погоне за счастьем,—партизан должен становиться милиционером и выращивать детей, а красноармеец—вновь и вновь готовиться в академию.

Вот он—Крым, и море. Вот они, Яковлевы:

«... вижу бережно склоненный затылок женщины и растрепанные нежные волосы, упавшие на шею. В горах похолодело, на плечах ее кое-как наброшено пальто, перешитое из шинели, пальто, в складках которого осталось дыхание буревых, бессмертных лет. Паренек стоит рядом и, засунув руки в карманы, смотрит внимательно ей на грудь»...

А вот—Григорий Иванович:

«... Но кому было дело до Женички? Только мне было видно, как Григорий Иванович бежал снизу, кустами, по краю смертельной синевы и, смеясь, нес эту девчонку на своих руках».

Над недавней кровью, над напряжением борьбы, над снами—торжествует ж и з н ь. Множества победили. И книжка Малышкина, дающая неразрывную цепь образов, становится символичной. Торжество организованной жизни—вот наша романтика,—навсегда.

Это и есть наш Даир.

*Борис Губер.*

**Всеволод Иванов.—«Гафир и Мариам»** (рассказы и повести). Изд. «Круг». М.—Л. Стр. 254 «Весеннее таянье мое. С таяющей, быстро, как степной снег, радостью наблюдаю я, как сонные птицымедленно скользят над логами, над тухлыми травами, где тени их тяжелы, будто вылиты из чугуна.

В пустыне кони моих друзей покинули трупы хозяев,—и все же нет одиночества в моей душе»...

Так начинается книга, так начинается первый рассказ «Встреча», таков лейтмотив книги. Смерть человека для Иванова—обломившаяся ветка в густой растительности жизни, где камни, птицы, травы, человек составляют одно целое без всяких преимуществ друг перед другом в мироощущении художника, и где на месте свалившегося с дерева листа Иванов различает клейкие шарики новых расцветающих почек. Природа для Иванова не статична—она в вечном движении соков, плоти, любви, ненависти, борьбы, и человек в этом движении лишь один из элементов. Вот почему описание человека тесно чередуется с описанием природы, вот почему в ивановских произведениях почти отсутствует комнатная коробка и люди, не задерживаясь на трагическом, шагают дальше, бодро подталкиваемые полнокровными инстинктами жизни.

Во «Встрече» киргиз потерял любимую жену, но автор подарил ему ружье, и киргиз утешился. В «Происшествии на реке Тун» Иванов с острым, сочным реализмом рассказывает об эшелонах беженцев, о санитаре Хабиеве, умирающем в тифу.— Но все это—эпизоды, не колеблющие нервов писателя.—Дотронулся до руки женщины, невесты санитаря, и минутная боль сменяется свежим приливом сил—жить, двигаться, бороться.

Да где же писателю до тоски и боли, когда так ярко и своеобразно ощущение растительных токов земли:

«Огромное пахучее степное солнце, медленно оправляя в золото травы, медленно уходит за Яик.

Пахнущие солнцем стада медленно возвращались из степи». «Руки казачек, несших наполненные молоком ведра, были спокойны, величавы и медленны, и ласку мужей казачки принимали в себя спокойно, словно земля зерно».—Это из рассказа «Гафир и Мариам», где много характерных бытовых черт из первых лет революции. Но быт—фон для животной романтики, для любви киргизского юноши, комсомольца Гафира, и еврейской красавицы Мариам.—В этом рассказе для Иванова типично, что при всем сексуальном напоре его строк, об отношениях молодых людей он говорит стыдливо, скупно и напряженно: их близость опреде-

ляется для читателя наводящими, намековыми штрихами. Этим тонким, скользким приемом Иванов напоминает Гамсуна, большого мастера нюанса. Торопливо и незначительно «Орлёное время»—картинка сибирской деревни той зыбкой поря, когда власть переходила из рук белых к красным и обратно. Но и здесь черточки подлинного Иванова с его тонкой наблюдательностью:

«Веселые и быстрые у него руки, как листья весной»... Отрицательное впечатление производят «Чудесные похождения портного Фокина»—вещь, построенная «по Шкловскому», с нарочитым обнажением сюжетных швов. Авантюрно-символический реализм повести, как портной Фокин с пацифистским жаром проповедует среди портных переход на штатскую одежду от шитья защитного цвета френчей, не в стиле кряжистой и неуклюжей походки Иванова. Опереточная развязность мэтра формальной школы ему не к лицу.

Зато превосходна повесть «Хабу», в которой с крепким мастерством и подъемом автор дает всего себя.—Здесь суровая мощь тайги, лесного зверя, излюбленного героя писателя—простого, мужественного и немного беспорядочного человека и противопоставленная ей энергия фанатика Лейзерова, в одно и то же время величественного, смешного и трагичного.— Пусть Иванов не с Лейзеровым, пролагающим через тайгу кратчайшую «птичью дорогу», пусть маленький и хрупкий Лейзеров со своим «портфеликом» менее близок автору, чем неуклюжие и сильные фигуры сибиряков—художник не развечивает стремления человека к культуре, к победе над стихией. За первой отбитой атакой вторая и третья—и маленький Лейзеров все же окажется победителем.

Федор Жиц.

**Михаил Юри.**—«Солнечная юность», стихи. Изд. «Молодая Гвардия» 1925 г. Стр. 62. Тир. 5.000.

**Иван Грузинов.**—«Малиновая шаль», стихи. Изд. «Современная Россия» 1926 г. Стр. 37. Тир. 1.000.

**«Вьюжные дни».**—Сборник, изд. «Сибирский Госиздат» 1926 г. Стр. 93. Тир. 2.000.

Стихам Юрина предпослано предисловие Лелевича, из которого мы у-

наем, что автор «Солнечной юности» — крестьянский мальчик, сирота, был па- стухом, затем — слесарем на заводе.

Михаил Юрин, несомненно, талантлив. Стихотворения: «А. С. Пушкин», «Нищий», «Девичий упрек», «Не выдержал», прекрасная песенка о беспризорнике, дышащая интимностью и нежностью, искренни, ярки и свежи.

Поэтическое исповедание поэта сильнее всего выражено в стихотворении «Пушкин».

Мой век не тот, к чему таить?  
Покрой есенинский мне узок.  
Борьбою схваченная блуза —  
Не поэтическая пруть.

Наш каждый взгляд — упорно жесткий  
И каждый крик — изгиб грозы.  
Что фамильярный Маяковский,  
Когда в лицо нам хлещет хлестко  
Железный ленинский язык.

Но я пою о наших днях,  
Как умирали на полях,  
Цветущий возраст не жалел.

Как все комсомольцы, Юрин задо- рен, бодр и весел. У него «ворот на- стегж, рукав по локоть и комсомольская голова», словно у Ваньки (стихотворе- ние «Подкидывш»).

Г. Лелевич в предисловии замечает, что многих пролетарских поэтов, не изживших революционного романтизма, поднарауливает опасность скатиться в болото упадочности, революционно ро- мантических грез, неприятия будней и т. д. Эта опасность Юрина не подка- рауливает, но... ему грозит, как и дру- гим комсомольским поэтам, иная опас- ность: остаться вечным комсомольцем. Бодрость, вадор и комсомольская удаль, к сожалению, в последнее время стано- вятся нарочитыми, монотонными и пре- вращаются из поэтической стихии в форму выражения.

«Размашистые дни» (стихотворение «Неослушный»), «ветер комсомолится в золоте невыкошенной ржи» (Смычка) и, наконец, целые строфы из «Команди- ровки» написаны под явным влиянием Безыменского, напр.:

Радость дней не передать никак.  
Буйный бег не вылить под диктовку,  
Жде вчера из нашего Цема  
Кригалил малец командировку.

Но то, что прет из нутра у Безымен- ского, не подходит к лирически-интим- ному дарованию поэта.

Юрин не прочь по трафарету повесе- литься, а Иван Грузинов страдает по- роком, столь строго осуждаемым Леле- вичем, а именно «упадочностью» и ны- тьем. Он грустит и о «прошлых днях» и по поводу настоящего, которое ему почему-то не нравится, — он заявляет в конце концов:

Ничего не надо в этом мире,  
Нет ни обид, ни утрат.  
Ясно все, как дважды два четыре,  
И никто, никто не виноват.

Впрочем, автору не всегда ничего не пужно. Он не прочь помечтать очень «империалистически»:

Я бы мог, как мальчик Бонапарт,  
Бросить в бой мильоны и мильоны.

Но, сообразивши, что ему все-таки далеко от Бонапарта, Грузинов спешит примириться с более скромной участью и начинает уверять: «Я бы мог, но разве это нужно?». И в заключение утешает и себя и читателя идиллическим сель- ским пейзажем.

Стихи Ив. Грузинова все приличны, все гладки, некоторые тщатся быть «страстными» (постоянное упоминание о «ноже» автора, «окрашенном не раз в багрец») и почти все, за исключением двух — трех, невыразительны и скучно- ваты. Книжка посвящена Есенину, это к многому обязывает. А Грузинов, оче- видно, решил, что это обязывает лишь к некоторой подражательности.

«Вьюжные дни», сборник сибирских поэтов революции, одобрен Сибполит- просветом в качестве материала для чтения и декламации в клубах. Эту книжку можно назвать слабой попыт- кой создания сибирского эпоса, эпоса грозных дней гражданской войны. Боль- шинство поэтов: Леонид Мартынов, Ма- рия Терентьева, Георгий Павлов, Иван Молчанов и др., плохо ли, хорошо ли поют о Колчаке, о красных партизанах, о мужественной борьбе сибиряка за красное знамя. Лучшее стихотворение в книжке — «Партизан» Иосифа Уткина. Написано оно крепко и сильно, в духе бал- лад Николая Тихонова. Режет глаз и слух в этом стихотворении только одна строка:

Вскинул пару бровей на миг.

Михаил Скуратов пытается мастерить, не всегда удачно, поэтические «сказы» о героических днях Сибири. Этот поэт, гоняясь за стилизацией, часто впадает в смешную неуклюжесть.

Ой, в непогоду куражливо море.  
Точно в груди и на сердце печаль.  
Долго ли бухали пушки гуторя—  
Море Байкальское—что-ль,—ответчай—

и до вопиющих прозаизмов:

Пашной казацкою вря был увечен  
Тот, кому жить не пришлось.

Хороша у Михаила Скуратова «Байкальская Бась».

Отметим в книжке «Тангенс воли» и «Наша раса» Вивиана Итина, стихи, проникнутые особенной интеллектуальной страстностью.

*А. Баркова.*

**С. К. Минин. «Город-боец».** Шесть диктатур 1917 года (Воспоминания о работе в Царицыне). Рабочее Издательство «Прибой». Ленинград 1925 г. Стр. 247. Цена 1 р. 10 к.

Воспоминания тов. С. Минина охватывают год его работы в Царицыне и представляют большой интерес, тем более, что автор стоял в центре событий Царицынской эпопеи и, можно сказать, был главным ее героем. 1917-й год отразился в царицынских событиях самыми характерными, выпуклыми чертами, как будто история задалась целью собрать здесь все наиболее типическое, чтобы внести наглядную картину в летопись революции.

Тов. С. Минин поставил своей задачей сохранить эту работу истории, спасти ее от забвения, воспроизвести когда-то живые краски и тона, фигуры и лица участников кипучей классовой борьбы. «Вернемте прошлое,—говорит автор,—потому что оставленное без внимания прошлое постепенно превращается в сухой комочек, маленький орешек с твердой скорлупой, раскусив который, иной раз мы находим уже несъедобное зерно».

1917 год—после кратких курсов революции 1848 и 1905 гг.—это университет, дающий нам ценнейший материал для изучения. Автор рассматривает 1917 год в Царицыне, как смену шести диктатур: 1) царизм, 2) диктатура крупной буржуа-

зии, 3) власть мелкой буржуазии, 4) диктатура большевиков, 5) интервенция казаков и юнкеров из Саратова и 6) диктатура пролетариата. Это искусственное и не совсем точное деление соответствует, в целом, наиболее важным моментам в жизни города-бойца.

Надо отдать справедливость автору,—он наполняет свою схему живым, конкретным содержанием. Приведенные им крупнейшие факты из биографии города облегчают читателю понимание той исключительной роли, какую сыграл Царицын в 1917 и в последующие годы гражданской войны. Ход событий, борьба большевиков с соглашательским блоком, разнообразные моменты этой борьбы на местах увязываются с общим развитием революции, с жизнью ее центров. Внутренние пружины революции, активность масс, бессилие временного правительства, плававшего по поверхности революционных событий, как чужеродное тело,—все это показано убедительно и подкреплено документальным материалом. Поездки в центр дали возможность автору очертить несколькими штрихами жизнь Москвы и Петрограда в те дни, почувствовать биение революционного пульса в Смольном и на рабочих собраниях и даже бегло наметить фигуру Ильича в действии.

Особо приходится говорить о стиле воспоминаний. На стр. 60 читаем: «За вооруженными на каменных ступенях станции виднелись две-три физиономии крупных железнодорожных чинов с искаженными от бешенства лицами»... «Их глаза и руки(!) метали в меня молнии»...

К сожалению, физиономии с лицами и руки, метающие молнии, не единичный пример.

Нам кажется, что «огни розовых молний» (стр. 209) абсолютно излишни на страницах воспоминаний, историческая ценность которых несомненна.

*Г. Якубовский.*

**Фердинанд Дюшен.—«Под медленный шаг каравана».** Роман. Изд. «Петроград». Л.—М. 1925. Стр. 230. Ц. 1 р. 50 к.

Имя Ф. Дюшена известно русскому читателю со времени изданного в 1924 г. его романа «Тамилла», произведения слабого и тенденциозного, где благие наме-

рения автора (попытка протеста против бесправного положения арабской женщины) не смогли найти убеждающей художественной выразительности

Новый роман Ф. Дюшена принадлежит, как и «Тамилла», как и «Око за око», к экзотическому жанру. Где-то на юге Алжира бродит небольшое племя арабов-кочевников. Дюшен пытается дать в авантюрном построении бытовой роман из жизни этого бродячего племени, но, как истый француз, может быть, незаметно для себя, с'езжает на изображение альковного быта.

Отказавшись от морализации, которая ему явно не по плечу, Дюшен отдается бесхитростной зарисовке своих героев, которых он хорошо узнал за время своей службы в Алжире. Почти все персонажи романа даны выпукло и сочно, за исключением, пожалуй, только негра Лусифа, чеголующего поэмами мелодраматического «благородства». В заключительной же сцене романа—в сцене восточной мести—Дюшен поднимается почти до трагизма.

Что сказать о новом романе Дюшена? Он внешне занятен, но ничего не говорит, пуст. Можно подумать, что жизнь арабов-кочевников так безмятежна, так радостна, что вся их энергия уходит лишь на хитроумные любовные приключения.

Дюшен долгое время пробыл в Алжире, качестве чиновника французской администрации, и это обстоятельство несомненно отразилось на его творчестве. Кругозор его стал ограничен: взаимоотношения арабов и французов рисуются для него в розовых тонах. Мелкобуржуазный протест, который был выражен в «Тамилле», ограничен масштабом арабского алькова и, можно заранее предсказать, что Дюшен никогда не расширит его рамок.

*Ю. Данилин.*

**Эрнест Першон.— «Нищета»** (роман). Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1925 г. Стр. 287.

Эрнест Першон—вдумчивый бытописатель современного французского крестьянства, и поэтому знакомство с его произведениями далеко не бесполезно для

русского читателя. В рецензируемой книге автор сосредоточил свое внимание на быте батрака, переходящего, в поисках скудного заработка, с фермы на ферму и кончающего жизнь полнейшей нищетой, когда его энергия с'едена годами непосильного труда.

Главный герой романа, Северин, рассмотрен Першоном на протяжении всей его жизни. В детстве—нужда, пинки. Затем военная служба, империалистическая бойня. И, наконец, возвращение на родину. У Северина ни кола, ни двора, всех близких растерял он за время службы и войны. Но Северин не тужит—он молод и трудолюбив, и солдат начинает батрачить. Что с того, что он работает с восхода до захода солнца—мускулы упруги, беспечная песнь бобыля и ласки любимых девушек скрашивают трудовые будни.

Но Северин женился, и кончились беззаботные, безоблачные дни. У порога хижин—нужда, усиливающаяся с появлением каждого нового ребенка. Когда-то прекрасная девушка, Дельфина, жена Северина, изуродована нищетой, и молодой женщиной, не достигшей тридцатилетнего возраста, сходит в могилу. Северин из сил выбивается в поисках средств для прокормления сирот и в конце концов вынужден послать своих детей побираться. Аналогична по безнадежности жизнь и других батраков, описываемых Першоном. Но если старики втянулись в нищету с безропотным рабством, представитель молодого поколения, батрак Люсьен, мечет громы и молнии по адресу эксплуататоров. Эти вспышки возмущения вызывают пока в слушателях пассивное и робкое сочувствие, но автор готов, вместе с Люсьеном, взорвать на воздух формы социального неравенства, существующие во Франции.

Першон художник не крупный и по изобразительным средствам принадлежит к разряду писателей без ярко очерченных индивидуальных черт. Но у автора и большие достоинства: он глубоко искренен и глубоко человечен, он правдив, наблюдателен и революционно мыслит.

Эти качества делают книгу достаточно интересной для широких читательских масс.

*Ф. Жич.*

**Леонид Гроссман.**—«От Пушкина до Блока». К-во «Современные проблемы». М. 1926 г. Стр. 358.

Если исходить из понимания критики, как «творческого проникновения в дух и стиль» данного художественного фрагмента, а именно к такому ее толкованию приводят нас, в конце концов, методологические предпосылки Л. П. Гроссмана, то последний его сборник, в котором литературный облик автора находит себе новое яркое выражение, должен быть признан одним из совершеннейших образцов в этом роде. Расточать здесь обвинения в субъективизме, импрессионизме, ненаучности,—значило бы ломиться в открытые двери, ибо все эти элементы вводятся Л. П. Гроссманом в свои работы вполне сознательно; самый разрабатываемый материал ценен для него в меру своих эстетических возможностей. Отсюда определенный подбор тем, определенная их трактовка.

Впрочем, творческий диапазон автора в достаточной мере широк, а мощная эрудиция позволяет ему в лучших вещах сборника, составившегося из двенадцати, ранее уже печатавшихся, статей, совместить интуитивный подход к материалу с объективно убедительностью выводов, стилистическую заостренность с фактической насыщенностью, особенно там, где в самом предмете исследования момент художественный сочетается с чисто-философскими построениями. Такова, напр., работа о Достоевском («Достоевский и Европа»), мастерски вскрывающая всю сложность его социально-исторической философии, все многообразие его исканий. Из чисто литературных статей также удачно выполнена работа о влиянии А. Шенье на Пушкина («Пушкин и Андре Шенье»), где подытожены все прежние высказывания в этой области, вполне правильно отмечено первостепенное значение Шенье в становлении пушкинского классицизма, попутно затронут ряд вопросов о западных образцах пушкинской метрики, о литературном генезисе его политической тематики и др.

Менее содержателен историко-литературный анализ «Записок охотника» («Ранний жанр Тургенева»), особенно в сравнении с другими тургеневскими работа-

ми автора, не вошедшими в сборник («Портрет Манон Леско», «Senilia») или очерк о Брюсове («Брюсов и французские символисты»), чрезмерно краткий и далеко не захватывающий всего относящегося сюда материала. Достаточно интересная статья о Чехове, всесторонне освещающая проблему чеховского натурализма, хотя и сбивающаяся иногда на парадоксы о приемах батальных описаний у Толстого и Стандаля, о лермонтовском батализме и о влиянии «Пиковой дамы» на «Le plateau de laque» Ренье; двум последним мешает лишь некоторая фрагментарность. Зато гораздо менее дали автору статьи более общего характера, о «Пушкине-новаторе» и «Пушкине и Блоке», в которых общая установка на стиль, на форму, будучи неуравновешена фактичностью содержания, решительно доминирует за счет всего остального.

Но самая слабая и легко уязвимая часть сборника—это его методологическое вступление, где автор делает попытку возвести свой критический метод в степень императивного принципа историко-литературной науки вообще; само собою разумеется, такая попытка заранее обречена на неудачу, ибо критика Л. П. Гроссмана, как и всякая эстетическая критика, держится не лежащей в основе ее системной методологических установок, а исключительно острым художественным чутьем автора и его высоким языковым мастерством. Будучи воспринята, как какая-то общеобязательная норма, она вырождается в мертвенное подыскивание «лучших слов в лучшем порядке» и теряет всякое художественное и общественное значение.

*И. Сергеевский.*

**Т. А. Кузминская.**—«Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Часть 2-я, 1863—1864. Предисловие и примечание М. А. Цявловского. Издание М. и С. Сабашниковых 1926 г. Стр. 180. Тир. 2.800 экз.

Высокую ценность воспоминаний Т. А. Кузминской (урожд. Берс) отметили все отзывы, появившиеся после выхода первой части, в заключительной главе которой был дан такой яркий и живой рассказ о сватовстве, женитьбе и первых

месяцах семейной жизни Л. Н. Толстого. Для познания не только биографии, но и многих психологических моментов творчества великого писателя записки его свояченицы, не в пример многим семейным мемуарам, дают чрезвычайно много. Т. А. Кузминская провела несколько десятилетий в семье Толстых, девушкой она гостила в Ясной Поляне целыми месяцами, выйдя замуж, не прерывала самой близкой дружественной связи со Львом Николаевичем. Она сама восклицает, что «счастливая звезда» загорелась над нею: «слепая судьба закинула меня с юных лет и до старости прожить с таким человеком, как Лев Николаевич. Я была свидетельницей всех ступеней переживаний этого человека, как и он был руководителем и судьей всех моих молодых безумств, а позже другом и советником. Ему одному я слепо верила, его одного я слушалась с молодых лет. Для меня он был чистый источник, освежающий душу и исцеляющий раны».

Образ Татьяны Андреевны, в свою очередь, глубоко интересовал Толстого: живая, одаренная чутким наблюдательным умом, редкой непосредственностью и неиссякаемым запасом молодого веселья, Таня Берс стала прототипом Наташи Ростовой. Правда, сам Толстой говаривал:—«Я перетолок Сою (т.-е. жену Софью Андреевну) с Таней и вышла Наташа». Но к этому авторскому заявлению следует отнести критически: если уже в первой части воспоминаний Т. А. Кузминской сходство шестнадцатилетней Тани Берс с Наташей Ростовой первой части «Войны и Мира» казалось таким близким, при чем многие эпизоды юности Татьяны Андреевны (история с куклой «Мими», например) нашли буквальное повторение в романе,—то с выходом второй части воспоминаний становится совершенно очевидным, что Наташа Ростова—это портретное изображение Тани Берс. И сама Т. А. Кузминская свидетельствует об этом—она удостоверяет в одном из своих писем, что ее девический роман с Анатолием Шостаком (молодой человек «светского общества» в Петербурге) нашел свое полное отображение в «Войне и Мире» в тех главах, где рассказывается об увлечении Наташи Ростовой Долоховым. В другом

письме, в котором она сообщает, что начала работать над третьей частью своих записок, мы читаем: «Отношение Долли ко мне—«Война и Мир» до смешного. Поездка в Москву с Толстым. Говение. Прямо фотография в «Войне и Мир». Даже совестно писать будет».

Вторая и третья часть воспоминаний Т. А. Кузминской, по плану редактора их, М. А. Цявловского, должны были входить в одну книгу, что, принимая во внимание период яснополянской жизни Л. Н. Толстого, в них передаваемый (1863—1867 г.г., эпоха создания «Войны и Мира»), было вполне естественно. К сожалению, издательские возможности не могли развернуть этого плана целиком, и две части, так тесно меж собою связанные местом и временем, выходят разбитыми на две книги. Этим, разумеется, несколько нарушена непосредственность того яркого и сильного впечатления, которое могла бы оставить книга в ее целом, нераздробленном виде.

Но и то, что составляет лишь вторую часть воспоминаний Кузминской, само по себе чрезвычайно интересно. В этих главах целиком относящихся к одному году (1863—1864), на первый план выступает не Толстой, а сама Т. А. Кузминская, с большой живостью повествующая о своих, как сурово она выражается—«молодых безумствах». Но это, разумеется, вовсе не безумства, а очень лирические и моментами очень грустные переживания девического сердца, страстно ищущего отклика на те романтические мечты, на те неясные стремления к счастью, которые кидают ее в водоворот сердечных увлечений, несущих за собой горькую обиду и тяжелые разочарования. Пережив, «к счастью кратковременный», как говорит сама Т. А. Кузминская,—роман с Анатолием, Таня Берс становится невестой брата Льва Николаевича—Сергея, на очень много лет старшего ее. Назначена уже свадьба, но счастью не бывать: Сергей Николаевич не смог порвать с первой своей семьей (он много лет жил с цыганкой, увезенной им из хора, и имел от нее нескольких детей)—и брак его с Таней Берс расстроился. Эти страницы, раскрывающие так много интимного и личного, написаны Т. А. Кузминской с необыкновенной

искренностью и оставляют сильное, волнующее впечатление. В них выясняется также и то полное нежной заботливости отношение Льва Николаевича к его молодой своейченице, которое заставило позже сказать Татьяну Андреевну, что в Толстом нашла она друга, советника, который был чистым источником, освежающим душу и исцеляющим раны. Л. Н. Толстой был против женитьбы брата на Тане Берс. Он угадывал осложнения, преодолеть которые будет не в состоянии очень искренний, но очень слабovolный Сергей Николаевич.

Превосходно передав Т. А. Кузминской «воздух» яснополянкой жизни. Толстой женат еще только один год. Он счастливый муж («Левочка ужасно меня любит»,—признается Софья Андреевна сестре), заботливый отец (у них родился первенец, сын Сергей), рачительный хозяин, увлекающийся помещик. Строй домашнего быта прост. Л. Н. Толстой весь в хлопотах по улучшению то скотного двора, то молочного хозяйства. Он насаждает сад, заводит пчельник, выкармливает дорогих пород свиней (кроме убытка и огорчения ничего в результате не принесших) и строит... винокурennyй завод. Это совсем неожиданный, как будто бы совсем незнакомый нам Толстой: Толстой, увлеченный созданием винокурennyго завода.

Но мы видим Толстого не только в саду, в огороде, на пчельнике, в свинарне. С каким восхищением рисует, например, Т. А. Кузминская молодого Толстого, подзоровившего зайца или затравившего лисицу! С какой трогательной взволнованностью говорит она об увлечении Льва Николаевича музыкой или чтением английских романов. Он восхищался в особенности «Авророй Флойд». Этот роман ему нравился, и он часто прерывал чтение восклицанием:—«Экие мастера писать эти англичане! Все эти мелкие подробности рисуют жизнь!».

Но пишущим Т. А. Кузминская Толстого в ту пору почти не видала. Только ей казалось, что он «много записывал в свою книжечку, которую он носил постоянно в кармане». И еще одна любопытная деталь запомнилась Кузминской: Лев Николаевич, раскладывая пасьянс, загадывал: «Если пасьянс выйдет,

то надо изменить начало», или, «если этот пасьянс выйдет, то надо назвать ее...—но имени не говорил».

Толстой писал «Войну и Мир».

Но эта идиллия семейной и помещичьей жизни нарушается вспышками страстной ревности. Толстой страдает от этого постоянно овладевающего им чувства, и все же он не может побороть себя и ревнует Софью Андреевну по малейшему поводу. «Они оба были до боли ревнивы, и этим самым отравляли себе жизнь, портили хорошие сердечные отношения».

После приступов ревности Толстым овладевает желание нравственно очистить себя. У него вырывается такое признание:—«Ужасно связать свое счастье с материальными условиями. Страшно, бессмысленно. Жена, дети, здоровье, богатство!».

Но молодой Толстой в эпоху, описываемую Кузминской, еще далек от глубокого внутреннего переворота. Т. А. Кузминская, приводя выписки из толстовских дневников, в которых он жалуется на ужасную свою связанность с материальными условиями, мешающими ему создать жизнь на нравственной основе,—говорит: «Но, несмотря на то, что думал и писал в дневнике, он все же продолжал свое начатое хозяйство и заботы об увеличении средств».

Уже по этому беглому пересказу запечатлевшихся в памяти Т. А. Кузминской черт внешней и внутренней жизни Толстого можно судить о том, какой значительный интерес представляют ее воспоминания.

*Юр. Соболев.*

**Вл. А. Гиляровский.**—«Москва и москвичи». Воспоминания. Изд. Всеросс. Союза поэтов. М. 1926. Стр. 128.

В. А. Гиляровский—московский старожил и журналист, за полвека своей литературной работы хорошо изучивший Москву и москвичей «во всех слоях общества, начиная от фешенебельных салонов до подвалов нищеты». Ему есть о чем вспомнить, рассказывает он живо и занимательно. В первой части своих воспоминаний он повествует о «чисто московских специфических областях»—трущобах Хитрова рынка, Сухаревке и «старинных трактирах», в которых отражается



дно древней столицы и связь этого дна с ее высокими палатами.

В воспоминаниях Гиляровского показана старая Москва конца прошлого столетия, еще не пережившая революции 1905 года, сохранившая во многом черты «дореформенного» быта. Перед читателем проходят обитатели трущоб «московского дна», разворачивается шумный и пестрый сухаревский торг с барышниками, сменщиками, антикварами, с их своеобразно легендарными рассказами и проделками; автор водит читателя по старым исчезнувшим трактирам и колоритно рассказывает о том, «как едали у Тестова», рисует типы солидных и плутоватых половых, рассказывает о сочинителях любовных книжек, о разгуле купцов, кушавших «пельмени в розовом шампанском», о петушинных боях, о всей пестроте дикой, азиатской жизни старой Москвы.

Свой рассказ, основа которого — факты, личные воспоминания, В. А. Гиляровский обильно сдабривает анекдотами; порою чрезмерная анекдотичность-фельетонность идет во вред повествованию москвича-старожила. Иногда автор склонен выдавать анекдот за действительность. Анекдотично его объяснение глагола «об'егорить», происходящий будто бы от имени некоего Егора Егорьевича Быстрова, ловкого биллиардного игрока. Если мы заглянем в словарь великорусского языка Даля, то узнаем, что старый глагол «об'егорить» (в смысле плутовски обмануть) существует в говорах Новгородской, Пермской, Курской губ. (в Тульской говорят — об'игорить), а биллиардный игрок, хоть он и об'егоривал, но нового глагола не издал.

Любопытна в книге последняя глава — «Засидки», рисующая некоторые черты быта московских ремесленников — портных, сапожников, ящичников и др. К сожалению, глава эта, самая короткая, написана слишком бегло.

*Н. Ашубкин.*

**М. А. Кротов. — «Якутская ссылка 70—80 годов».** Исторический очерк по неизданным архивным материалам. Под ред. и с предисл. Вл. Виленского-Сибирякова. Изд. Всесоюз. О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. М. 1925. Стр. 242.

Многое из чудовищных преступлений царского самодержавия получило широ-

кую известность еще задолго до его бесславной гибели. Но только после Октябрьской революции мы получили возможность приступить к составлению подлинной и полной летописи этих преступлений. Надо отдать справедливость Всесоюзному О-ву политкаторжан и ссыльно-поселенцев, пятилетие существования которого исполняется в наступившем году: за сравнительно небольшой промежуток времени оно успело опубликовать ряд весьма ценных исследований по истории каторги и ссылки в виде многочисленных статей, напечатанных в журнале «Каторга и Ссылка», и отдельных сборников и очерков, выпускаемых книжками «историко-революционной библиотеки» названного журнала.

Одним из таких очерков и является рецензируемая нами книга, посвященная изучению якутской ссылки 70—80 годов прошлого века.

Ссылка в Сибирь и в частности в Якутскую область была одним из широко практиковавшихся царским правительством методов внесудебной расправы со своими политическими противниками. С 1878 года правительство стало систематически сплавлять так называемых «государственных преступников» в Якутскую область и, расселяя их на ее необ'ятной территории, среди совершенно чуждого по образу жизни и языку населения, обрекало их на существование, полное самых тяжелых материальных и моральных лишений, доводивших политических ссыльных до сумасшествия, до самоубийства. Немало трагических фактов, иллюстрирующих это положение, найдут читатели в книге т. Кротова, на ее «скорбных страницах якутской ссылки» (стр. 144—160).

Одна из наиболее интересных глав в книге, — где дан цифровой анализ состава политических ссыльных по разнообразным признакам — по семейному положению, социальному происхождению, национальности, профессии и т. д. Несмотря на неполноту данных, все же оказалось возможным выявить наиболее типичные особенности якутской ссылки 70—80 годов, отражавшие общий характер соответствующей эпохи русского революционного движения.

В других главах своего добросовестного исследования автор приводит любо-

пытные сведения об условиях жизни и занятиях ссыльных, об отношениях между последними и туземным населением, о полицейском надзоре за ссыльными, о побеге.

Особое место отведено автором в его книге «Монастыревской истории» (первому вооруженному протесту 1889 г. в Якутске), при чем здесь мы считаем нужным, ссылаясь на изданную в прошлом году тем же «О-вом политкаторжан» книгу: «Якутская трагедия», на которую, впрочем, ссылается и т. Кротов, решительно возражать против совершенно неправильного и крайне одностороннего утверждения автора, будто «причиной этого происшествия («Монастыревской истории») послужил в с е ц е л о (курсив ваш. М. Б.) вопрос об условиях пути от Якутска в северные округа области» (30).

В конце книги даны краткие биографические данные о 288 политических ссыльных, перебивавших в Якутской области за период 70—80 годов.

В общем т. Кротову удалось дать довольно полную картину якутской ссылки за указанный период. Как первая в своем роде исследовательская работа, она является ценным вкладом в наименее изученную область революционной борьбы. А между тем изучение сибирской политической ссылки интересно и само по себе и как отражение различных исторических этапов русского революционного движения. На этом пути нашим последователям предстоит широкая и плодотворная работа огромного исторического значения.

*М. Брагинский.*

### ОТ РЕДАКЦИИ

СТАТЬИ К. Федина, П. Романова, С. Городецкого, Н. Асеева и др. о современной критике будут напечатаны в одной из ближайших книг „Нового Мира“.

### НАМЕЧЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЯТОЙ (МАЙСКОЙ) КНИГИ „НОВОГО МИРА“

**В. Вересаев.** Три (рассказ). **Б. Пильняк.** Повесть непогашенной луны. **М. Пришвин.** Юность Алпатова (роман). **А. Макаров.** Счастливая земля (рассказ). **С. Клычков.** Чертухинский Балакирь (роман).

**СТИХИ:** Вл. Маяковского, П. Орешина, М. Юрина, Д. Белова, Ан. Пришельца, Д. Семеновского, М. Терентьевой, А. Барковой.

**А. Луначарский.** „Игра любви и смерти“ (о новой пьесе Р. Роллана). „Неопубликованные письма и стихотворения **И. С. Тургенева**“. **П. Марков.** О современном русском театре.

**СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ:** Л. Войтоловского, Ник. Смирнова, Я. Тугендхольда, Б. Рейха, Р. Акульшина, П. Шубина и др.

Издатель «Известия ЦИК  
СССР и ВЦИК».

**А. В. Луначарский.**  
Редакция: **В. П. Полонский.**  
**И. И. Степанов-Скворцов.**

## СЕЛИВЕРСТОВСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

СРЕТЕНКА, 24 (вход сзади в стованского пер.). Тел. 4-88-22.  
ПРИЕМ ВРАЧАМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Горлов., ушн., носов. . . . .	с 9-8	Нервные . . . . .	с 9-8
Венерич. и мочеисп. . . . .	с 9-8	Туберкулез легких с 9-12 и	с 6-8
Хирургические . . . . .	с 9-8	Внутренние . . . . .	с 9-8
Женские и акуш. . . . .	с 9-8	Детские . . . . .	с 9-8
Глазные (подбор в нос). . . . .	с 1-8	Кожные . . . . .	с 9-8
Желудочные . . . . .	с 9-10 и 12-2	Лечение угрей и прыщей . . . . .	с 9-8
Болезни сердца . . . . .	с 12-1	Леч. волос (выпад., перхоть) . . . . .	с 9-8
Искривл. позвоночн. столба и туберк. костей (налож. с'емн. корсетов) . . . . .	с 7-8		
Болезни мочевых путей (мочев. пузырь, лоханок и почек) . . . . .	с 9-8		
АНАЛИЗЫ: кров., мочи, мокроты и желудочного сока.			
Зубоврач. отд. . . . .	с 8-8 ч.	лечение с омбированием, удаление, искусство. зуби	
Рентгеновский каб. . . . .	снимки, просвечив., лечение бол. кожи с 10-1 ч.	хирург. полости рта (бол. десен) с 3-4 ч.	
Электролечебный каб. . . . .	все виды электролечения, ванны (соли, угл. кисл.), горн. солнце с 9-8 ч.		
Вызов врачей . . . . .	по всем специальностям.		
По воскр. и праздн.	прием с 10-2 ч. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ.		

## ПЕТРОВОРОТСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Петровские ворота, Петровка, 32, тел. 1-80-28.  
Трамв.: А, 26, 27, 15, 1, 6, 18, 12, 25; автоб. 5, 9.

ВРАЧИ СПЕЦИАЛИСТЫ и КОНСУЛЬТАЦ. ПРОФЕССОРОВ.

Внутренние . . . . .	с 9-9 ч.	Мочепол. отд. . . . .	с 9-9 ч.
Хирургическ. . . . .	с 9-9 ч.	Ухо, горло, нос . . . . .	с 10-3, 5-8 ч.
Женские и акуш. . . . .	с 9-9 ч.	Нервные . . . . .	с 11-1; 4-8 ч.
Венерич. и кожные . . . . .	с 9-9 ч.	Желуд.-кишечн. . . . .	с 6-8 ч.
Врач. носом. (волосол.) . . . . .	с 1-5 ч.	Глазные . . . . .	с 12-2; 4-6 ч.

РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ: снимки, просвеч. и лечение.  
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ—все виды электролечения.  
ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИН.—все виды зубо-врачебн. помощи.  
АНАЛИЗЫ—крови, мочи, желуд. сока, мокроты и пр.

**СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

Постоянн. кровати для женщ. и хирургич. больн. Родильное отд.

По воскр. и праздн. пр. с 9-1 ч.

ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ НА ДОМ.

## ЛЕЧЕБНИЦА Т-ва ВРАЧЕЙ

б. о-ва русских врачей, сущ. с 1861 г., Арбат, 25, тел. 3-70-65.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Внутренние . . . . . 9-8  
Кож.-вен. 9-12; 3 1/2-7  
Ухо, горло, нос 9-11 1/2, 2-7

Детские . . . . . 11-7  
Мочеполов. 12-3; 7-8  
Глазные . . . . . 10-2; 5-7  
Хирургия . . . . . 9-12; 2-7  
Женск. акуш. . . . . 10-7  
Нерв. 10-12; 3-5; 7-8  
Зуби. и искусство. зуби . . . . . 9-8

Туберк. костей и суст.  
Ортопед. вторп. четв. и суб. . . . . 7-8

По воскресеньям прием больных 11-3.

Рентгеновский и электро-светолечебный кабинет: снимки, просвечивания (вторн., четв. и суббота от 5 до 7 ч.), лечение (понед., среда, пятница 5-7 ч., вторн., четв. и суб. 12-2 ч.). Горн. соли с кварцев. лампа). Хирург. пол. рта. АНАЛИЗЫ: крови, мочи, мокроты и др. 9 1/2-8 ч.

ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ по предварит. аппши. ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ.

## ЖЕНСКАЯ хирургическая Лечебница Д-ра ТУПТАЛОВА

С ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ. Москва, Садовая-Самотечная, д. 2/12, кв. 2 и 4.  
ПРИЕМ: вторн., четв. и субб. от 3-7 ч. Приезж.—ежедн. кроме праздн. в 2 ч. дня.  
ТЕЛЕФОНЫ 2-24-33 и 1-88-27.

## Старо-Триумфальная ЛЕЧЕБНИЦА

Садовая, уг. Тверскоя, д. 2/70, телеф. 5-94-40.

Врачи-специалисты и консультац. професс.

Внутр., детск. . . . .	10-8	Хирургия . . . . .	2-4 ч.
Кожн. в. и мочеп. . . . .	9-8	Женск., ак. . . . .	9-1
Ухо, нос горло . . . . .	10-2; 5-1	Нервн. . . . .	6-8
Глазные . . . . .	9-10; 1-5 1/2	Туберкулез . . . . .	9-10; 4-6
Влив. Сальварс. . . . .	9-14	Зубные. . . . .	9-8

Вызов врач.

Д-р ШЕНФЕЛЬД. Больш. Дмит-ровка, 12, кв. 3.  
Спец. НЕРВНЫЕ И МОЧЕПОЛ. БОЛЕЗНИ  
10-1 ч. и 5-7, по праздникам 10-1.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ВРАЧЕЙ И ЛЕЧЕБНИЦ ПРИИМАЮТСЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ.

**НАИЛУЧШАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ КУСТАРЕМ И ПОТРЕБИТЕЛЕМ:**  
ПОМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ОТДЕЛЕ  
**КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

публикуемых в «Известиях ЦИК» на льготных условиях по пятницам.

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1926 год  
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**

# Н О В Ы Й М И Р

**под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО  
и И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА**

**В ВЫШЕДШИХ ЗА 1926 ГОД ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ НАПЕЧАТАНЫ  
РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:** Вс. Иванов. Ящички притчи (рассказ).  
Л. Сейфуллина. Наин—кабак (повесть). Б. Пильняк. Грэгго-тримунтан (рас-  
сказ). Алексей Толстой. Московские ночи (рассказ). Бор. Пастернак. Потемкин  
(из поэмы 1905 год). С. Клычков. Чертухинский Балакирь (роман). Паят. Рома-  
нов. I. Огоньки (рассказ). II. Первая любовь (рассказ). С. Есенин. Чорный  
человек (поэма). М. Пришвин. Юность Алпатова (роман). С. Сергеев-Цеский.  
I. Море (из романа «Преображение»). II. Жестокость (повесть). В. Шипков.  
Комар (рассказ). А. Соболев. Мемуары веснушчатого человека (рассказ).  
И. Соколов-Микитов. Два рассказа. Дм. Стонов. Хрущев (рассказ). Вл. Бах-  
метьев. Железная трава (рассказ).

**СТИХИ:** В. Александровского, Н. Асеева, А. Безыменского, М. Герасимова,  
М. Голодного, Н. Деметьева, И. Доронина, П. Дружинина, С. Есенина,  
Н. Зарудина, В. Инбер, В. Маяковского, В. Наседкина, П. Орешина, Д. Семе-  
новского, Е. Эркина, А. Яенго.

**СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ПИСЬМА и ВОСПОМИНАНИЯ:** Р. Акульшин. «Кали-  
тура» и культура (из деревенского блокнота). А. Аросев. Памятники рево-  
люционного Парижа. Ал. Белозеров. Из молодых лет Максима Горького (по  
новым материалам). Е. Браудо. Художественная проблема радио. С. Бугослав-  
ский. Музыкальная жизнь Москвы. В. Вересаев. Воспоминание о Короленко  
и Анненском. Вл. Владимировский. Город Та-Чен (в Западной Китае). Л. Войто-  
ловский. М. Е. Салтыков. Его же. Новые вещи Горького. С. Городецкий.  
Воспоминание об Есенине. Бор. Губер. Два романа. В. Данилов. Художествен-  
ный образ в языке Ленина. А. Лезнев. О современной критике. Г. Лелевич.  
Поэт мужицкой стихии (С. Клычков). А. Литвинова. Два английских писателя.  
А. Луначарский. Искусство в опасности. В. Маяковский. Нью-Йорк. В. Нача-  
ева. Из литературы о Достоевском (поездка в Даровое). Вяч. Полонский.  
Памяти Есенина. Его же. Памяти Фурманова. Н. Смирнов. Заметки о современ-  
ных писателях (М. Пришвин). Его же. Памяти Ларисы Рейснер. Его же. Заметки  
о журналах. Ю. Соболев. Театральная жизнь Москвы. А. Старчаков. Ленин  
в песнях Советского Востока. Я. Тугенцхольд. Дела художественные. Д. Фибих.  
Черное и красное. П. Шубин. Чего добилась и чего не добилась буржуазия  
в Локарно. А. Яковлев. Деревня. Его же. Деревенские очерки.

**ОТЗЫВЫ о КНИГАХ:** Ник. Асеева, Г. Березко, С. Борисова, Е. Браудо,  
Л. Войтоловского, В. Гольцева, Д. Горбова, Ю. Данилина, Ф. Жиц, Б. Коз-  
мина, В. Красильникова, К. Локса, С. Накентрейгера, Н. Пиксанова,  
Я. Фрида, Дм. Фурманова, Г. Якубовского и др.

## ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

За 12 мес.	За 9 мес.	За 6 мес.	За 3 мес.	За 1 мес.
7 руб.	6 руб. 25 коп.	3 руб. 50 коп.	1 руб. 80 коп.	60 коп.

Цена книги в отдельной продаже — 90 коп.

## ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

**В МОСКВЕ:** Главной Конторой «Известий ЦИК», Тверская, 48 и город-  
скими отделениями.

**В ПРОВИНЦИИ.** Отделениями и контрагентами Главной Конторы «Изве-  
стий ЦИК» и почтово-телеграфными конторами.